

Москва

М
О
С
К
В
Е
О

11
1962

11
1962

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
ШЕСТОЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН, *главный редактор*, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, В. Л. КУЛЕМИН, А. А. ЦЫГУЛЕВ, *заместители главного редактора*, А. Н. ВАСИЛЬЕВ (*отдел публицистики*), Е. Ф. КНИПОВИЧ, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ (*отдел прозы*), Е. Ю. МАЛЬЦЕВ, Л. В. НИКУЛИН, Ю. С. СЕМЕНОВ (*отдел очерка*), С. А. САВЕЛЬЕВ, *ответственный секретарь*, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор
Н. И. БОБКОВА, технический
редактор Г. Ю. ДУБМАН

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-31-65, Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвращаются

Подписка на журнал принимается в пределах лимита во всех учреждениях
Министерства связи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

**Слава великому
советскому народу —
доблестному строителю
коммунизма,
мужественному борцу
за мир и счастье
всех людей на земле!**

(Из Призывов ЦК КПСС
к 45-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции)

1962 · 11

СОДЕРЖАНИЕ

Аркадий Васильев. ОТВЕТ ИСТОРИИ	5
Сергей Коненков. ИСКУССТВО, ОЗАРЕННОЕ ОКТЯБРЕМ	8

ПРОЗА

Лев Овалов. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ. Роман	15
Борис Хотимский. БЕЗ ПОВОДЫРЯ. Рассказ	144

СТИХИ

Лев Озеров. ОКТЯБРИ	4
Александр Николаев. ЖИВИ, ЧЕЛОВЕК!	13
Казимир Лисовский. ДОРОГА.— ЕНИСЕЙСКИЕ КАПИТАНЫ	142
Вероника Тушнова. ТВОИ РУКИ.— УТРО.— ОПЯТЬ УТРАМИ ЛУЧЕЗАР- НЫЙ ИНЕЙ...— СУТКИ С ТОБОЮ...	151
Игорь Григорьев. ПРИГЛАШЕНИЕ В ДЕНЬ	162

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Владимир Ханжин. ВСЕГО СЕБЯ — ЛЮДЯМ. Очерк	153
---	-----

РЕПОРТАЖ

Г. Менделевич. ГОРОД ГОРЬКОВСКОЙ МЕЧТЫ	163
С УТРА ДО ВЕЧЕРА. Рисунки и текст Ю. Иванова и Л. Непомнящего	222

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

МЫ С ВАМИ. ГОВОРЯТ МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ. Ван Клиберн. ЧАСТИЦА МОЕГО СЕРДЦА — В МОСКВЕ.— Эдуардо де Филиппо. ГЛАВНОЕ.— ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕКУ.— Жан-Поль Сартр. ИДЕАЛЫ ВЫСОКОГО ГУМА- НИЗМА.— Рокуэлл Кент. СВЕТЛЫЙ МИР.— Нина Вила. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЭМЫ	172
---	-----

СТРАНЫ И ЛЮДИ

Лев Ошанин. 18 ТЫСЯЧ УЛЫБОК. Заметки о фестивале в Хельсинки	181
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. Перцов. «ПРОГРАММНАЯ ВЕЩЬ». (К 35-летию создания Октябрьской поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!»)	188
Д. Стариков. ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ. В гостях у писателя. (К 75-летию С. Я. Маршака)	211
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. Ал. Дымшиц. ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (214).— О. Войтицкая. НЕ СКЛОНИВ ГОЛОВЫ (216).— Николай Ры- ленков. ПО ЛИНИИ НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (218).— Д. Тевеке- лян. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ (219).— В. Шапошникова. ТЫ ЖИВЕШЬ ДЛЯ НАРОДА! (221).	

МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В. Голоскер. МАТРОС С КРЕЙСЕРА «АВРОРА» (164).— В. Ерофеева. ВСЕ ОСТАЕТСЯ ПОТОМКАМ... (168).— Г. Малиничев. И СЛЫШНО И ВИДНО (184)	
---	--

На наших вклейках:

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ. Кадры из советских кинофильмов

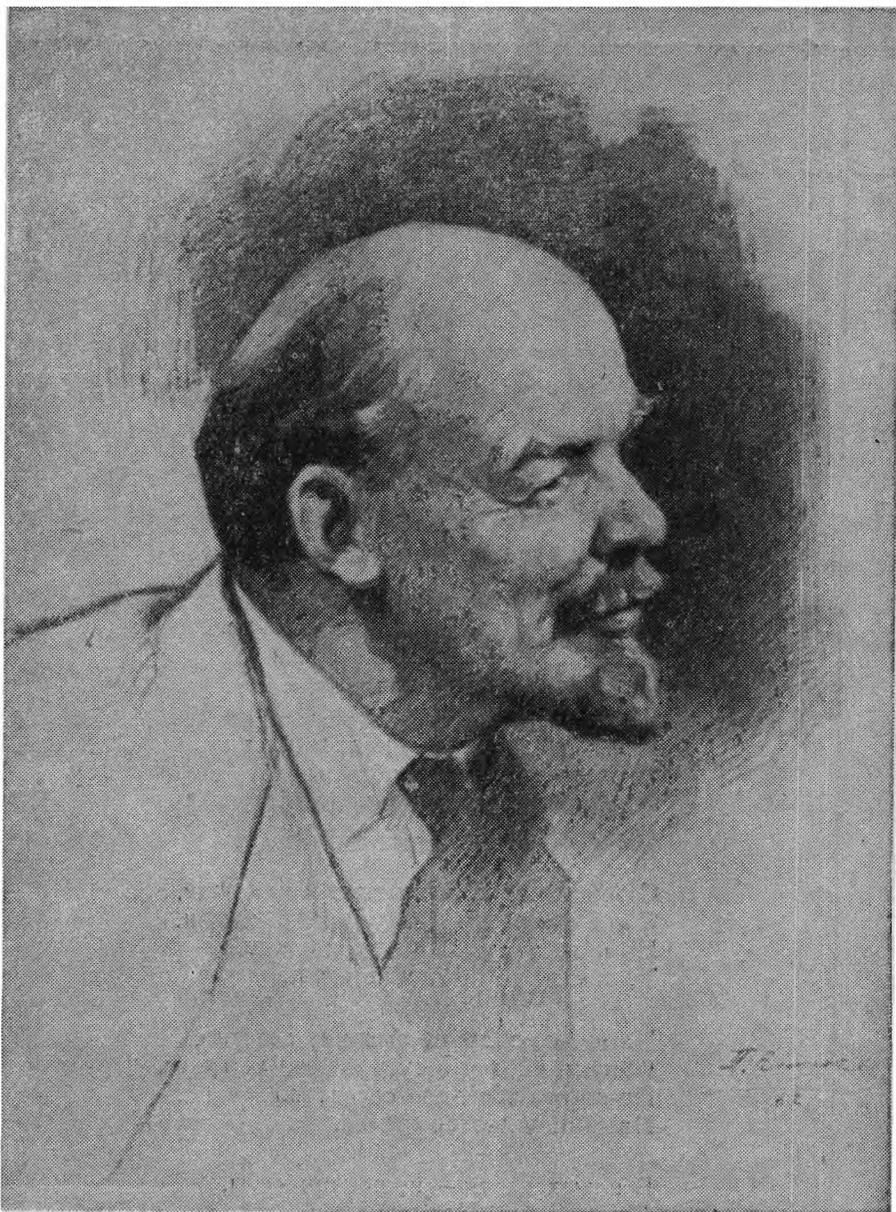


Рисунок художника П. Васильева

Советская власть непобедима... Наша Социалистическая Республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами.

В. И. ЛЕНИН

ОКТАБРИ

Отвергая штампы и каноны,
Жизнь свежа, как Волга на заре.
Снова, снова близятся кануны
Октября, который в ноябре.

Я люблю кануны — напряженье
Ожиданья. Как в любом году,
Из конторы домоуправленья
Два монтера понесли звезду.

С той же обращенностью к надежде,
С той же верой в будущность земли,
Но куда уверенней, чем прежде,
Ту звезду на крышу понесли.

На нее со знаньем смотрит детство,
Юность входит в суть небесных трасс.
По-иному звездное соседство
Нами ощущается сейчас.

В новых датах — новые приметы.
Люди, люди! Нет, совсем не зря
Рядом с вами старые планеты
Счет годов ведут от Октября.



Аркадий Васильев

Ответ истории

Обыкновенный будничный трудовой день. И вдруг... знакомые позывные:

— Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза...

Миллионы людей ждут, что сегодня скажет московское радио. О какой новой победе человеческого разума поведает столица великой страны социализма.

И уже заняты международные телефонные провода, летят по всей планете телеграммы корреспондентов иностранных газет и агентств: «Задержите верстку, оставьте место, готовьте экстренный выпуск». И они выходят, эти экстренные выпуски, иногда даже вопреки желаниям своих хозяев: ничего не поделаешь, без новостей из советской страны газета может захиреть, стать неинтересной, принести не прибыль, а убыток. И как бы ни хотелось утаить, исказить или хотя бы преуменьшить значение очередного сообщения из Москвы, приходится говорить правду.

«Советские полеты пошатнули американские надежды на завоевание первенства в состязании с русскими за то, чтобы попасть на Луну».

Агентство ЮПИ, США,

«От этих русских никуда не денешься. Нам придется снова говорить: «Чудесно, фантастично, феноменально» — настолько впечатляюще их мастерство, выразившееся как в запуске, так и в посадке двух кораблей... Они совершили такие подвиги, которые американцы еще и не пробовали совершать».

«Дейли мейл», Англия,

«Советская наука празднует триумф. Неповторимым был уже двойной запуск космических кораблей на одну орбиту. Неповторимым был полет в состоянии невесомости. Неповторимым было похожее на игру сближение и удаление «космических близнецов» друг от друга. Но завершающим рекордом была двойная посадка. Советский Союз сделал гигантский шаг вперед...»

«Рейнише пост», ФРГ.

Это лишь самая малая доля из того, что печаталось в иностранной прессе в радостные для всех нас дни полета космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4».

Было время — писалось другое. Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС

напомнил, как в 1917 году издевалась и насмехалась над коммунистами реакционная газета «Новое время»:

«Допустим на минуту, что коммунисты победят. Кто будет управлять нами тогда? Может быть, повара? Или пожарные? Конюхи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут на заседание Государственного Совета в промежутках между стиркой пеленок? Кто же? Кто эти государственные деятели? Конюхи, няньки, кухарки — вот те, кто по мысли коммунистов призваны, очевидно, править страной. Будет ли это? Нет? Возможно ли это? На такой сумасшедший вопрос коммунистов властно ответит история».

И вот история ответила.

Давайте заглянем в прошлое.

Двадцать четвертое октября 1917 года — последний день Российской буржуазно-демократической республики приходился на вторник.

В Петрограде было холодно. Ветер гнал с Балтики большие, темные тучи. Утром выпал снег. Он лежал узкими полосками на гранитных парапетах набережных, на стволах пушек, стоявших у Зимнего.

Совет республики — предпарламент — заседал как обычно. В Мариинском дворце, где когда-то собирался Государственный Совет, вместо бело-красных кресел стояли простые венские стулья — очевидно, для «демократичности». Государственный герб Русской империи снять не успели, а только завесили полотнищем. Вполне возможно, что кто-то решил: «Зачем снимать, вдруг потребуется...» Завешена была и картина Репина «Заседание Государственного Совета».

Грузный министр внутренних дел Никитин скучно что-то бубнил себе под нос, приводил какие-то цифры, — министра слушали плохо и даже не заметили, как он, переваливаясь на коротких ногах, ушел с трибуны. Никитина сменил министр иностранных дел Терещенко. Он попытался подвести итог вчерашним прениям по внешнеполитическим вопросам. Но и его не слушали, откуда-то из середины зала крикнули: «В отставку! Вам в гимназию надо. В пятый класс!»

Неожиданно на трибуне появился Керенский. Не заговорил, а заборотал что-то о большевистском восстании, о самовольной раздаче патронов. В зале по-прежнему шумели. И только когда Керенский упомянул имя Ленина, смолкли.

Керенский, все время поглядывая на часы, торопливо сообщил:

— До сведения правительства дошло, что Ленин скрывается в Петроградской губернии... Он будет арестован...

И убежал с трибуны. Это выступление Керенского было последним — больше его не видели.

На трибуну поднялся управляющий делами Временного правительства.

— Господа! Минуту внимания... На ваше одобрение выносятся решение Временного правительства считать имение Павловск собственностью великого князя Иоанна Константиновича... Возражений нет?

«Аврора» стояла у Николаевского моста, серо-стальная, как осенняя невская вода. Ленин, покинув последнюю конспиративную квартиру, пришел в гудящий штаб революции — Смольный. А буржуазия, уходя с исторической сцены, все еще мечтала обезглавить революцию, цепляясь за имения, пыталась спасти основу основ своего строя — собственность.

Буржуазным теоретикам казалось, а некоторым, как ни странно, кажется и до сих пор, что без частной собственности на землю, на средства производства не будет, не может быть «нормальной» жизни, наступит экономический хаос, остановится развитие.

На митинге, посвященном встрече с космонавтами Андрияном Нико-

лаевым и Павлом Поповичем, Никита Сергеевич Хрущев как бы ответил им всем:

«Пусть себе каркают различные капиталистические гадалки, которые поднимают шум, когда у нас выявляется какой-либо недостаток в практической работе. Сколько было таких гадалок за годы после Октябрьской революции! Где они теперь? Они сметены историей в мусорный ящик. А наша страна уверенно идет вперед по ленинскому пути — развивается, умножает богатства, удивляет и поражает мир своими открытиями и победами. И еще не то покажет наш народ, наша страна!»

* * *

*

«Одной из очередных задач наших является необходимость закончить войну...» Это слова из первого доклада В. И. Ленина после победы Советской власти 7 ноября 1917 года.

В «Докладе о мире», произнесенном 8 ноября 1917 года, Ильич говорил: «Вопрос о мире есть жгучий, большой вопрос современности».

Советская власть поистине родилась с мыслями о мире. И сейчас наше правительство, наша партия, ее ленинский Центральный Комитет неустанно борются за мир, призывают к миру.

За сорок пять лет нам не раз приходилось воевать, и каждый раз не по нашей вине. Войны начинали не мы, но мы их заканчивали. Заканчивали триумфальной победой над врагами, которые осмеливались поднять меч на страну Советов.

Казалось, уроков было предостаточно. Одни враги с воем уползали в свое логово, зализывая раны, другие поспешно просили «пардона», третьи кончали жизнь самоубийством, от четвертых не осталось даже и пепла...

И все же не унимаются. Нет-нет да и выскакивает какой-нибудь недобитый генерал, выбалтывает не столько свои, сколько хозяйские тайные мыслишки о реванше, о новом крестовом походе, о «подлинной свободе», которая, дескать, ожидает народы, если удастся покончить с коммунизмом.

Советская власть всегда отличалась крепкими нервами. Даже в грозные годы гражданской войны, когда не хватало винтовок, патронов и хлеба, советские люди вели себя с удивительным мужеством и спокойствием. А теперь к крепким нервам есть более существенное дополнение — наша самая передовая наука, наша самая передовая техника, наша самая убежденная убежденность. Угрожать нам — это значит угрожать себе самоубийством.

Нет, не даром прожиты нами сорок пять лет!

●

Сергей Коненков,
*народный художник СССР,
лауреат Ленинской премии*

ИСКУССТВО, ОЗАРЕННОЕ ОКТЯБРЕМ

Мне было более сорока лет, когда грянула Октябрьская революция. Всем опытом жизни я был подготовлен к этому событию.

Революция всегда приносит новые веяния, тем более Великая пролетарская революция, опрокинувшая душный старый мир.

Каждому из нас, моих современников, революция предъявила серьезные испытания. И надо сказать: не все выдержали силу бурного потока, прокатившегося по России. Помню, в среде тогдашней интеллигенции были мистические настроения, кое-кто ждал, что явится Конь Блед и наступит конец мира.

Но Россия не погибла. Возрожденная и могучая, она восстала из пепла, как птица Феникс; обрела же она силу не в мифическом таинстве, а в труде и героизме миллионов простых людей.

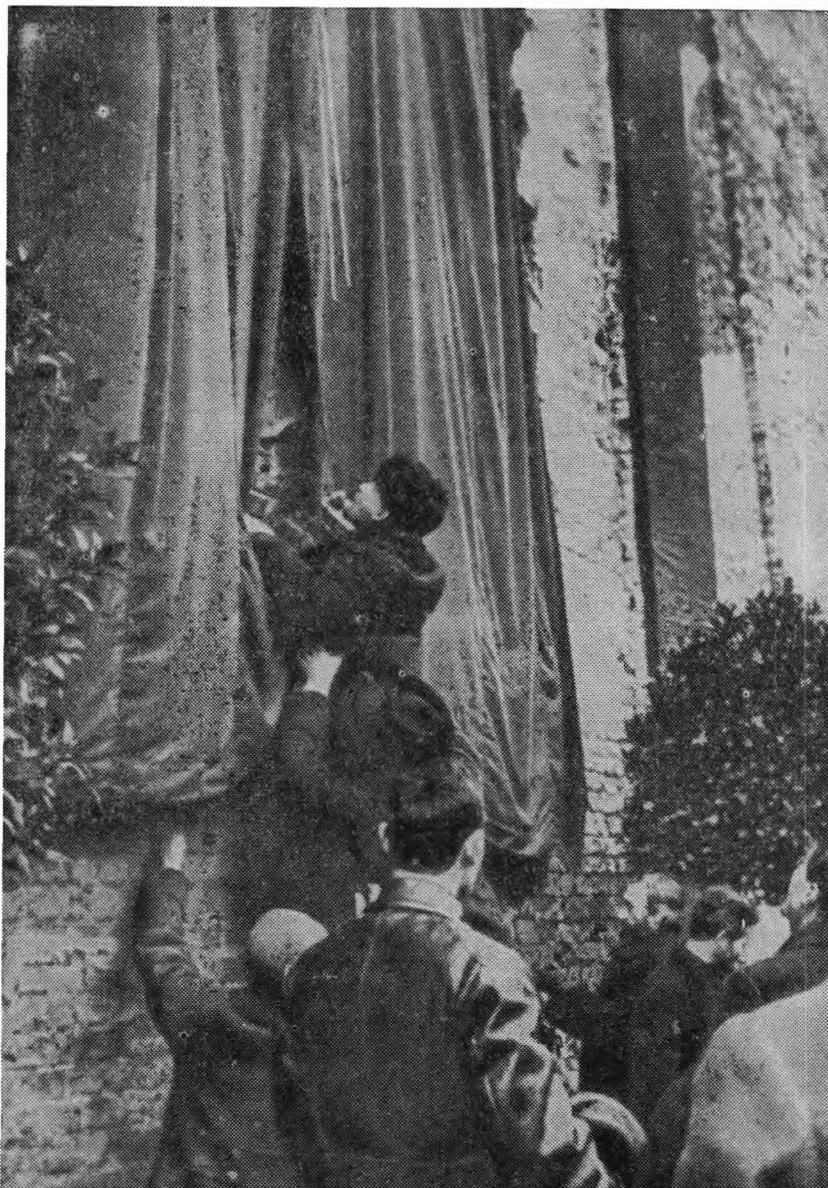
«Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую «имеющий уши да слышит», — сказал в Октябрьские дни Александр Блок.

Мне хотелось воспеть борцов за правое дело, их героический подвиг, мужественную жертву, принесенную на алтарь свободы, оживить в скульптуре тех, кто пал в борьбе.

Во время подготовки к празднованию первой годовщины Великого Октября Владимир Ильич Ленин предложил Московскому Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов в ознаменование этого исторического события установить мемориальную доску на Сенатской башне Кремля. Московским Советом был объявлен открытый конкурс, в котором я принял участие. Я был свидетелем великих событий, и, естественно, меня очень взволновала идея создания мемориального памятника героям революции. Мне хотелось воплотить в мраморе пафос легендарных дней, когда свершался переход к новой эре человечества.

Я работал с величайшим напряжением. Делал макеты, наброски, эскизы. Спать почти не приходилось. Работу, которую скульптор обычно выполняет за два-три года, нужно было сделать в минимально короткий срок.

Мой проект был принят к исполнению. Началась работа над его осуществлением. Она заняла полгода. В мастерской повсюду валялись куски глины, сыпалась цементная и мраморная пыль. Помещение было плохо приспособлено для подобной работы, мне с моими помощниками на ходу приходилось его реконструировать.



В. И. Ленин открывает мемориальную доску на Сенатской башне Кремля. 1918 г.

Пришлось также решать не только чисто скульптурные задачи, но и технические вопросы, искать краски, по тональности сливающиеся с темно-красной кремлевской стеной.

Владимир Ильич, который в ту пору едва оправился от злодейского ранения, нанесенного рукой террористки, постоянно интересовался ходом моей работы. Благодаря его вниманию мне удавалось получить необходимые для работы краски, гипс и цемент, достать которые в годы разрухи было очень трудно.

Меня вдохновляло то, что глава правительства, вожь, занятый самыми неотложными делами, находил время интересоваться такими, казалось бы, незначительными вещами, как работа скульптора.

Связь с В. И. Лениным я поддерживал через архитектора Виногра-

дова, который ныне является директором Музея русской архитектуры имени Щусева.

По замыслу мемориальная доска площадью в 56 квадратных аршин должна была гармонировать с Кремлевской башней и общим архитектурным ансамблем площади. Доска состояла из сорока девяти кусков, каждый из которых болтом прикреплялся к стене.

Пока крепились на стене башни отдельные части доски, мы буквально не уходили с площади. Спешили, волновались...

Наконец наступил день торжественного открытия.

Утром 7 ноября 1918 года на Красную площадь стали прибывать красноармейские части, делегации заводов и фабрик.

Владимира Ильича Ленина я увидел, когда он направлялся пешком к Сенатской башне. Он был одет в черное пальто с каракулевым воротником.

Началась церемония открытия. Я поднес Ленину деревянную шкапулку, в которой лежали ножницы и выполненная мною печатка с вырезанными буквами МСРКД — Московский Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов.

Владимир Ильич взял ножницы и перерезал красную ленточку. Красный занавес раскрылся. Заиграл духовой оркестр, хор исполнил кантату, специально написанную к годовщине Октябрьской революции композитором Иваном Шведовым на слова поэтов Есенина, Клычкова и Герасимова:

...Спите, любимые братья!
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.
Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.
Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется рагью
К зорям вселенским народ...

Из-под занавеса, будто навстречу «неколебимым ратям», вылетела крылатая фигура Гения, олицетворяющая собой Победу. При работе над памятником меня вдохновлял образ, озаренный греческой богиней Никой. Разумеется, я переосмыслил этот образ, он стал для меня символом героической борьбы народа за свое освобождение.

Гений на моем барельефе в одной руке держит красное знамя с советским гербом на древке, в другой — пальмовую ветвь — символ мира. Под ногами Победы — ружья и сломанные сабли, перевитые траурной лентой. Восходит солнце, на фоне золотых лучей сверкают слова:

Октябрьская 1917 года революция

Внизу — золотыми буквами:

Павшим в борьбе за мир и братство народов.

Эти слова Владимир Ильич Ленин одобрил и утвердил. Они являлись девизом моей работы.

...После того как отзвучали последние аккорды кантаты, Ленин поднялся на трибуну и произнес речь, посвященную героям революции:

«На долю павших в Октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почеть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием. Эта почеть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товари-

щей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу...

Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — победа или смерть».

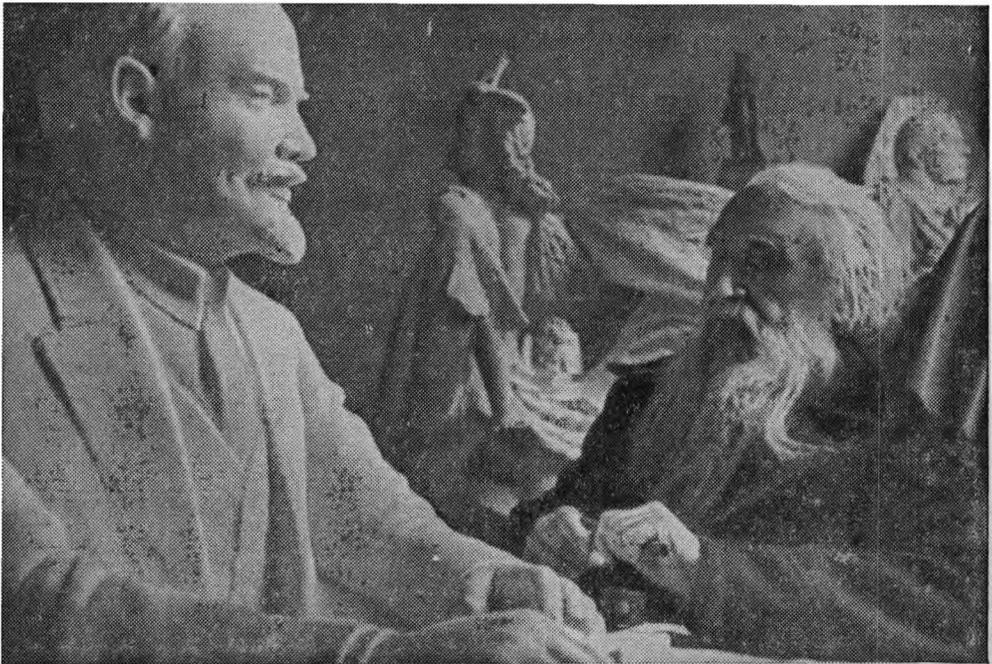
Я выполнил мемориальную доску в духе символики и революционной романтики. Вероятно, сегодня я не стал бы абстрагироваться от действительности, прибегать к образу крылатой богини. Но в то время, когда вся наша жизнь была наполнена исканиями, когда не существовало устоявшихся критериев нового искусства, было естественно пойти именно по такому пути.

...Прошло много лет. Я вновь вернулся к этому памятнику, связанному в моем сознании с великим человеком — Владимиром Ильичем Лениным, тем, кого Альберт Эйнштейн назвал «хранителем и реставратором совести человечества». Два года назад я приступил к восстановительным работам. Живо напомнили они мне давно ушедшие годы...

Революционные преобразования в жизни общества неминуемо влекут за собой революцию в искусстве. Помню, как я был счастлив, когда 14 апреля 1918 года был опубликован «Декрет Совета Народных Комиссаров о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции».

Этот декрет имел огромное значение для «монументальной пропаганды». Благодаря ленинской прозорливости наше искусство в первые же годы своего становления пошло по пути служения человеку и правде.

Владимир Ильич Ленин высоко ценил творчество живописцев и скульпторов, считал их активными строителями нового общества. Ленин предлагал повсюду, в больших и малых городах, воздвигать памятники «подлинным героям культуры», борцам за социализм. Обращаясь к



В мастерской художника. С. Т. Коненков работает над новым портретом В. И. Ленина.

А. В. Луначарскому, Владимир Ильич говорил: «Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды, маленьким праздником».

В 1918 году я был избран председателем Московского Союза скульпторов и одновременно работал в ИЗО Наркомпроса. Однажды меня вызвали на заседание Совета Народных Комиссаров в Кремль с докладом о закладке новых памятников.

Владимир Ильич предоставил мне слово. В заключение своей короткой речи я прочел список революционных деятелей, которым предполагалось воздвигнуть памятники. Владимир Ильич Ленин поддержал меня и обещал всяческую помощь.

В то время собирались воздвигнуть памятники Спартаку, Бруту, Тиберию Гракху, Бабефу, Марксу, Энгельсу, Бебелю, Лассалю, Жоресу, Марату, Робеспьеру, Гарибальди, Рылееву, Пестелю, Герцену, Халтурину, Плеханову, Володарскому... Только часть проектов из этого блистательного перечня была осуществлена. На современных скульпторов ложится почетная обязанность завершить наши планы. Как было бы прекрасно, если бы Москва украсилась скульптурными портретами и фигурами всех выдающихся людей революционной и общественной мысли!

В первые же годы Советской власти развернулась большая работа по сооружению скульптур и скульптурных групп. В Москве было открыто двадцать памятников, а в тогдашнем Петрограде — пятнадцать.

Владимир Ильич Ленин внимательно следил за нашей работой. Предметом его заботы было все: портретное сходство, места для памятников, качество материалов...

Большинство произведений тех лет, к сожалению, не сохранилось. Они были выполнены из гипса и других недолговечных материалов.

Каждая эпоха оставляет свои следы в заводах, садах, монументах. И в наше время поистине небывалого строительства земля советская должна украситься памятниками великих людей, чьим усилиям, героизму и гению человечество обязано светом правды и социальной справедливости.

Мы уже видим в столице нашей великой Родины гранитное изваяние основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу, а в скором времени увидим статую основателя первого в мире социалистического государства — Владимира Ильича Ленина, чья исполинская фигура высятся у истоков советского искусства.

ЖИВИ, ЧЕЛОВЕК!



К

ак трудно человеку вырасти
и как легко его убить!
Он даже от малейшей сырости
простуду может подхватить.

Врачи склоняются,
внимательны,
над ним дежурят до утра.
А тех врачей растили матери,
учили их профессора.

Мой старый друг —
он был профессором...
Мы воевали рядом с ним.
Промчалась смерть
фашистским мессером —
и он остался недвижим.

Рожают сына в болях,
с муками,
он, как беспомощный пленец,
пока ремеслами, науками
не овладеет, наконец.

А овладевшие ремеслами
и окрыленные орлы
для посторонних станут взрослыми,
для матерей — всегда малы.

Они не стали бы солдатами,
когда б не снова тень войны.
Но снова над военкоматами
летят встревоженные сны.

Там сорок первый год рождения
уже оружие берет.
Вот почему
разоружения
так властно требует народ.

Нет, мы ничьей не просим милости.
Мир говорит:
войне — не быть!
Как трудно человека вырастить...
Мы не дадим его убить!

ТИХИЙ ХАРАКТЕР

У других уютные квартиры.
И отчасти ты права была,
что живем мы,
словно пассажиры,
не имея своего угла.

Виноват ли тихий мой характер,
что у нас не так, как у других?
Разберись получше в этом факте.
Ты же знаешь:
я не так уж тих.

Тихий я,
как русский лес,
как Волга.
Но накличь-ка на меня беду!
Я ведь только запрягаю долго,
а люблю я быструю езду.

Разве ты забыла,
как когда-то
мирную оставив тишину,
вот такие тихие ребята
молча уходили на войну?

С детства кто в медвяных летних росах
молча слушать соловья привык?
Кто молчал под пыткой
на допросах,
словно откусив себе язык?

Кто потом
без лишних разговоров,
как когда-то раньше на войну,
шел в Сибирь,
чтоб строить новый город,
поднимать степную целину?

Беспокойных, тихих и счастливых,
сколько их у нас,

людей таких!
Пусть они не из красноречивых,
но дела их говорят за них.

Не пролазы мы и не пронеры,
нам уют пока что незнаком.
Не умеем мы из-за квартиры
по столу дубасить кулаком.

Заявлять ли о себе шумихой,
если нам такой характер дан?
Русский человек, конечно, тихий.
Тихий,
как Великий океан.

РАССВЕТ

Люди умирают на рассвете,
в темноте,
в тиши своих квартир,
в час, когда родившиеся дети
первым криком оглашают мир.

Войны начинаются с рассветом,
под покровом мертвой тишины,
в час, когда влюбленным и поэтам
видятся заманчивые сны.

Что бы это все ни означало,
я б рассвет порочить не хотел.
Все-таки рассвет —
всегда начало
самых ярких,
самых светлых дел.

Лев Овалов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ

РОМАН

I

Что делалось на этом вокзале! Яблоку упасть было негде. Люди лежали везде, на полу, на скамейках, под скамейками. Грязь повсюду была такая, точно вокзал не подметали по крайней мере месяц. Впрочем, его действительно не подметали месяц, а то и дольше.

Но люди все-таки были довольны, над ними не капало, стены защищали их от ветра и дождя, было сравнительно тепло и... ну, словом, было сравнительно тепло и сухо.

Подошел еще один поезд...

Когда толпа схлынула с перрона, из вагона вышел солдат. На перроне горели фонари, но свет их плохо рассеивал темноту. Городская электростанция работала с перебоями. Вокзал освещался от собственного движка. Трудно было рассмотреть что-либо в ночном сумраке. Солдат спрыгнул на перрон и, прихрамывая, направился в вокзал.

В дверях он чуть не споткнулся, кто-то лежал у самых дверей.

— Куда прешь...

Солдат перешагнул и тут же наткнулся на кого-то еще...

В глубине зала, вдоль стены, за сдвинутыми деревянными диванами табором расположились женщины. Расположились домовито и, точно надолго, расстелили на полу пальто, платки, разделы детей, подложили под головы мешки, сумки...

Солдат кое-как добрался до этого шумного женского табора, присел было на корточки, поставил чемодан, потом не выдержал, уселся прямо на пол и устало вытянул ноги, облокотясь на свой чемоданишко.

— Эх ты, мужик, куда ж ты...— не без ехидства сказала не старая еще женщина, с покрашенными, несмотря на грязь, сутолоку и неустроенность, губами.— Думаешь, теплее с бабами? Титек не видал? Тут ребят кормят...

Она насмешливо, даже вызывающе взглянула на солдата и вдруг удивилась:

— Да ты никак баба...

И точно: солдат оказался женщиной. Может быть, даже не женщиной, а девушкой. Она была еще очень молода и, хотя на лице ее лежал отпечаток безмерной усталости и даже страдания, в глазах ее теплилась такая милая, такая трогательная наивность, какая бывает обычно свойственна только детям.

Соседка с накрашенными губами подвинулась к женщине в шинели.
— Откуда едешь-то? — сочувственно спросила она. — Неужто с фронту?

— Точно, — ответила женщина хрипловатым и вместе с тем звонким, слегка вибрирующим молодым голосом.

— Домой или на побывку?

— Работать.

— Работать везде надо, — сказала соседка. — До места еще далеко?

— Приехала.

Соседка пыталась втянуть ее в беседу.

— Досталось, поди, на фронте? Сестрою была? Многих раненых вынесла?

— Санинструктором. В стрелковой роте, — устало сказала женщина. — А выносить раненых, между прочим, не мое было дело. Выносят санитары. Мое дело было сразу на передовой перевязать. Пока одного поташу, десять кровью истекут...

Она замолчала и, прикрыв глаза, прикорнула у своего чемодана. Однако кругом стоял такой гомон... Говорили обо всем. О молоке, о детях, о жилищах. Об убитых мужьях, о неверных мужьях. Просто о мужьях. Фронт откатывался все дальше на запад, сомнений в исходе войны не осталось теперь ни у кого, и вслед за войсками тысячи людей потянулись на свои пепелища. Поэтому в разговорах мешалось все: и где бы достать гвоздей, и какая казнь ждет Гитлера, и почему на базаре лук...

Женщина закрыла глаза. Ох, сколько ей пришлось повидать! Наплывали какие-то свои мысли. Наплывали, уплывали... Тело сковывала дремота. Она не знала, сколько времени провела в полудреме. Будто бы только зажмурилась, и — опять...

— Гражданка... Или как вас там? Товарищ старшина... Ваши документы!

Перед нею стоял патруль. Лейтенант из военной комендатуры, какой-то железнодорожник, милиционер. Время было тревожное, война еще не кончилась.

Полезла в нагрудный карман гимнастерки, достала документы.

— Гончарова... Анна Андреевна?.. А сюда зачем прибыли?

— По вызову.

— Вот и идите в город, ночевать разрешается только транзитным пассажирам.

— Куда ж я ночью пойду?

— А вы видите, что делается на вокзале? Да и ночь на исходе. Скоро уборка...

Женщина застегнула шинель, встала.

— Куда ты, Аня?.. — Соседка потянула ее за полу. — Сиди. Небось не выкинут.

— Раз не положено...

Патруль ждал. Она обдернула под ремнем шинель, подняла чемодан и пошла к выходу.

II

Сперва она как бы ослепла. Вокзал не ахти как освещен, однако все можно было различить. Привокзальная площадь тонула во мраке. Небо серело лишь в вышине, по-над домами оно было черным. Черным, как сажа. Перед рассветом ночь всегда особенно темна.

Анна постояла, всматриваясь в темноту. Неподалеку стояла грузовая машина, шофера не было, ушел, должно быть, спать или по делам. На площади так пустынно и тихо, что одной стоять жутковато.

Анна могла пойти только к Бубенчиковым. Это были две сестры — Полина и Серафима Егоровны. Анна квартировала у них, когда училась в техникуме. Они жили недалеко от центра. Номер дома Анна забыла, но самый дом помнит хорошо. Рыжеватый, облупленный флигелек в три окна, — много с ним связано воспоминаний. Больше ей негде остановиться. Егоровны любили ее. Небось не откажут, примут.

Анна взяла чемодан поудобнее и пошла. Она хорошо знала город, но в темноте он казался ей сейчас каким-то иным. А может быть, иным он казался не потому, что стояла ночь, а потому, что много домов было разрушено, а кое-где вообще не осталось никаких домов.

Три года провела Анна в Пронске, пока училась в техникуме. Год жила в общежитии, два — у Бубенчиковых. Она убирала дом, обстирывала старух, делилась с ними продуктами. Зато имела отдельную комнату, легче было учиться...

Вот и Московская. На Московской — клуб железнодорожников. Все девчонки из техникума бегали сюда смотреть кинофильмы, билеты в клубе стоили дешевле, чем в городских кинотеатрах.

Из-за угла с грохотом выкатился грузовик, ослепил на мгновение Анну, осветил фарами остов трехэтажного дома и помчался к вокзалу. Задул ветер. Злобный осенний порывистый ветер. Стало совсем холодно. Неизвестно откуда появился пес. Тявкнул и исчез. Анна метнулась в сторону, но пес уже исчез. Она не боялась собак. Пожалуй, она теперь вообще уже ничего не боялась. Просто растерялась от неожиданности.

Всего четыре года прошло, а сколько пережито, сколько досталось на ее долю...

Пронск поломан, разрушен, но он снова станет таким, каким был. А ей уже не стать такой, какой она была. Ничего не поправить, ничего в ее жизни не починить.

Она шла, опустив голову, глядя не на землю, а сквозь нее. Много утрачено... Нет Толи, нет и никогда уж не будет. Она даже не знает, где он погиб, как погиб. Плохо Женечке, плохо ей самой. Темно и худо.

Дошла до Базарной площади. Перейти, а там скоро и Палашевский...

Небо начало бледнеть. Зачинался день. Новый день. Каким-то он будет?..

Вот и знакомый переулочек. Анна замедлила шаги, совестились разбудить старух спозаранок. Номер дома она забыла, но рыжеватый флигелек в три окна запомнился навсегда. Однако флигелька не было. Анна растерянно смотрела перед собой. Никакого флигелька. Голое место. Ни флигелька, ни следов от него. Никаких Егоровен. Ничего...

Переулками прошла на Советскую улицу.

Советская, 38...

Стена. Необычно белая стена, словно только что выбелена. Выбитые окна. Несколько ступенек, отделенных от дома. Ступеньки стоят на тротуаре сами по себе. За ними пролом и вороха щебенки. Какое здесь может быть учреждение!

Вот идет какой-то дядька в рыжей бекешке, с испитым желтым лицом, с брезентовым портфелем под мышкой. Портфель туго набит. Что в нем? Картошка, дровишки, книги? Да и книги, если и набит ими портфель, тоже небось на растопку.

— Гражданин, не знаете, где тут сельхозуправление?

— Тут, тут. Правильно. Во дворе. Прямычком...

Она прошла в ворота. За развалинами уцелел большой деревянный особняк. С застекленными окнами. С дверью, сверкающей свежей охрой. С вывеской. С аккуратной вывеской под стеклом. «Пронское областное управление сельского хозяйства». Милости просим! Входи, Ан-

нушка, входи, входите, Анна Андреевна, вас ждут здесь, товарищ Гончарова!

— Я Гончарова. Вот вызов...

Непрезентабельный вид у товарища Гончаровой. Шинелишка. Серая, потрепанная. Ушанка. Кирзовые сапоги. Словом, шел солдат с фронта.

— Вы — агроном?

— Агроном.

— В Пронске кончали техникум?

Кажется, ей не верили — ни в то, что она агроном, ни в то, что она училась именно здесь, в Пронске.

— Одну минуточку...

Заглянули в один шкаф, в другой, там полно всяких бумаг, папок. Не все сгорело во время войны, сохранилось еще много бумажек, целы архивы, целы люди, целы их должности, звания, права.

— Пройдите к начальнику...

Кабинетик Петухова, начальника управления, похож на клетушку; в старину в купеческих домах в такие клетушки запикивали приживалок да сундуки со всяким тряпьем.

Сам начальник в выцветшем кителе, лицо серое, бескровные губы жестко сжаты, большие руки широко раскинуты, словно держатся за стол.

Начальник бросил на вошедшую быстрый взгляд.

— С фронта?

— Точно.

— Где служили?

— В стрелковой роте.

Он опять бросил на нее испытующий взгляд.

— Соскучилась по земле?

Анна не нашлась что сказать.

— Я тоже фронтовик, — вдруг сказал он. — Только я и на фронте копался в земле. Сапер. Командовал саперным подразделением.

Тогда Анна позволила себе поинтересоваться:

— А сюда что — отозвали?

— Да, — отрывисто сказал он. — Восстанавливать. Разорена наша область. Ни скота нет, ничего.

Первые повести Льва Сергеевича Овалова «Болтовня» и «Красное и черное» появились в 1930 году.

В последующие годы вышли его книги «Утро начинается в Москве», «Здоровье», «Утренняя смена» и другие.

Большой популярностью у советских и зарубежных читателей пользуются приключенческие повести Л. Овалова. «Рассказы майора Пронина» неоднократно издавались в СССР и странах народной демократии.

В 1959 году в нашем журнале был опубликован роман Л. Овалова «Партийное поручение».

В 1961 году издательство «Советский писатель» выпустило одноименный прозаический рассказ писателя.



Анна знала его. Никогда раньше не видела, но знала. Фамилия начальника — Петухов. Это был знаменитый агроном. Не так чтобы известный повсюду, но в Пронской области знаменитый. Картошка, которую он выращивал в своем колхозе, славилась в Пронске. Ее так и называли — «петуховская». Крупная, рассыпчатая, розоватая, как боровинка. На базаре продавцы всегда заверяли покупателей, что картошка их «петуховская».

Анне было непонятно, почему Петухов пошел сюда. Такому человеку не стоило сидеть за письменным столом, такой человек должен ходить по земле.

— Бывали в Суроже? — спросил он.

— Нет...

Она поняла, что Петухов пошлет ее в Сурож.

— Пошлем в Сурож, — сказал он. — Там очень плохо. Город выжжен, в колхозах пусто. В райсельхозотдел. Главным агрономом.

Он не спросил ее согласия, вообще ничего не спросил — ни кто она, ни как она, что-то оскорбительное было в его отрывистом, торопливом разговоре.

— Семья есть?

— Дочка.

Он опять сердито взглянул на Анну.

— Фронтная?

— Нет, еще до войны.

Она могла бы не отвечать, сказать какую-нибудь резкость — какое ему дело до ее жизни? — но почему-то не решилась промолчать.

Петухов опять на нее взглянул, ей показалось, что глаза его потеплели.

— А муж?

— Убит.

— С квартирами плохо в Суроже, — сказал он. — Только-только начинают строиться. Но ничего, найдете.

Петухов задумчиво посмотрел в окно.

— Сходите, поговорите с Волковым, — помолчав, посоветовал он. — Познакомьтесь. Главный агроном управления. Понимающий мужик. Есть и опыт и воля... — Петухов чего-то не договаривал. — Но не очень подчиняйтесь ему, — неожиданно сказал он. — Больше доверия. Больше доверия...

Анна не поняла, к чему относятся эти слова.

— Ну идите, — сказал он и криво усмехнулся. — Извините, не провожаю.

Анна вышла от Петухова с каким-то тягостным чувством, словно человек этот чего-то ей недосказал.

Она осмотрелась. На всех дверях были надписи — кто где находится, какой где отдел. Она нашла дверь с фамилией Волкова, постучала.

— Заходите, заходите, — услышала она звучный, ласковый голос.

Комната была и попросторнее и посветлей кабинета Петухова. У стены блестел диван, обтянутый зеленым новеньким дерматином. У окна веселым часовым выпрямился длинный фикус, поблескивая чистыми глянцевыми листьями. На столе лежали образцы свеклы и аккуратные снопики льна.

Сидевший за столом человек соответствовал своему кабинету. Он был хоть и не молод, но моложав, над открытым лбом вились русые волосы, лоб широкий, белый, чистый, а пронзительные черные глаза не скрывают улыбки, готовой вот-вот появиться на сочных губах.

— Заходите, заходите, — приветливо повторил он, глядя на Анну. — Агроном Гончарова? Мне уже говорили. Познакомились с Иваном Александровичем? Замечательный человек. Суров, но в общем хороший. Надо было только сперва зайти ко мне. Он куда вас направил?

— В Сурож, — сказала Анна. — Не хвалит, правда, но в Сурож.

— Ну вот! — воскликнул Волков. — Я говорю, надо было зайти ко мне. Там ведь все еще... — Он с досады махнул рукой, вышел из-за стола, указал на диван, сел рядом с Анной. — Мы бы вам нашли место в Пронске. А теперь...

— Я не возражаю,— сказала Анна.— Люди везде живут.

— Мы переведем вас,— ласково заверил ее Волков.— Получайте подъемные, устраивайтесь. Подбросим семенного материала, дадим тракторов. Налегайте на картошечку. Люди изголодались. Будет хлебка, и настроение будет...

Своей ласковостью он сразу обезоружил Анну.

— А знаете что?— воскликнул вдруг Волков, глядя на нее влажными глазами.— Я устрою вам пару ульев!

Анна не поняла.

— Каких ульев?

— Обыкновенных,— объяснил Волков.— Лично вам пару ульев.

Анна так и не поняла.

— Зачем?

— Мед, мед! Как вы не понимаете? Будете иметь свой мед. Поставьте где-нибудь в колхозе, поручите кому-нибудь, и будете со своим медом. Пшеница — это еще как бог даст, а цветов...

Он так аппетитно говорил о меде, о цветах, что они невольно возникали в воображении.

Но Анна не столько поняла, сколько почувствовала, что от ульев надо отказаться.

— Спасибо,— сказала она.— Но я не возьму, не нужно.— Она смягчила отказ:— Я боюсь пчел...

Волков засмеялся.

— Что ж вы за агроном? Кто ж отказывается от меда!

Но и не настаивал. Заговорил о сурожских почвах, об удобрениях, о севообороте. Посулился помочь семенами, но много не обещал. Обещаньями не разбрасывался, был деловит, даже прижимист.

— В случае чего обращайтесь,— сказал он на прощанье.— Чем смогу — помогу.

Обеими руками пожал ее руку, и сухие тонкие пальцы Анны сомкнулись в его пухлых и теплых ладонях.

Анна не собиралась больше заходить к Петухову — оформила документы, получила деньги,— но оказалось, он сам просил Гончарову зайти к нему еще раз.

Она вошла. У Петухова сидели какие-то люди.

— Вы можете подождать? — спросил он.

— Пожалуйста.

Она собралась было выйти.

— Нет, нет,— остановил он ее.— Посидите здесь.

Она села у двери, прислушалась к разговору. Речь шла о сельскохозяйственной технике, о ремонте косилок, изломанных за время войны. Взгляд Анны задержался на карте области, потом скользнул по столу, на пол...

Удивилась... Не сразу сообразила — чему, но что-то поразило ее. Перевела взгляд на Петухова, потом снова поглядела под стол. Она не понимала, как сидит Петухов. Где его ноги?.. Поджал под себя? Она уже не отводила взгляда от стола...

Он отпустил посетителей.

— Подсаживайтесь,— сказал он.— Познакомились с Волковым?

Что-то все-таки озадачивало ее в Петухове.

— Вы чего на меня смотрите? — вдруг спросил он.— Соображаете, как я обхожусь?

— То есть как к обхожусь? — переспросила Анна.— Вы — о чем?

— Да я же видел, как вы смотрели,— резко произнес Петухов.— А смотреть-то и не на что!

— Я не смотрела,— сказала Анна.

— Смотрели,— сказал Петухов.— Это я на mine подорвался.

Она вдруг поняла... Стыдно было таращить глаза под стол! Он был без ног — этот Петухов.

— Извините, — сказала Анна.

— Ах, так вас не предупредили? — догадался он, видя ее смущение. — Да, без ног. Подорвался на mine. Еще удачно. Голова цела.

Анна видела много людей без ног, но в таком виде видеть их ей не случилось.

— Ну что? — быстро спросил Петухов. — Что хотите спросить?

— Но как же вы... — Анне неудобно было спрашивать, но он сам заставлял. — Как же вы...

— У меня хорошая жена, утром привозит, а вечером увозит, — объяснил он и даже усмехнулся. — Скоро избавлю ее. Обещают протезы.

Она не знала, что сказать, и не знала — надо ли вообще что-либо говорить, молчала и смотрела себе на коленки.

— Ну, а вы как — собираетесь заводить пчел или нет? — неожиданно спросил Петухов.

— Нет, — сказала она и улыбнулась. — Нам бы картошечки...

— И правильно, — жестким голосом произнес Петухов. — Вы правильно поступаете, товарищ Гончарова. Больше доверия. Себе.

III

Сыпал мелкий сероватый снежок, когда Анна приехала в Сурож. Над городом висело низкое сумрачное небо, натоптанные тропинки расплзались в грязь, дорогу то тут, то там перерезали глубокие колеи.

Домишки стояли кособокие, приземистые, бурые от дождей и непогод, располагались как-то поодиночке, каждый сам по себе, точно кто-то нарочно разбросал их подалеже один от другого.

В Пронске Анна слышала, что Сурож не раз во время войны горел, что немцы его беспощадно бомбили, да и партизаны не один раз обстреливали, выбивая немцев из города.

Однако ни развалин, ни пожарищ, ни воронок уже не было. Просто пусто и голо, точно никогда и ничего не было здесь, кроме редких невзрачных домишек.

Анна нашла аптеку, свернула за угол и пошла по узкой улочке в гору.

В Пронске ей объяснили, как найти районный отдел сельского хозяйства: «от аптеки за угол и вверх»...

Вот и цель ее путешествия. Какой-то полуторазэтажный дом, хоть и состоит он из двух этажей — нижний, из кирпича, глубоко вдавлен в землю. В нижних окнах герань, фуксии, столетник, занавесочки — там обитают люди, в верхних — ни цветов, ни занавесок, невеселый, водянистый блеск, там — учреждение.

К скособоченной, покрашенной суриком двери приколочена фанерная дощечка, на ней надпись: «Райсельхоз сзади».

Анна поднялась по трясущимся ступенькам, и перед нею возникла обычная канцелярия. Столы, стулья, шкафы. Счеты. Служащие. Служащие сидели за столами, писали, считали, разговаривали. В комнатах неуютно, но чисто. Не столько от стремления соблюсти чистоту, сколько от пустоты. Пусто и одиноко чувствовал себя человек в этих комнатах.

Заведовал отделом Александр Петрович Богаткин. О нем хорошо говорили в областном управлении. Старый, опытный агроном. Поможет, поддержит, посоветует.

Анна поискала глазами и не нашла кабинета заведующего. Все

двери открыты, надписей нет. Богаткин сидел, вероятно, за одним из столов, но — за каким?

Она обратилась к девушке, занятой графлением бумаги.

— Товарищ Богаткин здесь?

— А где ж ему быть!

Девушка указала комнату, за порогом которой сидел товарищ Богаткин.

Он понравился Анне. Скромный человек в дешевеньком костюмчике, с темным галстучком, он сидел и крутил ручку арифмометра.

— Садитесь, девушка, садитесь,— сказал он.— Я сейчас.

Старомодные очки в тонкой металлической оправе не скрывали растерянного взгляда добрых голубых глаз.

— Вы ко мне? — спросил он, отрываясь от арифмометра, точно это не было очевидно.

— Я из Пронска,— сказала Анна.— Направлена к вам на должность главного агронома.

— Замечательно,— сказал Богаткин.— А то мы совсем зашились...— Он отставил от себя арифмометр.— Надеюсь, вы агроном?

— Разумеется,— сказала Анна.— Кем же я еще могу быть?

— Не скажите,— возразил Богаткин.— Не всегда агрономами посылают агрономов. Тут у нас был один...

Он не вдавался в подробности, кто у них был, встал, прошелся возле стола.

— Мы внесем ваш стол ко мне в кабинет, здесь теплее,— объяснил он.— Топят у нас плохо, дров мало.

Богаткин помолчал, задумчиво посмотрел в окно и вздохнул.

— Погода...— задумчиво произнес он.— Чем-то еще она нас порадует.

Анна ждала, что расскажет он о районе, но Богаткин, по-видимому, не намерен был затевать сейчас деловой разговор.

— Сегодня отдохнете,— сказал он,— а завтра за работу.

— Можно и не отдыхать,— сказала Анна.

— Семьи у вас нет? — спросил Богаткин, как нечто само собой разумеющееся.

— Есть,— сказала Анна.

— Где ж вы поместитесь? — участливо спросил Богаткин.— У нас тут худо с жильем.

— Да уж как-нибудь,— сказала Анна.— У меня только дочка, да и та еще на Кубани.

— Ну, это легче...

Он опять встал, вышел и тут же вернулся.

— Ходил узнать,— сказал он,— насчет комнаты. Есть тут одна женщина, Ксенофонтова. Сын у нее механиком в МТС работает. Сдается у нее комнатуха...

Он сам взялся проводить Анну, довел до Ксенофонтовых, можно сказать, сосватал ей комнату.

Комнатуха была темная, узкая, перегородка, отделявшая ее от хозяйских комнат, не доходила до потолка, но в последнюю военную осень и такая комната была в Суроже находкой.

— Ладно,— сказала Ксенофонтова.— Верю, что агроном, хоть и непохожи на него. Больше пускаю из-за дочки, жалею детей. О плате договоримся, жадности не люблю ни в людях, ни в себе...

Она помогла Анне устроиться, поставила койку, поприветила жилищку, поделилась с ней даже бельем, и на утро Анна с успокоенным сердцем пошла из этого дома на работу.

IV

Анна понять не могла — как это получается? Не все ли равно где работать? Оказалось — не все равно.

Не так-то уж плохо было ей на Кубани, работа у нее была «под ногами не валяется», не будь она фронтовичка, не направили бы ее в плодородческий совхоз. Ходи, знай, указывай, как окучивать деревья, уничтожать вредителей, убирать урожай, собирать фрукты в корзины...

Ан нет, потянуло домой. Картошка в Пронске, оказывается, вкусней, чем яблоки на Кубани. Она раньше не понимала, до чего ж дороги ей родные пронские земли, как не понимала когда-то мать, которая говорила отцу: «Вези куда хочешь, а лежать хочу в своей, в родительской, в пронской земле».

Анна аккуратно ходила в свой райсельхоз. Она быстро привыкла ко всем и во всех находила что-то хорошее. Богаткин был добрый человек, только какой-то запыленный. Его часто вызывали то в райком, то в райисполком. Прибегал оттуда — лица на нем не было, начинал на всех кричать, а больше на самого себя. И очень любил заставлять сотрудников подсчитывать будущие урожаи. Если запашем столько-то и столько-то га и засеем такими-то и такими-то культурами, и если будут такие-то и такие-то климатические условия, сколько соберем с гектара? Он тонул в бумажном потоке и не пытался из него выбраться.

Девушки из отдела делились с Анной своими секретами. Рая ругала Богаткина за то, что он заставляет работать по вечерам. Зина хотела выйти замуж, но не знала за кого. Обе они очень интересовались, когда же Анна привезет в Сурож дочку.

Самым невозмутимым человеком в отделе был бухгалтер Бахрушин. Высокий, красивый, он говорил меньше всех, делал свое дело, а агронома в шинельке просто не замечал.

Богаткин сразу оценил Анну. Если требовалось подготовить решение, Богаткин сажал за проект Анну. Она сочиняла решения, составляла таблицы, «подбивала» сводки и... скучала.

Она попросила послать ее в какой-нибудь колхоз.

— Чего вы там не видали? — удивился Богаткин. — Они лучше нас с вами разбираются в своих делах...

И не пустил. Он уже не мог обходиться без Анны.

За несколько месяцев она постигла всю механику бумажного руководства. Писать, писать, писать. В этом заключалась работа. Не так уж важно, что писать, важно было писать. Спрашивать, запрашивать, изучать, и обязательно в письменном виде. К ним писали из области, из министерства. Они писали в область. Писали в колхозы. Нескончаемым потоком шли запросы, инструкции, циркуляры. Война не кончилась, а люди погрузились уже в писанину.

Она уставала за своим столом больше, чем если б работала в поле.

Приходила вечером домой, в глазах серым-серо, все сливалось в серый туман, да и дома было не веселее.

Ксенофоновы были простыми людьми. Сама Евдокия Тихоновна всю жизнь проработала на шпигатной фабрике. Мужа потеряла еще до войны, одна вырастила и поставила на ноги сына.

Грише Ксенофонову всего семнадцать, но он уже два года работал на МТС. Почему-то все считали, что работает он механиком, хотя на самом деле работал токарем. Просто у него был талант к механике. Отработав свое, Гриша оставался ремонтировать тракторы, комбайны, косилки. Все, что нуждалось в ремонте. Он не получал за это никаких денег, разве что изредка его благодарил тот, за кого он оставался работать. Но Гриша и не ждал благодарности, он трудился из любви к делу.

Дома Гриша вел себя как взрослый мужчина. Возвратясь с работы, умывался, садился за стол, ждал, когда мать подаст ему ужин, потом ложился, закуривал папиросу и... засыпал.

По-детски он только вставал. Мать не могла его добудиться.

— Гриша, Гриша! Уже гудело...

Проснуться он не мог. Потом вскакивал, взглядывал на часы, совал в карман несколько холодных картофелин и — был таков!

К Анне Гриша относился и покровительственно и пренебрежительно, он и жалел ее, и не уважал. Он не любил незамужних баб.

Анна ложилась и несмотря на усталость подолгу не могла заснуть, до того ей было тоскливо и одиноко. Женечка далеко, и страшно привезти ребенка в это неустройство.

Вслух она вспоминала дочку редко, но Евдокия Тихоновна угадывала ее мысли.

— Чего ты томишься? — обращалась она вдруг к Анне без видимой причины. — Вези, не пропадешь, воспитала же я Гришку...

Но Анна никак не могла решиться, все ей казалось, что у тетки Женечке лучше.

Утром она опять шла в свою канцелярию и вместе с Богаткиным погружалась в поток цифр.

Оживление пришло с весной. Война близилась к концу. И — кончилась. Наши взяли Берлин. Не прошло после капитуляции немцев и нескольких дней, как все изменилось в Сурожье. Везде начали строиться. Понемногу строились в течение всей зимы, но так буйно строиться начали только с мая. Новенькие срубы появлялись то тут, то там. Как грибы после дождя. Сурож оживился, повеселел. Постукивали молотки, шуршали, повизгивая, пилы. Весна пахла сладкой сырой стружкой. Анна всей грудью вдыхала этот запах.

Себе она купила новое пальто. В райпотребсоюз привезли партию верхней одежды, и Богаткин принес из райисполкома записку, чтобы Анне продали пальто прямо со склада. Она выбрала самое дорогое, мягкого синего драпа, свободного покроя, без пояса, с широкими рукавами. Там же на складе купила голубую косынку, туфли... И вдруг заметила, что на нее стали обращать внимание. Как-то почтительнее стал обращаться к ней Богаткин, начал первым здороваться Бахрушин, принялся чуть не каждый день захаживать инструктор райкома партии Сухожилов. Девушки в отделе уверяли, что Сухожилов зачастил ради Анны. Она не верила, и все же было приятно, что так говорят.

Ко всему, что касалось ее лично, Анна относилась ужасно безучастно. Так вели себя люди после тяжелых контузий. В ней была какая-то вялость, ничего не хотела она для себя. Она была ушиблена войной. Ей казалось, что после Толи у нее уже не может быть никого. И все-таки, когда с окончанием войны все вокруг ожило и в самой Анне что-то начало пробуждаться, она стала обращать внимание на оказываемые ей знаки внимания, прислушиваться к обращенным к ней ласковым словам, стала оживать, как засохшее деревцо, набравшееся новых сил.

Но спать по ночам она не могла. Уж очень однообразно шла ее жизнь. Служа да нужна, служа да нужна, все то же и без конца. Лежишь, лежишь, а думы жалят, как комары. Умереть не умрешь, а нудно.

С вечера Евдокия Тихоновна натапливала печь чуть не докрасна, Анну размаривало, клонило в сон, но тепло вскоре выдувало, и под тонким байковым одеялом становилось холодно и одиноко.

Женечку бы под бок, прижать, пригреть, да и самой пригреться... В этой жизни каждому хочется пригреться.

Ох ты, Женечка, Женечка! Где ты, доченька? Не обижают ли тебя, моя слезная? Что с тобой, как ты?..

...Домик был уютный, белевский, чистенький. Украинская глинобитная хатка, каких множество в кубанских станицах. Тетя Клава оказалась молодой еще женщиной, приветливой, крикливой, надоедливой.

— Ох ты, Толечка, мой дорогой! Ох ты, Нюрочка, моя дорогая! Ох ты, внучечка моя... Подумать только! Мне бы самой еще замуж, а я бабушка!

За домом рос садок. Вишни, абрикосы, груши. Вдоль плетня цвели мальвы. Войны здесь еще не было. Здесь были — мир, сад, абрикосы.

Толя оставил жену и дочку на попечение тетки. Не прошло недели, как Анну отвезли в больницу. Надо же было простудиться в июле! Воспаление легких. Всем было не до нее. Война приближалась семимильными шагами. Когда Анна вернулась к тетке, в станицу уже доносились раскаты орудийных выстрелов. Во время болезни у нее пропало молоко. Тетка кормила Женечку из бутылки. Козьим молоком. Тетка говорила, что козье полезней коровьего.

Но еще раньше чем до станицы донесся грохот орудийных раскатов, пришли слухи о зверствах немцев. Евреи, коммунисты, офицеры... Все подлежали истреблению. Истреблению подлежали семьи коммунистов, их жены, дети, родители.

Тетка нервничала. Она хотела жить. Она еще собиралась замуж. Она с опасением посматривала на Анну. Все знали, что Анатолий — офицер, летчик, коммунист.

— Ты бы уехала, — сказала ей как-то ночью в темноте тетка. — Женю оставь, я ее выхожу.

Старики, подростки, девушки записывались в ополчение. Анна тоже записалась.

Батальон ополченцев увели в горы перекапывать дорогу, чтобы задержать продвижение немцев на Кавказ.

Горы, окопы, дороги. Началась и для Анны война. Грязь и кровь...

Анна вернулась в Белореченскую, демобилизованная после ранения, в начале 1944 года. Похудевшая, измученная, злая. Станица чернела в копоты.

Анна шла по улице с вещевым мешком на плече. Там консервы, сахар, галеты. Все для Женечки. Знакомой хаты не было. Дом сожгли. Сад вырубил. Тетка жила в землянке среди корявых пеньков, торчавших на месте грушевых деревьев.

Война сильно изменила Анну, однако тетка ее признала.

— Нюрочка, на кого ты стала похожа?!

Она действительно была не похожа на себя.

— Где Женя?

Спустилась в землянку. На деревянном топчане сидела девочка, копошась в каком-то тряпье.

Тот, кто видел в войну дистрофиков, представляет, что это такое! Мало сказать — кожа да кости. Кожа не походила на кожу. Серая, вот-вот готовая порваться, нетелесная какая-то оболочка, и палочки вместо рук и ног. Скелеты с полубезумными глазами, прячущимися в глубоких впадинах.

Дети были еще страшнее. Дети-дистрофики. Просто не остывшие еще трупы...

Из полутьмы девочка безразлично посмотрела на мать.

Анна упала. Вещевой мешок потянул ее к земляному полу. На что тут консервы, на что сахар...

— Женечка, доченька...

Захотелось сказать что-нибудь обидное Клавдии, но она еще раз взглянула на Клавдию и — расхотелось говорить. Та сама была немногим лучше ребенка, такое же изможденное лицо, такие же диковатые глаза в темных впадинах.

Тетка поняла Анну.

— Э-эх, Нюра, если б ты знала, каково нам досталось...

Анна понесла дочь в больницу.

— Не переживайте, если ребенок не выживет,— безжалостно сказал врач.— Вы молоды, будут новые дети...

— Я не выйду замуж,— упрямо произнесла Анна.— Лечите. Лечите, как только можете. Отблагодарю.

— Попытаемся без благодарности,— сказал врач.— Попытаемся.

У Анны брали кровь и вводили дочери...

Ходить Женя начала месяцев через пять.

На работу Анна устроилась в плодородческий совхоз. Она брала с собой в сады Женю. Та бродила на неокрепших ножках между деревьев и грызла зеленые яблоки.

Тетка бегала к поездам. Торговать. Она торговала всем— вишнями, шелковицей, оладьями, яйцами. Купит на базаре курицу, сварит, суп сами съедят, а курицу обжарит и несет на станцию. Постепенно тетка начала поправляться. Помолодела, округлилась, стала поглядывать на мужчин.

— Ты бы, Нюра, попросила себе в совхозе квартиру,— посоветовала тетка.— Надо строиться, а без мужика не сладить...

Все здесь было чужим и все напоминало Толю.

Анна писала на родину, писала знакомым, интересовалась, как идет в Пронске жизнь, и вдруг получила вызов— Пронское областное управление сельского хозяйства предлагало работу.

Ох, до чего ж соскучилась она по рассыпчатой пронской картошке и квашеной капусте!

— Поеду-ка я, Клава, домой,— полувопросительно сказала тетке Анна.

— Чего лучше,— тотчас согласилась тетка.

— Не знаю только, как с Женечкой быть. На что еду— сама не знаю.

— Оставь, подсоблю. Освоишься, привезу. Или сама приедешь...

Так и порешили. Осенью Анна уехала на родину, в Пронск.

Чуть потеплело, она принялась слать тетке письмо за письмом. В каждом письме просила привезти Женю. Евдокия Тихоновна усиливала ее нетерпение. «Как же это можно родное дитя на отшибе держать?!» Наконец тетка сообщила, что едет.

V

На вокзале уже был порядок, всюду подметено, прибрано, только креозотом пахло еще резче, чем в прошлом году.

Анна трижды прошла платформу из конца в конец, асфальт приминался у нее под ногами, душно было и в тени. Нетерпение все сильнее овладевало ею, и когда вдали появился попыхивающий паровоз, она с трудом удержалась, чтобы не побежать навстречу.

Четвертый вагон...

Вот и тетка с чемоданами в обеих руках, позади какая-то женщина с Женечкой.

Ох, до чего ж она худа и бледна! Совсем заморыш. В зеленом плюшевом пальтишке. Такого у нее не было. Мала не по возрасту. Не в отца и не в мать. Спать хочет, или в девочку вселилось такое равнодушье, что его уж ничем не истребить?

Тетка сразу увидела Анну.

— Ну здравствуй, здравствуй. Доехали. Бери чемодан, одной трудно. Носильщика не надо, справимся.

Анна схватила Женечку, прижала к себе.

— Дочуня, узнаешь?

Женечка молчала, но как будто узнала мать, тоже прижалась к ней испуганно и доверчиво.

Тетка засмеялась.

— Своя кровь!

Сама тетка раздобрела, помолодела, на ней было габардиновое пальто и цветастая шелковая косынка, узлом стянутая на затылке.

Теткина попутчица приветливо посмотрела на Анну и застенчиво произнесла:

— Вот и свиделись...

— Бывайте здоровеньки,— вдруг сказала ей тетка.— Ходите. Теперь мы сами уже...

Тетка ничего не сказала обидного, но точно отбросила женщину от себя, та постояла с минуту и пошла прочь.

— Что — знакомая? — спросила Анна.

— Какое там,— безразлично отозвалась тетка.— Смотрели друг дружке за вещами...— Попутчица ее уже не интересовала.— Ну куда, Нюра? Показывай. Как ты тут, обжилась?

Одной рукой Анна прижала к себе Женечку, другой взяла у тетки чемодан — чемодан был тяжел, точно набит камнями,— и пошла к выходу.

За оградой ждала машина — грузовик из Сурожской МТС. Шофер должен был получить в Пронске железо, но директор МТС сказал, что железо можно и не получать, возьмут в следующий раз.

Анна из уважения посадила тетку рядом с шофером, отдала ей Женечку, хоть и не хотелось отдавать, а сама с чемоданами забралась в кузов.

— Анна Андреевна, я захвачу человек двух? — небрежно обратился к ней шофер.

Анна понимала, вопрос задается только ради проформы.

Он ушел искать пассажиров.

Вскоре в кузов набилось столько людей, что Анне пришлось потесниться.

— За железом не поедем,— решительно заявил шофер.— Ребенка мотать нечего...

Шофер был в хорошем настроении — не зря сгонял в Пронск машину — и всю дорогу назад гнал грузовик с ветерком.

Платных пассажиров высадил при въезде в Сурож, довез Анну до квартиры и помог даже внести в дом чемоданы.

Тетка вошла в комнатушку Анны и поморщилась.

— Тесно...

Комнатушка и впрямь была тесна, тесна и бедна, и узкая железная кровать, и колченогий стол с подоткнутой под одну из ножек дощечкой, и жалкий комодик с флаконами из-под одеколona — все подчеркивало скудость средств и неустроенность обитательницы комнаты.

Анна обвела комнату взглядом, как будто увидела ее заново.

— Не все сразу,— сказала она.— Будут и хоромы, бог даст.

Тетка сразу почувствовала себя хозяйкой. Сняла пальто, повесила на гвоздь, полезла в комод, сама нашла простыню, занавесила пальто, достала из чемодана сало, лук, домашнюю колбасу.

— Угощай, Нюра, гостей,— весело сказала она.— Русские люди на пустой желудок не калякают.

Анна накрыла на стол, принесла самовар, пригласила к столу хозяйку.

— Тетя Клава, тетя Дуся,— познакомила она тетку с хозяйкой.

Тетка толстыми ломтями кромсала сало.

— Кубанское сальцо, угощайтесь!

В Суроже жили небогато, люди еще еле-еле оправлялись после войны, сало, да еще вдосталь, было в диковину.

Евдокия Тихоновна, натерпевшаяся и голода и холода за войну, выбрала ломтик потоньше, осторожно положила на хлеб.

— Благодарствуйте, поберегу сыну.

— Да мы и сыну отвалим,— великодушно ответила тетка.— Вот привезла внучку...

Она опять критически оглядела комнату.

— Где ж ты ее поместишь? — спросила тетка.— Тесно.

— В тесноте, да не в обиде,— недовольно возразила Евдокия Тихоновна.— Нам в Суроже не до жиру.

— Не скажите,— возразила тетка, наевшись сала.— Ребенок требует ухода.

Женечка сидела рядом с матерью и лениво жевала сало.

— А теперь по кашечке,— сказала тетка.

Она опять слезила в чемодан, достала кулек с урюком, щедрым жестом высыпала угощение на стол.

— Угощайтесь, угощайтесь, с чаем очень пользительно.— Наложил сушеных плодов в стакан, подала стакан Анне.— Плесни-ка кипяточку. Распарятся, самый смак будет.— Подвинула стакан Женечке.— Угощайся, внучка.

Напившись чаю, тетка принялась выкладывать из чемодана подарки.

— Я вхожу в положение. Вот сальцо. Поболе килограмма. Чернослив. Не уступит сочинскому. Килограмма с два. Урюк...

Она выкладывала кулек за кульком, горделиво поглядывая на хозяйку квартиры,— мол, вот я какая!

— Прибери,— приказала она племяннице.— Тебе с твоей простотой без поддержки не обойтись, я ж понимаю.

Выложив подарки, тетка снова села к столу. Распаренная, сытая, уверенная в себе, она ласково смотрела на собеседниц.

— А как тут у вас с сухофруктами? — вдруг спросила она, не обращаясь ни к кому порознь.— Как тут у вас с сухофруктами, спрашиваю?

— С какими сухофруктами?

Анна удивилась, а Евдокия Тихоновна вовсе не поняла вопроса.

— Ну, компот, компот,— нетерпеливо пояснила тетка.— Есть на базаре сухофрукты? В ваших местах сухофрукты должны быть в цене!

Носком туфли она притронулась к чемодану.

— Полтора чемодана привезла, расходы оправдать.

Евдокия Тихоновна задумчиво посмотрела на гостью.

— Нет у нас сухофруктов,— скучным голосом сказала она.— Детский продукт...

— А ты, Нюра, не примечала? — обратилась тетка к племяннице.

Анна отрицательно покачала головой.

— Не хожу я на базар.

Тетка решительно встала, оделась.

— Пойду сама погляжу.

Анна убирала со стола. Почему-то стало неудобно перед хозяйкой. Анна насыпала на тарелку урюка, положила сала.

— Возьмите, тетя Дуся.

Хозяйка кивнула на выходную дверь, испытующе взглянула на квартирантку.

— Не заругается?

— Берите, берите.

Тетка вернулась под вечер, довольная и веселая.

— Все лавки обошла, хоть шаром покати,— похвасталась она.— Не

поступает сухофрукта в продажу, по детским домам да по больницам расходится. Соскучился народ по фрукте, выноси на базар — с руками оторвут. Не знаю только, почему продавать. Урюк, конечно, подешевле, а вот курагу...

Она вслух прикидывала, по какой цене продавать свою сухофрукту, подсчитывала прибыли, говорила о черносливе с такой теплотой, будто чернослив этот был предметом ее самой пылкой любви.

— Я тебе, Нюра, посылки буду сюда посылать с фруктою. Я тебе найду здесь людей, самой, конечно, как агроному, неудобно на базаре стоять, а вечером считаешься честь честью, себе процент возьмешь и мне переведешь. А то еще лучше, что из промтоваров пришлешь, я тебе напишу что...

Легли спать, а она все говорила и говорила, и даже тогда, когда ее речь сменилась монотонным посвистыванием, Анна долго не могла заснуть.

Тетка проснулась спозаранок, но Анна была уже на ногах.

— Чуть не проспала...— Тетка зевнула, потянулась.— Пойду...

— Нет, Клава,— жестко сказала Анна.— Никуда вы не пойдете.

— Как не пойду?— удивилась тетка, садясь на кровати.— Меня люди ждут!

— Не пойдете,— повторила Анна.— Незачем.

— Ты мне не указчица!— вспылила тетка.— Сама знаю, что делать.

— Нет, Клава,— сказала Анна.— Я здесь агроном, мне людей со-
вестно, думаете — не станет известно, кем вы мне приходитеесь?

— А ты уж и засовестилась?— язвительно спросила тетка.

Анна посмотрела на тетку.

— А что ж вы думаете?

Тетка не ответила, молча встала — она была словоохотлива, ей трудно было молчать, — сходилла умыться, оделась, взяла чемодан и молча пошла к двери.

— Вы куда?— спросила Анна, в ее голосе прозвучала угроза,—
спросила так, что тетка вынуждена была остановиться.

— На рынок,— ответила тетка, стараясь говорить как можно неза-
висимее.

— Не пушу...

Анна не сказала больше ничего, но тетка поняла, что пойти ей на рынок не удастся, в тоне Анны звучало что-то такое, с чем тетка не могла совладать.

— Да у меня и денег на дорогу не хватит,— несмело проговорила она, робея почему-то перед племянницей.

— Добавлю,— сказала Анна.— Доедете.

Тетка нерешительно потопталась на месте, посмотрела на спящую Женечку и неожиданно всхлипнула.

— Когда дочь оставляла — не принципиальничала!

Для тетки это было трудное, малодоступное слово, но она нашла его где-то в глубинах своей памяти и правильно употребила, вложив в него достаточную долю иронии.

Анна тоже задумчиво посмотрела на дочь.

— Я ведь не гулять от нее ушла...

— Да ведь и я брала ее не на радость,— сказала тетка.— Самой жрать было нечего.

— Я расплачусь,— тихо сказала Анна.

— Вот и расплачивайся,— сказала тетка.— Мне тоже надо наверсты-
вать, что за войну потеряла.

— Только не так,— сказала Анна.— Торговать я вам в Сурожье не позволю.

— Так люди мне еще спасибо скажут...— Тетка кинула на Анну пыливый взгляд.— Схожу на рынок?

— Нет,— сказала Анна.— Я вам на чужом горе наживаться не дам. Тетка зло посмотрела на Анну.

— Неблагодарная ты!

— Ладно.

— Уеду. Сейчас же уеду.

— Ну что ж...

Тетка подхватила чемоданы.

— Подавись ты моим добром!

— А вы не волнуйтесь,— негромко сказала Анна.— Гаши кулечки я обратно сложила. Что вчера съедено, того не вернешь, конечно, а остальное в чемодане.

— Сам не гам и другому не дам?— Тетка остановилась на пороге, трянула чемоданами.— Автобусы у вас ходют?

— Ходят.

Тетка еще раз трянула чемоданами.

— Хоть донести помощи, тяжело ведь!

— Это я могу...

Анна взяла у нее из рук один из чемоданов.

— Ну спасибо тебе, Нюрочка,— высказалась тетка еще раз.— Добро — оно всегда забывается. Пеняй потом на себя, хлеб за брюхом не ходит...

Анна не хотела отвечать. Довела тетку до автобусной остановки, внесла чемодан в автобус, сунулась было в карман за кошельком — она ж обещала тетке дать на дорогу,— но та заметила ее движение и сердито махнула рукой.

— На свой доеду, не нужно.

Анна кивнула ей — ладно, мол, и выпрыгнула из автобуса. Выпрыгнула и только что не побежала домой — Женечка могла вот-вот проснуться.

В сенях навстречу ей вышла хозяйка.

Они встретились глазами.

— Проводила? — спросила Евдокия Тихоновна.

— Проводила.

— Ну и не расстраивайся,— сказала ей Евдокия Тихоновна.— Компот сладок, только уваженье от людей слаще того компоту.

VI

Видеть Петухова Анне пришлось еще лишь один раз.

В самом начале 1946 года Богаткина и Гончарову вызвали на совещание в Пронск.

Анна и Богаткин приехали в управление прямо с поезда, было еще рано, немногие опередили сурожцев, но Петухов уже сидел в единственном стоящем за столом кресле, поставленном, вероятно, специально для Петухова.

Анна увидела его и ужаснулась, это был другой человек, осталась лишь половина того Петухова, которого она видела год назад,— он как бы уменьшился в размерах, еще больше похудел, посерел и сморщился.

К удивлению Анны, он узнал ее.

— Эй, Сурож, Сурож! — позвал Петухов хриловатым глухим голосом.— Агроном из Сурожа, подите-ка сюда...

Руки Петухова лежали на столе, он повернул кверху худую большую ладонь, и Анна положила на нее свои пальцы.

— Как вы там? — Петухов слабо пожал ее руку.— Не отжидают? Анна улыбнулась.

— Кто меня обидит? Я сама любого обижу...

Но Петухов не улыбнулся в ответ.

— Правильно,— серьезно произнес он.— Не давайте себя обижать. Мы еще поговорим...

В совещании участвовали представители многих областных организаций. Петухов был не мастер говорить речи, но было видно, что он знает, чего хочет от людей. Он беспощадно обрывал каждого, кто увлеклся общими словами.

— Вы мне о всемирно-исторических победах не толкуйте,— останавливал он оратора.— Вы скажите лучше, сколько вы тракторов отремонтировали?

Оратор начинал говорить о тракторном парке, о недостатке запасных частей...

— Сколько, сколько? — перебивал Петухов.— У вас всего четыре трактора да ваш язык на ходу, а вам известно, что в колхозе «Авангард», в овраге за кузницей, лежат в земле три ящика с запасными частями, закопанные перед приходом немцев?

Можно было подумать, что этот безногий человек самолично обошел все поля своей области. Он злился, раздражался, грубил, но ему многое прощалось...

Волков ему поддакивал, соглашался, но нет-нет да и поправлял. Петухов воплощал в себе бурю и натиск, а Волков был само благоразумие.

По существу спор на совещании и шел между Петуховым и Волковым.

Петухов требовал засеять весь яровой клин.

— На себе пахать, а засеять!

— А убирать?

— Уберем!

— Людей мало, сеять надо столько, сколько сможем убрать...

Анна жалела Петухова. Женским своим сердцем она понимала, как неймется ему на поруганной пронской земле собрать золотой урожай.

— Разбазарили землю, раздали по рукам, трудодни начисляются всем подряд,— отрывисто говорил Петухов.— Опять стали жить хуторами. Объединять надо мелкие хозяйства, сливать...

— Все это правильно, Иван Александрович,— соглашался Волков.— Но под носом у себя еще кое-как ковыряются, а на большом поле — поди уследи! Подъем экономики обеспечит и рост общественного самосознания. Закон экономического развития. Этап за этапом. Нельзя перепрыгнуть через самих себя.

— Ладно,— сказал Петухов.— У нас не теоретический спор. Вот что, товарищи из районов. Чтобы через две недели по каждому колхозу был план севооборота. Списочки инвентаря и тягла. Все, как есть. Не считайте тракторов, которые бездействуют, и не прячьте лошадей, на которых ездите на базар...

Анна видела, она хорошо видела, что Петухов умирал. Достаточно было вспомнить, каким был он год назад, чтобы понять, что ему остались считанные дни. Анна встречала таких людей на фронте. Смертельно раненные, они в упор, до последнего патрона били по врагу. Маленький, сморщенный, жалкий, не то сидел, не то стоял этот обрубок человека в своем кресле и неистово боролся за урожай. За урожай, который ему не придется собирать.

После совещания Петухов задержал Анну:

— Товарищ Гончарова, вы не очень спешите? Оставайтесь. Поговорим.

Все уже расходились. Кто-то торопился на поезд, кто-то спешил домой.

Анна остановилась.

Вместе с ней к Петухову подошел Волков.

— Вы идите, Геннадий Павлович,— сказал Петухов.— Хочу потолковать с агрономом Гончаровой. О ее делах.

Волков неуверенно взглянул на Петухова.

— Я не спешу. Побуду с вами, пока придет Ольга Антоновна.

Он стоял, спокойный, здоровый, сильный. Анна не понимала, почему ей кажется, что он точно заискивает перед больным, тщедушным и плохо владеющим собой Петуховым.

— Не надо,— ответил Петухов, раздражаясь.

Волков недоверчиво поглядел на Анну.

— Остаетесь?

Он пожал руки Петухову и Анне и спокойно, не торопясь, пошел прочь из комнаты.

Под потолком светились два белых матовых шара, теснились сдвинутые стулья, на скатерти валялись скомканные записки, и посреди этого беспорядка один, как перст, торчал над столом Петухов.

— Да-а...— неопределенно протянул он, не глядя на Анну.

Должно быть, ему было не по себе, и она вдруг поняла — от него исходило ощущение отрешенности от окружающего, должно быть, Петухов понимал, что он уже не жилец на этом свете.

— Садитесь,— спохватился он.

Анна послушно села. Два белых матовых шара спокойно светились над их головами. Петухов придвинул к себе папку, полистал бумаги.

Анна думала, он будет говорить с ней о работе, о Суроже, о положении сурожских колхозов. Но Петухов молчал. Потом ей почему-то подумалось, что он заговорит с ней о Волкове. Чем-то Петухов был уж очень антагонистичен Волкову. Но он ее удивил.

— Скажите, вы любите стихи? — неожиданно спросил он.

Анна не особенно любила стихи, всю жизнь ей было не до стихов.

— Не знаю,— задумчиво ответила она.— Может быть, Пушкина, Лермонтова. А современных поэтов не очень люблю.

— И я,— сказал Петухов.— Я думаю, это потому, что тогда жизнь была очень остановившаяся. Движение были — Пушкин, Лермонтов. Они двигали жизнь. А теперь поэты — разве они движут жизнь?

Он еще полистал бумаги, вытянул листок с цифрами, покачал головой, глядя на цифры.

— Вы сколько тракторов просите? — спросил он.

— Двадцать,— сказала Анна.— Хотя бы двадцать,— поспешно добавила она.

— Не дадим,— твердо произнес Петухов.— Всем надо. Откуда я вам возьму тракторов? — Он холодно посмотрел на Анну.— Во всем должна быть справедливость,— добавил он, и это относилось не только к тракторам.

Анна видела — спорить с ним бесполезно.

— Очень вам плохо в Суроже? — вдруг спросил он.

— Да нет, не так что бы очень,— сказала она.— Жить можно.

— Жить везде можно,— сказал Петухов.— А нужно, чтобы жилось хорошо. Всем. Для этого мы и живем.— Он опять спохватился.— Ну, а что у вас там вообще? — деловито спросил он.— Вы не стесняйтесь, рассказывайте.

Анна собралась с мыслями. Принялась говорить об удобрениях. С вывозкой на поля навоза в районе дело обстояло хуже всего, тягла не хватало, минеральных удобрений поступало недостаточно.

— А вы выберите отдельные участки, убедите хороших людей, а осенью поощрите их, когда соберут урожай,— посоветовал Петухов.—

Сразу всех не заставите, да всех и невозможно заставить. Покажите образец. Люди боялись летать, их невозможно было бы оторвать от земли, если б не два-три смельчака...

В первый раз за весь вечер он улыбнулся.

— А как у вас с антифрикционными сплавами? — спросил он.

— Какими? — Анна растерялась. — Я не знаю...

— Баббита хватает?

— Какое! Просто даже не знаем, что делать.

— Что ж вы за агроном, если не знаете, как делаются подшипники? — упрекнул ее Петухов. — Агроном должен знать все, с чем сталкивается. Во всяком случае много знать. Баббита мы вам дадим, — добавил он. — Не обидим. Только пашите. Подумайте о свекле. На корм.

— Свекла у нас не растет, — возразила Анна. — Мы лучше картошку.

— Неправда, — сказал Петухов. — Вы попробуйте. Картошка вас не спасет.

Анна удивилась.

— Это вы говорите? Да ваш картофель...

— Отжила петуховская картошка. Петухов вчера был хорош, а сегодня...

— Волков? — нечаянно вырвалось у Анны.

— Нет, — сразу отрезал Петухов. — Вы! Вам сегодня работать. У Волкова всегда все будет хорошо, только без боли не родить...

Он поморщился, точно у него в самом деле что-то внутри заболело, и Анна опять увидела, какой он маленький и несчастный. Он стал удивительно похож на Женечку, какой она была после возвращения Анны с фронта, — такое же узкое сморщенное личико, такая же хилая фигурка, и ей стало так жаль, так жаль Петухова, точно перед нею был ее собственный истерзанный дистрофией ребенок.

Он все морщился, морщился...

— Вам плохо? — спросила Анна.

Петухов отрицательно покачал головой.

— Нет.

Может быть, ему в самом деле не было больно, может быть, просто мысли не давали ему покоя.

— Вы любите деревню?

— Я не задумывалась об этом, — ответила Анна. — Конечно, я люблю свою страну...

— Нет, деревню, — поправил Петухов. — Весну с пробуждающейся травой, лето с его цветами, снежную пелену зимой....

Петухов озадачивал Анну.

— Это вы опять о стихах?

— Вы не понимаете, — возразил он. — Это чисто агрономический вопрос. Весной я считаю, сколько стеблей прорезалось на квадратном метре, летом мне нужны то солнце, то дождь, а зимой я занят снегозадержанием. Это — утилитарный подход. Хотя, впрочем...

Он опять не договорил. В этот вечер он вообще не договаривал. Ему многое не удалось договорить.

— Почему вы стали агрономом?

— Не знаю, — сказала Анна. — Легче всего было поступить в сельскохозяйственный техникум. И, должно быть, все-таки я люблю деревню.

— Землю, землю, — поправил Петухов. — Вы агроном. Вы должны любить землю. Она сторицей отдаст, если ее любить.

Где-то хлопнула дверь, а может быть и не дверь. Что-то стукнуло и смолкло. Было тихо, и снег запорошил окна.

— Когда я умру, — сказал Петухов, — я хочу, чтобы меня обязательно закопали в землю. Я не хотел бы, чтобы меня сожгли. Я биолог,

и меня несколько не пугают ни тлен, ни могильный сумрак, ни черви. Естественный и справедливый процесс. Мы состоим из тех же химических элементов, что и все в природе. Вы прислушивались когда-нибудь, как растет трава? Это и наш голос в ее шелесте. Прислушайтесь...

Петухов смотрел куда-то сквозь Анну, но сама Анна смотрела на Петухова. Ее озарило как молнией: в его глазах было столько задора, что его нельзя было жалеть, он не нуждался в жалости, он продолжал черпать жизнь полной мерой.

И вдруг он опять, в который уже раз, спохватился и виновато посмотрел на свою собеседницу.

— Извините,— сказал он.— Разговорился. Должно быть, жена уже пришла за мной. Слышит, что кто-то есть, и не заходит. Посмотрите, пожалуйста.

Анна выглянула в коридор. Там сидела молодая женщина, кровь с молоком, высокая, полная, статная, с малиновыми губами, с соболиными бровями, настоящая русская красавица.

— Вы — за Иваном Александровичем? Он ждет...

Женщина легко поднялась, кивнула Анне, на минуту скрылась и пошла в кабинет, катя перед собой кресло на колесах, в каких возят паралитиков.

Стоя, она была еще красивее. Анна воображала, что у немощного Петухова и жена должна быть ему под стать, какая-нибудь изможденная, маленькая женщина, которая несет посланный ей судьбою крест. А такая мешок с зерном пудов в пять поднимет — плечом не поведет. Такой жить да жить. Косить да жать, да ребят рожать. Муж для такой только в сказке есть...

А она подвезла к столу кресло и спросила:

— Устал, Ванечка?

— Ничего,— сказал он.— Отдохнем.

Жена Петухова не посмотрела даже на Анну, точно ее не было в комнате, обняла Петухова за плечи и легко, совсем легко, точно она и вправду привыкла таскать мешки с зерном, перенесла Петухова в кресло.

Она помогла Петухову одеться, заботливо подоткнула со всех сторон и плавно покатила перед собой.

— Всего хорошего вам,— сказал на прощанье Петухов.— Пишите, если что. Да и сами себя в обиду не давайте.

— Всего хорошего,— повторила эти слова его жена.— Слаб, слаб а драться до смерти любит...

Она засмеялась, и так с этим смехом они и исчезли в зимней ночи.

VII

На смену промозглой, дождливой осени пришла суровая, снежная, бессолнечная зима. Все утонуло в сугробах. Дома и срубы будущих домов, заборы, кусты, бревна. Сурожь стала рано, ее занесло снегом, темнели только тропинки через реку. Так и жизнь Анны была занесена снегом, лишь тянулись по снегу извилистые темные тропки.

Сурожский район во многом походил на ее родной Завидовский район. Такие же люди, такие же деревеньки, те же поля.

Анна подолгу задерживалась в отделе. Забот по району было много, накапливались они по мелочам, как навоз во дворах, а поднять и вывезти их было не на чем.

Район был беден людьми. Беден район, бедны соседние районы, бедна вся область. Война разметала людей, одних истребила, других разбросала по всей стране, и лишь мало-помалу возвращались они к

родным пепелищам. Надо было заново поднимать к жизни истерзанный неисчислимыми бедствиями край.

Вот они и возились в своем районном отделе, в своем сельском хозяйстве, как муравьи. И Богаткин и Гончарова. Все девушки, все сотрудники и все те, кто ходил и ездил из деревни в деревню, из колхоза в колхоз, собирая уцелевшую технику.

— Технику, технику, ребята! — замирающим голосом обращался ко всем Богаткин. — До последнего винтика, до гаечки...

«Техникой» назывался сельскохозяйственный инвентарь, все машины и орудия, тракторы и косилки, культиваторы и сеялки, даже лопаты и грабли. Искали бросовые машины, собирали заржавленные обломки, из трех-четырех испорченных механизмов составляли один, который с грехом пополам вступал в строй.

Собрать и восстановить технику! Собрать и восстановить технику!..

Об этом ежечасно твердил Богаткин. Об этом говорила Анна. Они вместе накапливали ресурсы, и постепенно машины оживали, готовые выползти на затоптанные поля.

Анна приучилась «бродить» по карте района. Не везде она лично побывала, не все видела, но про себя уже знала все уголья, берегла в памяти все поля и пажити, луга и леса. За все они с Богаткиным были в ответе.

Возвращалась она с работы сердитая, истомленная, голодная. Но домой стремилась всегда. Дома горел огонек, у которого она грелась. Женечка встречала ее щебетом, игрушками, бесконечными детскими просьбами...

Анна не знала, как благодарить Евдокию Тихоновну. Хозяйка частенько сердилась, бывала груба на язык, но для Анны оказалась едва ли не матерью. Видно, от чистого сердца посоветовал Богаткин своей агрономше пойти на квартиру к Ксенофоновым.

Детский сад выручал не всегда. Случалось, на весь день оставляла Анна дочь на Евдокию Тихоновну, и девочка была и накормлена и присмотрена.

Даже Гриша Ксенофонтов, который смерть не любил, как он выражался, незамужних баб, и тот притерпелся к новой жилище. Он долго посматривал на нее искося. Но гостей у нее не бывало, сама только что на работу и домой, нос не задираала...

В отсутствие Анны он даже возил с Женечкой, напилил ей в мастерской кубиков, оставлял для нее сахар, который не часто бывал в ту пору у Ксенофоновых.

Но спать дочку Анна укладывала сама. Она приносила ей то конфетку, то картинку, играла с ней, пока Женечка не начинала клевать носом, умывала, раздевала и садилась баюкать.

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету,
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту...

Очень любил эту песню Толя. Простая и печальная, она будила томительные воспоминания.

От воспоминаний Анна защищалась книгами. Множество книг перечитала она в первые послевоенные зимы. О Прянишникове и Докучаеве говорить нечего, без их помощи трудно было бы думать о севооборотах, но и другие книги, не имеющие отношения к ее работе, помогали ей жить.

Ее окружали герои Толстого и Тургенева, она читала советских писателей и переводные романы, ее внимание надолго привлекли две ее тезки — Анна Каренина и Аннета Ривьер, интересовалась она исто-

рией — от греческих мифов до антифашистских памфлетов, читала все, что попадалось под руку, мемуары, жизнеописания, очерки...

Раньше она не представляла, что книги могут так заполнять жизнь. Но она была слишком привязана к жизни, чтобы очутиться у них в плену. Судьба сурожских колхозов волновала ее больше, чем любые призрачные образы.

Лишь один призрак владел ее сердцем. Она не хотела освободиться от его власти.

Далеко за полночь гасила она свет, сон смежал веки, хотелось только заснуть, заснуть...

Гасила свет, ложилась в постель, закутывалась в одеяло, и вдруг сон убегал прочь. Посвистывал в трубе ветер. За окном кто-то стоял и смотрел на нее. Окно было запорошено снегом, на стекле серебрился иней, но она чувствовала — кто-то стоит и смотрит, смотрит...

Она очень хорошо знала, кто смотрит. Вспоминала все, что пережила с ним. Цветы и поцелуи. Первую встречу. Последнюю встречу. Последние его слова. Ни он ее не забыл, ни она его не забудет. Она знала, что никого за окном нет. Но в душе — что такое душа? — в душе он всегда, неистребимо и вечно. Серебрится на стекле иней. Посвистывает за окном ветер. Ночь обволакивает землю, и населяем мы эту непроглядную зимнюю морозную ночь только теми, кого сами помним, зовем и хотим.

VIII

Вот смотришь-смотришь на что-нибудь, смотришь изо дня в день и не видишь, и вдруг бросится это в глаза, и удивишься — почему то, что вчера не замечалось, привлекло сегодня внимание?

Так и с Анной. Забежала утром к хозяйке за солью и увидела на стене календарь, обыкновенный настенный календарь.

— Ох, тетя Дуся, вы совсем отстали от жизни! Май! Май уже на дворе, а у вас январь с места не стронулся!

Ни один листок на календаре не сорван.

— А куда торопиться? — насмешливо возразила тетя Дуся. — У меня все дни одинаковы.

— А для чего календарь?

— Численник? Для чтения. Вся моя библиотека. Задумаешься о чем — подойдешь да почитаешь.

Анна подошла к «библиотеке», отогнула листки до мая.

— Сорвать?

— Сохрани тебя господи! — воскликнула тетя Дуся. — А что читать мне?

Анна взгляделась.

— Погодите, погодите, тетя Дуся! Да ведь он за прошлый год! Ведь у нас сорок седьмой...

Тетя Дуся иронически поглядела на жилицу.

— Ну а много что изменилось у нас с тобой за год? Женька в детский сад пошла, да Гришка начал усы брить, всего и делов.

Тетя Дуся была права. Анна взяла соль и ушла. Немного «делов» прибавилось за год. Время замерло, как и численник на стене.

Анна поехала как-то зимой в «Авангард», в самый отдаленный колхоз, туда всегда приходилось ехать с ночевкой. Инструктор райкома Сухожилов поехал с Анной. У него тоже нашлись дела. Сухожилов достал легковушку, а без него пришлось бы добираться на чем бог послал. Днем в колхозе они почти не виделись, а ночевать их поместили у одной вдовы. Хозяйка постелила Анне в горнице, Сухожилов устроился на лавке у печи. Ночью он пришел к Анне.

— Анна Андреевна, до чего вы мне нравитесь...

— А дальше что? — спросила она.

— А вам что, жалко, что ли? — нахально сказал Сухожилов. — Все равно вы одна...

Анна повернулась к нему спиной. Он привалился к ней, забросил на нее руку. Анна с силой ухватила руку, принялась молча ее выкручивать.

— Да вы что? — охнул Сухожилов. — Пустите! Я крикну сейчас...

— Ну и кричите, — сказала Анна, не отпуская руки.

— Анна Андреевна, — взмолился Сухожилов. — Честное слово, простите...

Он ушел, бормоча что-то сквозь зубы. Утром уехал ни свет ни заря, пока Анна еще спала. После этого он перестал заходить к Богаткину, в случае чего — вызывал в райком.

Анна тогда задумалась — почему он позволил себе пристать? Она действительно была одна, ни девка, ни мужняя жена. Ей казалось, что и на Женю кое-кто поглядывает искоса. Даже в детском саду. Безотцовщина! Не будешь объяснять каждому — что, да как, да почему. Жене тоже не доставало отца.

Девочка спрашивала иногда:

— А где мой папа?

И Анна не могла, не решалась, не повернулся язык сказать, что папы нет и не будет, не в силах была она похоронить Толю, для нее он всегда был и будет жив.

— Папа наш в армии, — говорила она. — Отслужится и приедет.

Но листать численник и вправду не было смысла. Какая-то монотонность установилась в ее жизни. Казалось, такая жизнь будет длиться до скончания века. Иногда хотелось уйти из отдела, покинуть Богаткина, проститься с Ксенофонтовыми, перебраться куда-нибудь в деревню, поближе к земле. Она начинала вдруг скучать по земле.

Вспоминала свой разговор с Петуховым. Он говорил, что надо любить землю. У него самого не было выхода, он делал больше, чем мог. Но ее он определенно толкал...

Куда? Не хотелось ей больше оставаться в отделе. Но куда пойти?..

До сих пор она была еще вся в себе. Даже смерть Петухова не очень приняла к сердцу. Бумажки из Пронска стали вдруг приходить подписанные все Волковым да Волковым. «Начальник облсельхозуправления Г. Волков». Анна привыкла, что бумаги вместо Петухова часто подписывал Волков. Но тут непрерывно: Волков да Волков. Она как-то сказала: — Что это все Волков подписывает? Уж не заболел ли Петухов?.. — Богаткин удивился. — А вы разве не слышали? Петухова уж с месяц как похоронили. В газете было объявление... — Анна взяла подшивку, нашла объявление. «С прискорбием извещают...» Значит, все. Отходился агроном Петухов по земле. Подорвался на mine. Нет Петухова. «С прискорбием...» Не так уж много времени прошло с того вечера, когда он говорил с Анной. Анне вспомнилась его жена. Как-то она сейчас? Небось выйдет замуж...

У нее появилось странное чувство, точно она в долгу перед Петуховым. Ушел, а она не успела что-то сказать, что-то спросить. Ведь он от нее чего-то ждал. А она не успела...

Ощущение неосознанной тревоги все чаще наполняло ее душу.

Однажды она набралась смелости, спросила Богаткина:

— Вы довольны своей работой?

— В общем да, — сказал он.

— А чего вы хотите достичь? — спросила она.

Богаткин не понял.

— То есть как чего достичь?

— Ну, к чему вы стремитесь?

- Как вам сказать? Чтобы все было хорошо в районе.
- Ну, а себе, себе? — домогалась Анна. — Себе вы чего хотите?
- А у меня все есть. Семья, работа. Лично я всем удовлетворен.
- Ну и плохо, — категорично сказала Анна.
- Что плохо?
- Все. Плохо, когда человек доволен жизнью.

— Это уж глупости, — даже рассердился кроткий Богаткин. — Человек должен быть скромн. Надо ограничивать себя, иначе из тебя выйдет хапуга.

Анна вся напряглась. Она не могла выразить Богаткину свое несогласие, но и не могла с ним согласиться. Если бы у нее были крылья, она забила бы сейчас ими по воздуху.

— Человек должен быть безграничен, — сказала она...

Так они и не поняли друг друга.

IX

Девушки из отдела любили собираться компанией, «устраивать вечеринки». Главной заводилой таких вечеринок была Зина, у нее обычно и собирались. Купят сыра, колбасы, консервов, печенья — вклад женской половины общества, напитки приходились на долю мужчин, — разложат по тарелкам, поставят в углу на тумбочку патефон, чтоб не сбить во время танцев, и — милости просим...

Зина была главной заводилой, но ей не приходилось тащить других за руку — кому не хочется весело провести вечер? Только Анну пришлось уговаривать.

— Да что вы, девочки, что мне там делать? Только настроение другим портить...

— Анна Андреевна! Анечка! Посидим, потанцуем. Есть одна пластиночка...

— Какой из меня танцор? Я уже старуха...

— Старуха! В двадцать пять лет? А нам по сколько?..

Девушки уговорили Анну. Она бы еще подумала, но Бахрушин тоже присил ее прийти.

— Не отказывайтесь, Анна Андреевна, проведем время...

С некоторого времени Анне казалось, что Бахрушин обратил на нее внимание. Он догнал ее как-то, когда она вышла пройтись за городом, наломал черемухи, пригласил в кино. Потом они не раз бывали в кино вместе. Бахрушин не заходил за нею домой — в Суроже легко могли возникнуть пересуды, — они встречались у входа в кинотеатр. Бахрушин был немногословен, сдержан, может, и хотел что сказать, но не говорил, больше молчал, это и нравилось в нем Анне. Невозможно же было сидеть все вечера дома, все одной да одной.

— Сегодня обязательно, обязательно, Анечка, — сказала в обед Зина.

Рая по секрету шепнула, что сегодня у Зинки именины.

Возвращаясь с работы, Анна зашла в универмаг, купила крепдешиновую голубую косынку с синей каймой и непонятными розовыми цветами, а заодно носки Женечке — детские носочки не часто бывали в сурожских магазинах.

Под вечер августовское солнце заливало палисадник апельсиновым светом, багряные георгины казались черными, патефон за окном пел песню о пилотах, которые обращают внимание на девушек только тогда, когда им, скажем прямо, нечего делать...

Компания была в сборе. Анна отдала косынку. Сели за стол.

Бахрушин рядом с Анной. Преднамеренно никто не рассаживался,

но Бахрушин в последнее время всегда оказывался рядом с Анной. Впрочем, это было естественно. Анна по должности, а Бахрушин по возрасту были старше всех, им полагалось быть вместе.

— За именинницу!

— Тебя разве крестили?

— Ни в жисть!

— Так какие ж это именины?

— Двадцать два!

— Так это день рождения!

Преподаватель физкультуры из школы пытался пригласить Анну танцевать, но Бахрушин не пустил ее.

— Анна Андреевна со мной пойдет танцевать...

Не пустил Анну и сам не пошел. Анна все же не удержалась, пошла-таки с механиком из МТС, с Колей Губановым. Вел он ее несмело, точно боялся наступить на ноги, и все-таки двигаться под музыку было приятно. Не думать, просто двигаться...

Она вернулась на свое место. Бахрушин сидел насупленный. Налил ей и себе по рюмке водки.

— Давайте, Анна Андреевна?

— Я не пью.

— А из уважения ко мне?

Анна выпила, чтоб не обижался Бахрушин, и опять пошла танцевать с Губановым.

Бахрушин совсем помрачнел. Ей не захотелось к нему возвращаться.

— Я пойду,— внезапно сказала она.

Ей вправду захотелось уйти. Единственный здесь серьезный человек на нее сердится, а сидеть с ним и молчать тоже как-то не того...

— Погодите, рано еще,— заверещали наперебой Зина и Рая.

Анна решительно пошла к двери.

— Хозяйка уже спит, дочка одна, поздно.

— Рано! — крикнула Зина.

— Нет, нет, поздно,— возразила Анна уже на пороге.— Где уж мне гулять...

От водки кружилась голова, во всем теле чувствовалась слабость, хотелось спать — не столько даже спать, сколько лечь, и еще больше хотелось выйти на улицу, вдохнуть воздуха, которого так недоставало в тесной прокуренной комнате.

Она шагнула за порог и плотно притворила за собой дверь.

Улица спала. Редкие окна светились, да и те были задернуты занавесками, тусклый свет слабо пробивался наружу. Дома казались выше, чернее, а звезды в небе гораздо ближе, и даже собачье тявканье вдалеке придавало ночи не меньшую поэтичность, чем шелканье соловья.

Не успела Анна постоять с минуту одна, как дверь снова распахнулась. Она даже не поглядела, знала, что это Бахрушин.

— Анна Андреевна,— позвал он.

Он не сразу нашел ее в темноте.

— А вы куда? — спросила Анна.

— Надоело,— коротко объяснил он.— Вот вас провожу.

Анна почему-то была уверена, что Бахрушин выйдет вместе с ней, может быть поэтому она и заторопилась, она даже была удивлена, когда очутилась на улице одна, настолько сильна была в ней уверенность, что она нравится Бахрушину. Он ничего ей не говорил, но и на работе и сейчас вот, на вечеринке, смотрел на нее больше, чем надо. Собственно говоря, на вечеринке он только на нее и смотрел.

Он был общительным человеком, мог и пошутить, и посмеяться. Выпив, легко становился душой общества. А теперь эта душа раскрывалась только для нее... Он точно присох к ней.

— Пойдемте,— просто сказала Анна.— Ночь-то уж больно...

Она не договорила — больно темна, или хороша, или еще что,— она и сама не знала, какая это ночь.

Они двинулись было по дощатому тротуару и тут же сошли на тянущуюся обок тропу, плотно утрамбованную пешеходами. Никто их не обгонял, не попадался навстречу.

— Утомились, Анна Андреевна? — заботливо осведомился вдруг Бахрушин, но она не ответила, и они опять пошли молча.

— Я очень плохо знаю астрономию,— вдруг сказала Анна.— Знаю, конечно, какие-то звезды. Вега, Альдебаран, Большая Медведица. Но что к чему — совершенно не знаю.

На этот раз не ответил Бахрушин.

Они прошли еще какое-то время молча.

— Да, мы много чего не знаем,— согласился Бахрушин и неожиданно спросил: — Почему бы вам не сменить квартиру, ведь у вас небось тесно?

Он был прав, комната у Анны плохая, тесная, все время она на виду у соседей, но ей как-то в голову не приходило, что квартиру можно сменить.

— Да я уж привыкла,— виновато сказала Анна.

Бахрушин вдруг взял ее за руку и тотчас отпустил, и это понравилось Анне.

Не разбалованный, не умеет ухаживать,— подумала она.

— Пойдем к реке,— предложила она.— Настроение какое-то такое...

— Поздно,— неуверенно возразил Бахрушин.

Толю не пришлось бы уговаривать,— подумала она,— он бы сам отвел ее к реке, и ей понравилось, что Бахрушин не похож на Толю, если ей кто и нужен, то уж никак не такой отчаянный и нетерпеливый, как Толя...

Она не ответила Бахрушину, просто свернула в переулочек и пошла вниз к реке, и было приятно, что Бахрушин тотчас последовал за ней. Она с удовлетворением слышала, как шумно и, может быть, даже рассерженно дышал он за ее спиной.

Медленно текла в темноте Сурожь. Ночной мрак рассеивался у берегов, и было ощутимо, как темная вода стремится куда-то вниз, вдаль, к другим берегам и рекам.

Анна спустилась к самой Сурожу, вода вкрадчиво шелестела, омывая влажную землю, бессильная расплескаться, разлиться, затопить побережье... Всему своя мера, свое русло.

Было одиноко и даже страшно здесь ночью, на берегу у реки. Анна оглянулась. Бахрушин стоял рядом. Он стоял рядом и ждал. Анна не знала, чего он ждет, но очень отчетливо чувствовала, что чего-то он ждет, хотя, может быть, и не отдает себе в этом отчета.

Анна еще раз оглянулась.

— Что-то я ничего не пойму,— прошептала она, обращаясь больше к самой себе.

Но Бахрушин услышал.

— Чего не поймете? — быстро спросил он.

— Ничего не пойму,— негромко сказала Анна, глядя на бегущую воду.

Все было неясно сейчас на реке. Неясно, неверно, обманчиво.

Анна огошла от берега. Села. Провела возле себя по траве рукой.

— Роса...

Бахрушин скинул пиджак, бросил на землю.

— Так удобнее, Анна Андреевна...

Анна села на пиджак, так было сухо, тепло. Бахрушин тоже сел рядом. Стало еще теплее.

Бахрушин сидел очень осторожно, его плечо только слегка касалось плеча Анны.

— Вы любите...

Анна спросила было и замолчала. Ей хотелось знать, что любит Бахрушин, но она не знала, что он может любить.

Бахрушин заглянул ей в лицо.

— Чего любите? — с готовностью переспросил он.

— Я не знаю что, — сказала Анна. — Сидеть вот так на берегу. Думать, плыть, пить, петь.

Бахрушин усмехнулся.

— Ну, пить все пьют...

— Не знаю что, — сказала Анна. — Но что-то надо любить.

Она замолчала. Ей хотелось бы сейчас плыть, плыть. Уплыть...

Бахрушин осторожно притронулся к ней рукой, положил ладонь на колено. Ладонь была горячая. Сразу стало смутно и томно.

Анна не отстранилась. Она могла бы еще встать, но было даже приятно, что так кружится голова. Бахрушин осмелел, и она не противилась. Все плыло вокруг, ни о чем не хотелось думать...

Первая любовь обрушилась на нее внезапно. За минуту она еще не думала о ней.

Анна только что кончила техникум. Сданы были зачеты, получены отметки, осталась практика.

Выпускники проходили практику в пригородном совхозе. Кое-кто переселился в совхоз, но большинство продолжало жить в городе. С утра ехали в пригородном поезде, добирались в совхоз на попутных машинах, а вечером возвращались обратно. В то лето почему-то никогда не хотелось спать. Пахали, сеяли, учились делать квадраты. Все с шуточками, с песнями, со смешком. Ужинали в столовой совхоза и возвращались вечером в город. Разбегались по домам, переодеться, принарядиться, и шли на Советскую, а потом на набережную или в городской сад. Сперва девчонки шли вместе, стайкой, ребята двигались сзади. Потом вместе сидели над рекой, на скамейках и прямо на земле, пели песни, потом всей компанией шли есть мороженое, потом опять в городской сад. Парочки отпочковывались, пропадали вдруг в темноте. Пели, молчали, никак не могли разойтись...

Однажды после работы Анна шла с подружками в городской сад. С Таней Грушко и Машей Гончаровой. И вдруг появился он...

Совсем не такой, как все. Какой-то удивительный! Загорелый, ласковый, добрый. Она сразу поняла, что он добрый. В морской форме, с крылышками в петлицах. Лейтенант. Нет, старший лейтенант. Ей показалось, что он намного старше ее. На самом деле он был старше ее на пять лет. Невысокий, а стройный...

— Толя! — вскрикнула Маша.

— А я и вышел, чтобы встретить тебя, — сказал лейтенант.

Маша познакомила его с подружками.

— Мой двоюродный брат. Приехал в отпуск. Летчик. Из Севастополя.

— Гончаров, — назвалса он.

Вместе с девушками он пошел в городской сад. На следующий день опять встретился с ними. В руке у него были ландыши. Шесть букетиков, каждой по два.

Анна не помнит, как они отстали от компании. Она понимала одно: пришло счастье. Ему невозможно сопротивляться. Да и не нужно.

Мальчишки в техникуме иногда целовали ее, и она отвечала им. Беглые, ничего не значащие детские поцелуи. Толя поцеловал ее тоже очень нежно, очень осторожно, а ее сразу пронизало ощущение, что он может делать с ней все, что захочет.

Она ехала утром на практику, а в голове было: Толя, Толя, Толя...
— Какие у тебя гнезда? — говорил агроном Золотов, ее преподаватель.

— Какие гнезда? — спрашивала Анна.

— Разве так сажают кукурузу? — говорил Золотов. — Сколько ты кладешь в лунку зерен?

— Какую кукурузу? — спрашивала Анна...

Толя ждал ее у въезда в город.

Она выпрыгивала из кузова и попадала ему прямо в руки. Неумытая, в пыли, в ситцевом сарафане, с открытыми загорелыми плечами...

Он обнимал ее, и они уходили. Им уже ни до кого не было дела.

Через две недели они зарегистрировались, и он сразу увез ее в Севастополь. Мальчишки в Пронске торговали сиренью. Толя, кажется, скупил всю сирень. Он завалил сиренью все купе. У него оставалось мало денег, но он не мог везти Аню в жестком вагоне. Какой-то тип, сосед по купе, запротестовал. «Мы задохнемся, у всех разболится голова!» Толя не стал спорить. Он ушел и купил еще два билета. Всю дорогу они ехали вдвоем в четырехместном купе. Он был совсем сумасшедший и щедрый. Он всегда был щедрый. С Анной. С товарищами. С незнакомыми людьми...

Толя увез ее в начале лета, и не прошло года, как Анна родила девочку. В апреле. Назвали они ее Женей. Толе нравилось это имя.

В июне началась война. Немцы принялись бомбить Севастополь. Население города срочно эвакуировалось. Старшему лейтенанту Гончарову разрешили самому вывезти на самолете свою семью и семью еще одного товарища. На Кавказское побережье. В самом начале боевых действий он на целые сутки был отпущен для устройства личных дел.

Он долетел до Туапсе, сел с женой и дочерью в поезд, довез их до Белореченской.

В станции Белореченской жила его тетка, у нее был дом, сад, хозяйство. Думалось, сюда не доберется война.

Анна пошла проводить мужа до станции.

Поезда шли на юг уже без расписания, везли солдат, оружие, технику.

— Ну, Аннушка...

Они постояли у водонапорной башни. Анна упала бы, не будь рядом Толи. Вот и вокзал. Толя зашел к дежурному по станции.

— Садитесь, товарищ офицер, на любой пассажирский поезд.

Вышли на перрон. Подошел поезд. Толя обнял жену.

— Умирать буду, Аннушка, тебя назову...

— Нет, нет!..

Что она могла еще сказать?

Поезд отходил. Толя взялся за поручень, подтянулся. Встал на ступеньку и поплыл. Мимо всего того, что оставлял в Белореченской. Все дальше и дальше.

Анна посмотрела вслед поезду.

— Толечка, Толечка...

Вот и нет его. И никогда не будет. Больше она никогда его не увидит. Не получит от него ни письма, ни привета, и только через два года найдет-ее запоздалая похоронная.

Х

Они вышли в обеденный перерыв — Анна и Бахрушин. На их уход обратили внимание, вместе они никогда не уходили из отдела.

— Куда это вы? — удивилась Машенька, помощница Алексея.

— В загс, — серьезно сказал он.

— Вы скажете...— Машенька не поверила.— Нет, правда?

— Правда,— подтвердила Анна.

Машенька обиделась.

— Как хотите! Можете не говорить. Я бы тоже с вами пошла...

До загса было рукой подать.

Заведующая загсом осведомилась:

— Какую фамилию выбираете? Бахрушины?

Дав согласие выйти за Бахрушина, Анна решила переменить фамилию. Она и по пути в загс думала, что переменит фамилию. Но сейчас не могла. Не могла изменить Толе. Переменить фамилию это все равно, что отказаться от Толи.

— Нет, останусь Гончаровой.

— Для чего? — возразил Алексей.— Для чего это тебе?

Анна упрямо наклонила голову.

— Так лучше...

На то, чтобы расписаться, ушло пять минут. Заведующая поздравила их: «Поздравляю». Вот они и стали муж и жена. На всю жизнь. Неужели на всю жизнь?

За дверью Алексей сразу спросил:

— Для чего ты оставила старую фамилию?

— Так удобнее,— объяснила Анна.— Работаем вместе, незачем привлекать внимание.

В этом был резон. Алексей подозрительно взглянул на жену и ничего не сказал. Может быть, она и права. Все равно изменить уже ничего нельзя.

До замужества ни Анна не бывала у Бахрушина, ни он у нее. Виделись на службе, встречались на вечеринках, ходили вместе гулять или в кино, но дома друг у друга не бывали. Зайди в таком городке, как Сурож, в дом к неженатому мужчине, сразу поженят.

Они вместе пошли с работы, все девушки из отдела с любопытством смотрели им вслед.

Анна погладила Алексея по руке. На шесть лет он старше ее. Молодой, высокий, красивый. Да, красивый. Лицо немного насуплено, но красивое. Прямой нос, черные брови, серые внимательные глаза... Нет, это поддержка, поддержка!

— Теперь ко мне зайдем? — спросила Анна.

— Зайдем,— согласился Алексей.

— Я познакомлю тебя с Женечкой,— с тревогой сказала Анна.— Как-то вы с ней поладите...

— А почему не поладим? — даже обиделся Алексей.— Неужто не найду к ней подхода?

— А как тебя представить? Что сказать?

— А чего раздумывать? Отец... Отец вернулся с войны. Так и скажи! Анна вздохнула. Алексей был и прав и неправ...

— А ты не пожалеешь?

— Да я ж тебя люблю!

— Ну смотри, Алеша. Только не подведи...

— Все будет как по нотам,— успокоил ее Алексей.— Да и что она понимает!

— Ну что ты,— возразила Анна.— Она уже большая.

Они подошли к дому Ксенофонтовых.

— Ты и с тетей Дусей поласковой,— попросила Анна.— Она, случается, скажет что, но она душевная.

— А что нам тетя Дуся? — Алексей пожал плечами.— Отсюда все равно уезжать.

Вошли в дом, хозяйки не было. Женечка сидела на постланной через комнату дорожке, сотканной из цветных шнуров, играла с куклой.

Увидев мать, оторвалась от игры, побежала навстречу.

— Как ты рано, доченька? — удивилась Анна. — А я хотела идти за тобой.

— Меня тетя Дуся привела...

Девочка увидела Алексея, замолчала, вопросительно взглянула на мать.

— А кого я к тебе привела! — воскликнула Анна нарочито радостным голосом... Она и смущалась и робела почему-то перед дочерью, хотя Женечке шел всего шестой год.

Девочка перевела взгляд на Алексея.

— Это папа твой... Папка!..

У Анны перехватило дыхание, комок непрошенных слез подкатил к горлу, она проглотила его, схватила дочку в объятия.

— Это наш папа, — повторила она, принуждая себя говорить спокойнее, разумнее. — Вот он и вернулся с войны. Помнишь, я тебе говорила? Вот, вернулся...

Анна посмотрела на Алексея. Он тоже был смущен и растерян, она это видела. Высокий и сильный, он стоял с опущенными руками, не догадываясь, куда их деть.

— Бери же, бери...

Анна протянула ему Женечку.

Он осторожно взял ее на руки. Женечка с любопытством смотрела на Алексея.

— Господи, какие вы смешные! — произнесла Анна. — Да поцелуйтесь же!

Алексей осторожно поцеловал девочку в щеку, помедлил и поцеловал еще раз, и Женечка вдруг потянулась к нему и звонко чмокнула его в губы.

— Ну вот и все в порядке, — облегченно засмеялась Анна. — Все в порядке, все хорошо, все хорошо, — повторила она несколько раз. — Вот мы и вместе, вместе...

Она услышала за перегородкой шаги.

— Тетя Дуся! Тетя Дуся! — позвала она хозяйку. — Идите сюда!

Тетя Дуся вошла, остановилась у порога, недоверчиво взглянула на Алексея.

— Вот я и нашла Жене отца, — возбужденно сказала Анна.

— Понимаю, — протяжно произнесла тетя Дуся. — Ну что ж, совет да любовь...

Она замолчала, но в ее молчании таилось много вопросов.

— Нет, Евдокия Тихоновна, все будет хорошо, — твердо сказала Анна. — Вот увидите.

— Дай-то бог, — ответила хозяйка. — Вы женщина хорошая.

— И он хороший, — сказала Анна, указывая на Алексея.

— Ну, в этом мы уж с тобой сами разберемся, — сухо выговорил тот, по-видимому досадуя, зачем Анна берет в судьи какую-то тетю Дусю.

— Да нет, я ничего, — примирительно отозвалась тетя Дуся. — Вас не хают.

— А вы разве знаете меня? — настороженно осведомился Алексей.

— В таком городе, как наш, каждый каждого знает, — ответила тетя Дуся. — Вы же с Аней в одном заведении служите.

Она приняла Женю из рук Алексея.

— Поди ко мне, моя звезденька...

— Садитесь же, — сказала Анна, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Аня теперь уедет от вас, — сказал Алексей.

— Я понимаю, — согласилась тетя Дуся. — У нас тесно.

— Да и вообще,— сказал Алексей.— Она работает, а у меня мать. Есть кому присмотреть за ребенком.

— Отмечать-то будете? — полюбопытствовала тетя Дуся.— Такое событие.

— А мы сегодня и отметим,— спохватился Алексей.— Я сбегаю, Аня. Хозяйка твоя права, надо же выпить на прощанье.

Он тут же ушел и вскоре вернулся с конфетами для Женечки, с колбасой, с сыром, с бутылкой вина и бутылкой водки.

— Не обессудьте, сами напросились,— пригласил он тетю Дусю.— Поужинаем, так сказать, в ознаменование.

Они сидели за столом, когда вернулся Гриша. Его тоже пригласили. Сначала он отнекивался, потом сел.

— Я не пью,— сказал он.

— Мы тебе десертного,— примирительно сказал Алексей.

— Уезжают от нас,— сказала мать Грише.

— Ну и правильно,— сказал Гриша.— Хорошо, что мне мало лет, а то давно бы сплетни пошли.

— Ты скажешь! — сказала мать.

— Я смотрю в суть вещей,— сказал Гриша.

Пили все. Тетя Дуся раскраснелась, всплакнула было, потом принялась петь. Пил Алексей помногу и часто, но не пьянел, только бледнел и неотрывно смотрел на жену. Словно хотел заслонить ее от всего мира. Даже Гриша после двух рюмок раздобрился, принес гитару, принялся аккомпанировать матери. Не пила одна Анна, держала Женечку на коленях, разговаривала, а где-то внутри себя все думала, думала, а о чем — не очень хорошо понимала.

— Вам весело? — спросил вдруг Гриша Алексея.

— Весело,— искренне сказал тот.— А что?

— Ничего,— сказал Гриша.— В таком случае я ошибся.

— Ты много еще будешь ошибаться,— сказал Алексей.— А я не ошибаюсь.

Домой он не пошел, остался ночевать у Анны.

XI

В воскресенье Алексей повел Анну знакомиться с матерью. Он жил на другом берегу Сурожи, идти надо было через мост. Улица, на которой он жил, была тихая, сонная, огороды тянулись от домов до самой реки. Алексей жил в маленьком флигельке — комната и кухня, — но все ж таки в отдельной квартире.

Над крышей на шесте, точно вышка часового, торчал островерхий скворечник.

— Все лето живут,— сказал Алексей.— Хотел поймать, приручить, да не собрался...

В сенях было темно, стояли какие-то кадушки, пахло сырым деревом, кислой капустой, погребом.

— Хорошо, что женился,— пошутил Алексей.— Мать капусты наквасила, двоим за зиму не съесть.

— Мать-то знает? — спросила Анна.

— Два дня ждет,— беспечно проговорил Алексей.— Еще бы!

Дверь сама распахнулась навстречу. Пахнуло теплом, жарко натопленной печью, чем-то съедобным, домовитым. У печки стояла женщина, немолодая, но и не так чтобы сильно старая, крупная, в черном платье, ростом почти с сына, только поплоней и не такая красивая, как Алексей.

— Вот и мать,— сказал Алексей.— А это Аня. Знакомьтесь.

Анна подошла к свекрови. Она не знала, как себя вести, как здоро-

ваться. Не знала, надо ли целоваться. Но свекровь сама сделала два шага вперед,хватила рукой подол, обтерла губы и прикоснулась к Анне губами, сперва к одной щеке, потом к другой.

— Значит, так...— сказала свекровь.— Ну что ж, заходи... Заходите,— поправилась она.— Говорил он мне...

В кухне было ни грязно, ни чисто, было, как в обычной кухне, только за печкой стояла просторная кровать с целой горой подушек в цветных наволочках.

— Проходи,— пригласил Алексей жену, и они втроем прошли в комнату.

Кровать Алексея была поскромней, чем у матери. Разросшийся фикус с большими, точно вырезанными из жести листьями, пяток венских стульев да этажерка с коробками из-под папиросных гильз, с бритвенными принадлежностями и десятком-другим книг составляли всю обстановку комнаты.

Анна кивнула ему.

— Значит, здесь...

Еще раз оглядела она новое жилище. Стены были оклеены выцветшими обоями. Желтые цветы по серому полю. Над кроватью, под стеклом, окаймленным черным багетом, висело десятка два фотографий, наклеенных на один картон.

Анна подошла ближе.

— Все я,— сказал Алексей.— Можно сказать, вся моя жизнь.

Он пальцем стал указывать на каждую из фотографий.

— Вот папа с мамой, сестра стоит, а я на руках у мамы. Они у меня из колхозников.

— А ты?

— Я— государственный служащий. Это— я в школе, пионерский отряд. Это по окончании десятилетки. Это отец в гробу. Это я в армии. Это на курсах бухгалтеров, а это уже бухгалтером в райпотребсоюзе. Там лучше было, чем сейчас у нас. Весь товар шел через наши руки. Ну, а это уж в начале войны, на курсах комсостава. Это после производства в младшие лейтенанты, а это на фронте, после награждения Красной Звездой. Это я уже капитан, снят под Дрезденом. А это здесь, в Суроже, после демобилизации...

Действительно, вся жизнь,— подумала Анна.— Самая обыкновенная, и... И, собственно, никакая. Все сказал, и ничего не сказал. Как жил, чем жил, чем дышал... Ничего! Вот он— весь перед нею, а поди разберись в нем...

— Тепер ь снимемся с тобой,— сказал Алексей.— Эту мы повесим отдельно.

Анна вдруг подумала, что карточку Толи она уже не сможет повесить, придется спрятать.

— Успеем еще сняться,— сказала Анна.— Лишь бы не ссориться.

— А зачем ссориться?— весело возразил Алексей.— Нам делить с тобой нечего.

Анна согласно улыбнулась.

— Что ж, будем устраиваться.

— Вещей-то много?— осведомилась свекровь.

Анна не поняла.

— Имущества,— пояснила свекровь.— Перевозиться когда будете?

— Какое там перевозиться,— ответил Алексей.— Переноситься. Ты посиди, Аня, побеседуй с мамой. Пойду схожу в райпотреб, на конный двор, попробую раздобыть подводу.

Анна еще утром уложила вещи— было их не так уж много, несколько узлов, два чемодана, кровать, стол да шкаф, купленные ею вскоре после приезда в Сурож.

Она осталась наедине со свекровью.

Значит, здесь,— подумала Анна,— здесь мне теперь жить. Правильно ли я поступила? Алексей человек серьезный, положительный, по всему видно, но вот свекровь... Какой-то окажется она?

— Вас Надеждой Никоновной звать? — спросила Анна.

— Какая я тебе Никоновна? — возразила свекровь.— Раз мать, так уж матерью и зови.

Это были обещающие слова — не так нуждалась в матери Анна, как Женя нуждалась в бабушке.

— Ведь у меня дочка, знаете? — спросила Анна.

* — Знаю,— сказала свекровь.— Говорил. В детский сад много платишь?

— Восемьдесят.

— Вот еще,— сказала свекровь.— Лучше лишнее платышко купить.

— Там будет видно.

— А чего видеть? Ребенку дома спокойнее, и деньги целее.

Может, она и вправду будет Жене бабушкой,— подумала Анна.— Еще не старая, здоровая, бодрая. Скучно же, наверно, сидеть одной...

Сидеть и ждать Алексея тоже было скучно, Анне казалось, что свекровь знает о ней все и только поэтому не задает вопросов. Но та все-таки не выдержала.

— Алексей-то сколько получает у вас? — спросила она.

— Восемьсот. Или около. Не знаю точно.

— Восемьсот...— Свекровь поджала губы.— Не говорит мне, хоронится...— Она что-то считала в уме.— А сама сколько?

— Тысячу сто.

Свекровь обтерла ладонью рот.

— Да, сдвинулось все. Чтоб баба больше мужика?! Конечно...

Она с уважением посмотрела на Анну.

— Агроном?

— Агроном.

— Не зря училась.

Свекровь замолчала, замолчала надолго, все что-то соображала про себя. Занимать невестку не видела, кажется, надобности.

Алексей появился часа через два. За окном загромыхла повозка, хлопнула дверь, он вошел с узлами.

— Принимайте!

Анна встрепенулась, сразу стало легче, как только появился Алексей. По крайней мере не нужно было гадать, о чем раздумывает свекровь.

— А Женечка?

— Не дала твоя хозяйка,— весело объявил Алексей.— Сказала, сама принесет.

Анна поднялась.

— Сиди, сиди,— сказал он жене.— Управлюсь.

Он втащил чемоданы, кровать, стол.

Анна помогла ему сгрузить шкаф.

— На спину, на спину! — крикнул он.— Наваливай!

Она удивилась, с какой легкостью понес он в дом платяной шкаф. Даже чудно стало, что такой сильный человек сидит целыми днями в канцелярии, перебрасывая на счетах костяшки.

Сразу стало спокойно на душе. С таким не пропадешь. Он как-то удивительно легко и быстро внес вещи, ненадолго скрылся, пошел отвести лошадь, вернулся все такой же веселый и оживленный, помог все расставить, шутил, был внимателен, ласков, даже брови перестал хмурить.

Мимоходом подмигнул матери.

— На ужин-то припасла? Как-никак свадьба!

Мать вздохнула, решительно пошла в кухню.

— Аня, Алексей. Берите...— Показала на свою кровать.— Берите,— повторила она.— Куды мне этот станок? Я свое отыграла. Бери, бери...

Она настояла, чтобы взяли ее кровать, себе за печку поставила узкую койку сына.

Анна еще разбирала вещи, когда тетя Дуся принесла Женечку.

— Вот и от меня подарок,— сказала она, передавая девочку Анне.— С новосельем.

Она оглядела комнату, одобрительно кивнула.

— Здесь будет сподручнее...

Она все время обращалась к одной Анне, точно ее одну и видела, взгляд ее скользил куда-то мимо Бахрушиных.

— Заходи, однако, не забывай,— обратилась она опять к Анне.

— Ну что вы, тетя Дуся...— Анна пригласила ее:— Ужинать!

— Благодарствуйте,— отказалась тетя Дуся.— Гришка ждет, заест он меня...

Она так и не осталась ужинать, расцеловала Женечку и ушла.

Вот он— первый ужин в новом доме, в новой семье!

Алексей ухаживал за молодой женой, подвигал к ней тарелки, накладывал еду. Он даже за матерью ухаживал, та с любопытством посматривала на сына.

— Вижу, вижу,— сказала она не без одобрения.— Прибился, значит, к берегу...

Алексей кивнул.

— Прибился, мама.

Свекровь улыбнулась невестке.

— С этим он у меня не торопился.

Анна бросила на мужа любопытный взгляд.

— Почему не торопился?

Свекровь вздохнула.

— Да он самого себя только по праздникам любит, куды ж ему...

— Это вы, мама, бросьте,— перебил ее Алексей.— У нас с Аней серьезные чувства.

— А я ничего не говорю...

Свекровь не спеша убрала со стола.

— Идите уж,— сказала она молодым.— А внучку я к себе возьму. Чтоб не мешала.

— Нет, Женечка будет спать возле нас,— твердо ответила Анна.— Дороже Женечки для меня нет никого.

Надежда Никоновна искоса взглянула на сына, Алексей промолчал, но за столом сразу повеяло холодком.

— Ладно, пойдем,— отрывисто проговорил Алексей, выходя из-за стола.— Успеем еще разобраться, кто дешевле и кто дороже.

Встала и Анна, взяла дочь на руки, шагнула к двери.

— Спокойной ночи,— сказала она свекрови.

— Спи, спи,— пробормотала в ответ свекровь...

В доме Бахрушиных началась новая жизнь.

XII

До чего ж заунывно бывает иная дорога! Тянется, тянется, без конца, без края, без вешки, без следа, да и не нужны ни следы, ни вехи. Бегут две темные колеи, бегут себе да бегут куда-то. Попади в колею колесом и катись по дороге. Заунывно как-то, да ничего, и до тебя так жили, и после тебя будут жить...

Так и потекла жизнь в семействе Бахрушиных. И обижаться нет как

будто причин, и радоваться нечему. С утра на работу, к вечеру домой. В общем хозяйстве с деньгами стало посвободнее, появилась возможность и лишние вещички купить, и лишнюю бутылочку выпить. Кому что!

Зина, глядя со стороны на Бахрушина, не раз говорила Анне:

— Счастливая вы, Анна Андреевна! Такой мужик, как Алексей Ильич, ни на кого больше не поглядит. Приобрел, что надо, и успокоился.

Но сама Анна не была уверена, годится ли ей порядок, установленный в доме Бахрушиных.

Жили вместе, а дышали врозь. Алексей тайлся от матери, мать тайлась от Алексея. Деньги тоже каждый придерживал при себе. Алексей с неохотой давал матери на хозяйство, но давши, не мог добиться от нее при нужде ни копейки.

Такие же отношения пытались они установить с Анной. Но ее щедрость, свобода, с какой она жила, обезоруживали их, она по природе не была мелочной, и, общаясь с ней, трудно было размениваться на мелочи.

Днем Женя оставалась с новой бабушкой. Девочка не жаловалась на нее, стала только менее разговорчивой, притихла. У Ксенофонтовых ее голосок по всему дому звенел, а теперь она чаще говорила шепотом.

Анна не замечала, чтобы свекровь обижала Женю. Та не останавливала девочку, не бранила, но людская черствость связывает ребенка больше, чем любые замечания.

Свекровь не выражала особой любви к неродной внучке — Анна была подходящей женой, с хорошим окладом и без излишних прихотей, ребенок при ней был будто и ни к чему, но с этим приходилось мириться.

Сам Алексей на первых порах оказывал Жене какое-то внимание, но привыкнув, поостыл к падчерице, она ему не мешала, и он просто ее не замечал. Скорее какое-то недовольство собой ощущала с его стороны Анна.

У него оказалось немало привычек, которым он не собирался изменять ради жены. В субботу после бани обязательно выпить пол-литра. В воскресенье встретиться с друзьями, работавшими в райпотребсоюзе. Летом он ехал на рыбалку, а зимой просто шел с ними в столовую. Рыбы не привозил, но всегда возвращался навеселе. Любил разбрасывать по комнате окурки. Ссориться с матерью...

Анна пыталась отучить мужа от этих привычек.

Он отвечал одно:

— Ты не умней меня.

Как-то Алексей пришел пьяней обычного. Анна оттолкнула его от себя.

— Не подходи.

Он замахнулся на нее.

— Тебе дорога от печи до порога!

Утром она сказала:

— Еще раз замахнешься — уйду...

Так прошел год. Целый год. Он тянулся долго, а минул незаметно.

Вскоре после замужества Анна забеременела. Она не сразу призналась мужу. Лишь в июне, когда пошел пятый месяц и уже невозможно было скрывать, она сказала ему.

Алексей как будто обрадовался, стал внимательнее, целый месяц не ездил на рыбалку, во всем уступал жене, строже принялся покрикивать на мать.

— Кого ты хочешь, Алеша? — как-то спросила Анна.

— Парня, — определенно сказал он. — Баб в доме и так хватает.

В декретный отпуск Анна ушла с опозданием, жалела оставить Богаткина одного, осенью в отделе работы хватало.

Стояла середина октября. Наступил вечер. Анна только-только уложила Женю в кровать, как почувствовала, что начинается.

— Алеша! — позвала она мужа. — Беги за подводой.

— Где ее сейчас достанешь? — сказал он. — Давай как-нибудь так...

Пришла из кухни свекровь, помогла собраться.

Женя испуганно смотрела на мать.

Анна подошла к дочери, поцеловала.

— Скоро вернусь. Слушайся бабушку.

Вышла с Алексеем на улицу. Моросил мелкий осенний дождь. Было темно, скользко.

— Погоди...

Он побежал обратно, принес свое кожаное пальто, закутал Анну, повел.

Анна была терпелива, раза два лишь охнула по дороге.

Дошли до больницы.

— Ты не обижайся на меня, — сказал Алексей, прощаясь с женой. — Как узнаю, что все кончилось, что все благополучно, сердись не сердись, напьюсь с радости.

Но напиться ему пришлось с горя: Анна родила девочку.

Дочь назвали Ниной. Девочка была крупной, сильная, горластая. Не успели ее принести в дом, как Надежда Никоновна взялась укачивать внучку. «Ты мой серенький бычок, повернись на бочок, ай-ю-ю, ай-ю-ю...»

— Не надо, — сказала Анна. — Не надо качать.

Перед родами она прочла не одну книжку об уходе за грудными детьми.

— Мы своих не по книжкам растили, а вон какой бугай вырос... — Свекровь кивнула на Алексея.

Она потребовала, чтобы достали люльку. Алексей достал. Анна вынесла люльку в сени. Слова, которые хотелось свекрови высказать в адрес невестки, застыли у нее на губах. Но Анна поняла ее.

— Не будет у нас люльки, — сказала она. Свекровь опять пошевелила губами. — Нет, — повторила Анна.

Алексей считал, что мать и жена спорят попусту.

Переупрямить, однако, свекровь Анна была просто не в силах. Она вышла на работу раньше времени. Богаткин дожидаться не мог ее возвращения. Дети оставались на попечении бабушки. При Анне свекровь не осмеливалась качать Ниночку, но в ее отсутствие не только сама укачивала внучку, но и Женечку заставляла баюкать сестру на руках.

Женя уже училась в школе. Вместе с матерью она выходила утром из дома и возвращалась домой перед тем, как Анна прибегала в перерыв покормить Ниночку.

Ниночка была счастливее Жени, с первых дней появления на свет ей хватало и материнской ласки, и материнского молока. Хватало нянек. Мать. Бабушка. Старшая сестра. Надежда Никоновна любила напоминать о том, что девчонки в деревне в пять лет уже нянчат младших сестер и братьев.

— Завистная ты, Женька, — нет-нет да и слышала Анна, как точит иногда Женю Надежда Никоновна. — Нет чтобы помочь бабке, все норовишь на улицу, даром только хлеб ешь...

Ссора возникла по другому, более серьезному поводу.

Анна прибежала покормить ребенка. Не успела открыть дверь, как к ней бросилась Женя. Обхватила ее ноги, уткнулась лицом в юбку, бормотала что-то невнятное. Анна не сразу разобрала ее слова.

— Уедем... Уедем отсюда. Куда хочешь. К тете Дусе...

Анна наклонилась к Жене.

— Что с тобой, доченька? Что с тобой?

— Он мне не папа, он не папа, — твердила девочка. — Уедем, уедем...

Анна подняла Женю на руки.

— А где бабушка? — спросила она.

Женя всхлипывала и не отвечала.

Свекровь с внучкой на руках вошла в комнату.

— Что тут произошло? — спросила Анна.

— Собака она, а не девка, — зло сказала свекровь. — Боюсь даже говорить. Убьешь ты ее...

— Что она сделала?

— Нинку ошпарила, вот что! — торжественно сказала свекровь. — Убить ее, суку, мало.

— Как ошпарила?

— Очень просто как! Девка запачкалась, я велела ей вымыть девку. А она принесла таз, да и бултыхнула ее в кипяток. Хорошо, я вошла да увидела. Не успела она девку сварить...

Анна опустила Женю, схватила Ниночку. Развернула. Ножки у нее вправду покраснели, особенно правая, та вовсе побагровела.

— Как же так? — спросила Анна, ни к кому в общем не обращаясь. — Как же это...

— Нарочно она это, нарочно! — визгливо прокричала свекровь. — Нарочно хотела сварить девку!

— А как же вы-то недоглядели? — спросила Анна, не обращая внимания на слова свекрови. — Разве ребенок понимает, какая вода?

— Я тебе говорю, нарочно хотела девку сварить! — закричала свекровь. — Тут доглядывай не доглядывай, если человек задумает кого уничтожить, все равно нипочем не углядишь!

— Да вы что? — медленно произнесла Анна. — Вы думаете, что говорите?

— От зависти! — закричала свекровь. — Видит, родная дочь дороже, вот она и решилась...

— Замолчите! — крикнула Анна. — Думайте прежде чем говорить!

— А чего думать? — вскричала свекровь. — Не родная и есть не родная! Отец-то ей не родной, ему на Женю плевать, вот она и возревновала...

— Да замолчите же! — с отчаянием крикнула Анна. — Вам говорят!

Женя стояла у кровати, глядя на мать широко раскрытыми глазами, и столько было в этих глазах ужаса и непонимания, что Анна даже растерялась, не зная — какой из дочерей надо сейчас заняться.

Она села, расстегнула кофточку, обмыла грудь, накормила младшую, — та сразу успокоилась, припав к материнской груди. И опять Анна с тревогой, с волнением, с жалостью посмотрела на Женю.

— Что случилось-то, ты мне скажи, доченька? Не бойся. Мне можно сказать...

Потом Анна уложила Ниночку в кровать, взяла на колени Женю, долго ласкала ее, успокаивала, и из несвязного детского рассказа кое-как поняла, что произошло.

Нина заплакала. Зашла бабушка, велела принести из кухни воды, сменить пеленки и помыть Ниночку. Таз стоял на плите. Женя сняла его, принесла в комнату и хотела мыть. Но вода, должно быть, была слишком горячей. Ниночка закричала. Вбежала бабушка и отняла Ниночку.

Она сказала, что Женя завидует Ниночке, что Ниночку все любят, а Женя ревнует Ниночку и хочет ее смерти. И еще сказала, что папа это вовсе не ее папа, что Ниночке он папа, а Женя...

Тут Женя повторила такое отвратительное слово, что у Анны на секунду остановилось сердце.

— Это правда, что папа мне не родной? — спросила Женя.

— Глупости, — ответила Анна. — Может ли это быть? Если отец, значит родной...

Она не вернулась в этот день на работу, дождалась возвращения мужа и, не дав ему пообедать, рассказала о происшествии.

— Ты что-нибудь говорил матери? — спросила Анна.

— Да ты что? — рассердился Бахрушин. — Много я с ней говорю?

Это была правда.

— Ты отец Женечке или не отец?

Бахрушин ответил не сразу.

— Я ведь брал тебя с дочкой...

Должно быть, в глазах Анны было что-то страшное и решительное, потому что ответил он определенно и ясно, вероятно почувствовал, веди себя по-другому, тут же потеряет жену.

Весь вечер он играл с Женей, занимал ее, рассказывал сказки, пытался даже что-то рисовать. Играл и посматривал исподтишка на жену.

Свекровь весь вечер не показывалась из-за печки, у Анны появилось ощущение, что свекровь боится выйти, и только когда Анна стала укладывать дочь, она поняла, чем вызван был этот страх.

Сняв с девочки платье, Анна увидела на ее плече багровую полосу.

— Это что? — спросила она.

Подняла рубашонку. Вся спина у девочки была в таких полосах.

— Что это?

Женя потупилась.

— Это бабушка. Настегала.

Девочка не жаловалась, она чувствовала себя виноватой, она стыдилась этих побоев.

— Алексей! — крикнула Анна. — Ты видишь?

Он пожал плечами.

— Ну... бывает.

Анна подошла к печке, заглядывать за нее не стала, ей не хотелось видеть свекровь.

— Слушайте меня, мама, — сказала она громко и четко. — Если вы еще хоть раз, хоть пальцем тронете Женю, я не знаю, что я сделаю с вами...

У нее опять замерло сердце... Спать она легла вместе с Женей. После всего происшедшего Алексей тоже стал чем-то ей неприятен.

XIII

Ночью Анне не спалось. Спина у нее болела, точно это ее отстегали веревкой.

Но тревожили ее не только синяки и кровоподтеки. Ей, выросшей в деревне, тоже доставалось в детстве и от отца, и от матери, она допускала, что и сама способна ударить ребенка, лишь бы сделать нужную зарубку на его памяти. Но коверкать душу ребенка, отравлять ее подлостью, неверием в людей, этого она не могла позволить. Никому! Ни мужу, будь это даже родной отец ребенка. Ни его матери. Ни своей матери. Даже себе.

Рана была нанесена, и надо, чтобы она зажила. Поскорее. Безболезненно. Незаметно. Всех надо было лишить возможности сыпать на рану соль...

В Суроже знали Бахрушиных. Анна с дочерью жили у всех на глазах. Они не вызывали особого внимания, но ведь шила в мешке не утаишь. Сегодня свекровь вызвала у девочки интерес к тому, о чем ей не следует знать. Девочка начнет думать, допытываться, узнавать. Того и гляди кто-нибудь подтвердит ей истину.

Лучше всего уехать. Туда, где никто ничего не знает. Где никто ничего не может сказать. Где ссадина заживет, забудется...

Анна думала, что хочет уехать из города только ради Женечки, спастись от пересудов...

Но стремилась она в деревню не только из-за дочери, ее давно тянуло поближе к земле, природный инстинкт звал ее в деревню, нужен был лишь повод... Она и ухватилась за повод.

На следующий день Анна разбудила мужа раньше обычного.

— Алеша, я хочу уехать.

— Как уехать? Куда?

— Куда-нибудь в деревню. В колхоз. Агрономом.

— С чего это вдруг?

— Я не вдруг.

Он сел на кровати, посмотрел на пол, словно что-то новое на нем увидел, принялся одеваться.

— Подумаем.

Анна разбудила старшую, накормила младшую, непрерывно думая о своем.

Свекровь вела себя тише воды, ниже травы. Нажарила картошки. Принесла из погреба огурцов. Вскипятила чаю. Напекла даже пышек, хотя обычно пышки пекла только по воскресеньям.

Пододвинула пышки Женечке.

— Ты кушай, кушай...

Анна вышла вместе с дочерью, Алексей нагнал их.

— Все думаю,— сказал он.— Может, ты и права.

Анна удивилась, что он не спорит. Алексей любил поставить на своем. Он был самолюбив, всегда старался дать понять, что все в доме решает он. Даже удивительно было, что он не пытается возражать.

Должно быть, Алексей просто испугался, что Анна может от него уйти. Понимал: обижать Женю она не позволит, дочерью ради мужа не пожертвует. Это он понимал. А потом ему казалось, что в деревне Анна будет более одинока, чем в городе, меньше будет проявлять свою волю...

На работе ни Анна, ни Алексей никому ничего не сказали. Думала Анна, думал Алексей, решение пришло к ней внезапно, но для каждого в нем содержался особый смысл.

В обед Анна побежала кормить маленькую. Свекровь стряпала обед. Ниночка спала. Женя делала уроки. Было тихо, мирно, точно вчера ничего не произошло. Сейчас было очень подходяще сказать о своем намерении свекрови.

— Мама, знаете, мы хотим переехать...

Свекровь не выразила особого удивления, а может быть, поборолась в себе любопытство.

— Куда это? — деловито спросила она теми же словами, что и Алексей.

— В деревню,— сказала Анна.— Там спокойнее.

— Ну и что ж! — ответила свекровь.— В деревню так в деревню. Корову купим, совсем будет хорошо. Здесь не так сподручно, а уж в деревне без сена не останемся.

Анна дивилась. Против ожидания, ни муж, ни свекровь не встретили ее предложение в штыки. Наоборот, она это заметила, чем-то это предложение пришлось им по душе. Анна даже насторожилась, не слишком ли опрометчив такой шаг, может, стоит повременить...

Вечером Анна решила сходить к Ксенофоновым. Тетя Дуся не умела кривить душой, только она одна и могла помочь Анне разобраться в ее переживаниях.

Анна рассказала обо всем, что произошло.

— Вот я и надумала, тетя Дуся. Подальше от греха. В деревне мы для всех чистое полотно.

— Корят, значит? — спросила тетя Дуся. — Не удержались?

— Да как сказать... — Анна задумалась. — Женщина необразованная, сорвалось с языка. Родную внучку, конечно, больше жалеет.

Тетя Дуся поджала губы.

— Смотри, девка, они и тебя укорят.

— Меня-то чем же?

— Найдется чем. В деревне они тебя вокруг руки обмотают, на то и расчет. А ты не поддавайся.

— Может, не ехать?

— Поезжай. Тесно тебе здесь. Думаешь дочь оберечь, а тебе и самой хочется. Вижу ведь я тебя, Анечка. Один все у бережка плещется, а другой норовит куда бы поглубже нырнуть...

Выражалась тетя Дуся иносказательно, но в Сурожье не удерживала. Понимала, кажется, Анну лучше, чем она сама себя понимала.

Придя домой, Анна возобновила утренний разговор.

— Надумал, Алеша, или нет?

— Не возражаю. Надо к какому-то берегу прибиваться. — Он засмеялся. — Только мать ставит условие. Купите корову, говорит, поеду. Охота, говорит, своего молочка попить.

— Купим, конечно...

Анне было не до коровы. В глубине души она чувствовала, что этот пока еще предполагаемый переезд заново поворачивает всю их жизнь. Ей вспомнился почему-то Петухов, он ведь тоже говорил о деревне...

Вечером Анна, Алексей и даже мать то и дело принимались толковать о том, что ждет их в колхозе. Свекровь мечтала о корове, об огороде, ее прельщала возможность обзавестись хоть небольшим, но своим хозяйством. Расчеты Алексея были сложнее. Вероятно, он тешил свое самолюбие перспективами возвыситься и над женой и над окружающими. В отделе он все-таки был по отношению к Анне подчиненным лицом, а в колхозе рассчитывал, по-видимому, обрести большую независимость. Анна тоже рассуждала о пользе переезда, но на самом деле — она ощутила это вдруг совершенно явственно — она нестерпимо соскучилась по земле.

Анна еще не знала, как ей заговорить с Богаткиным, но на следующий день он сам начал с ней разговор.

— В колхоз хотите, Анна Андреевна?

— Кто вам сказал?

— Алексей Ильич. Молодцы вы! Не хотелось бы отпускать, но... — Богаткин сочувственно развел руками. — Алексей Ильич коммунист, да и вы... Какая вы беспартийная! Вполне советский человек. Пятый год мы с вами...

Анна смутилась.

— Возникла у нас такая мысль, Александр Петрович...

Богаткин помешал ей высказаться.

— Я бы вас задержал, но в райкоме только и слышишь: давай да давай специалистов на производство! Агрономов, зоотехников, механизаторов. Укрепляй да укрепляй! А откуда я их возьму? Рад бы вас задержать, да неволя заставляет...

— Мы еще все думаем...

Но Богаткин опять не дал ей договорить.

— Принципиально правильно решили вы у себя на семейном совете. Партийный человек у вас муж. Он мне сегодня сразу с утра: переезжаем в колхоз. Раз такое дело — пошлем. Вас агрономом. Алексея Ильича тоже по специальности. Счетоводом или бухгалтером. А в дальнейшем может председателем стать или выберут секретарем парторганизации. Все зависит от вас самих...

Богаткин тут же пошел в райком. Вяловатый в делах и недостаточно

инициативный, он был восторженный человек. Порыв Бахрушина и его жены, патриотический порыв, как он понимал, понравился ему, он хотел похвастаться этими людьми и, наконец, показать, что и он выполняет указания...

Когда Богаткин вернулся, судьба Гончаровой была решена.

— Все отлично,— сообщил он Анне.— В райкоме приветствуют. Мы советовались. Как вы смотрите насчет того, чтобы поехать в «Рассвет»?

В «Рассвет» или не в «Рассвет» было уж не так важно. Важно было, что теперь уже нельзя не ехать. Впрочем, это неплохой колхоз. Анна с охотою ездила в «Рассвет». Уж очень веселые там девчата. Она как-то даже помогала им сажать кукурузу.

Анна с мужем вместе вышли после работы.

— Чего это ты наговорил Александру Петровичу? — спросила она.

— Что люди, то и я,— объяснил Алексей.— Все едут, вот и мы решили.

— А это честно? — упрекнула его Анна.

— Не на семейные же обстоятельства ссылаться! — Алексей насмешливо посмотрел на жену.— Зачем выглядеть хуже людей?

— Ладно,— согласилась Анна.— Не так уж важно, что скажут, важно, как сами будем работать.— Она замедлила шаг.— И еще вот что, Алеша,— предупредила она мужа.— Скажи матери. Если она хоть слово еще кому скажет о Жене, ноги ее в нашем доме не будет, понятно?

XIV

Богаткин сам повез знакомить Гончарову с Поспеловым.

Собственно говоря, Анна была знакома с Поспеловым, она встречалась с председателем колхоза «Рассвет» и в райсельхозотделе, и на разных совещаниях, и в колхозе, когда приезжала туда.

— Привет, Анна Андреевна!

— Здравствуйте, Василий Кузьмич...

Они были знакомы, и все-таки Анна его не знала, бог ведает, каков он, чем живет, чем дышит. Да и не так уж интересовал он раньше Анну, все председатели в общем на одно лицо, один посильней, другой послабей, но всех одной меркой мерят — умеи ладить с колхозниками и вовремя рассчитываться с государством. Но теперь, когда предстояло работать вместе с Поспеловым, стать его ближайшей помощницей, Поспелов вызывал к себе особый интерес.

Райисполкомовский газик трясся мелкой рысцой. Серенькая, неказистая эта машина напоминала Анне работающую крестьянскую лошадедку. Трусит она себе во всякую погоду и по любой дороге, а ее только и знают, что погоняют и в хвост и в гриву. Есть «выездные кони», берегут их для парадных выездов, а пусти какой-нибудь заморский лимузин на наш русский простор, не оберешься с ним горя, застрянет в первой же колее.

...— Вот и приехали,— сказал Александр Петрович.— В контору или домой к Поспелову?

— Лучше в контору,— ответила Анна.— Раньше времени в гости набиваться не следует.

Поспелов оказался в конторе, посылать за ним не пришлось.

Местный уроженец, он здесь родился, здесь учился, и председателем колхоза стал еще до войны. В армию Василия Кузьмича не взяли, войну он провел в партизанском отряде в пронских лесах, мужик рачительный, хозяйственный, в отряде ведал снабжением, но, случилось,

и поезда пускал под откос. В районе он считался неплохим председателем. «Рассвет» не числился среди передовых колхозов, но и в числе отстающих не ходил, не вызывал в людях ни особой зависти, ни порицания.

Контора помещалась в доме бывшего богатея Перевошикова. Кабинет Пospelова находился на черной половине, за печкой, там было теплее.

Анна и Богаткин прошли в кабинет. Пospelов сидел с Кучеровым, бригадиром первой бригады. Кучеров был известен в районе не меньше Пospelова, считался лучшим оратором колхоза, и на всех совещаниях и конференциях именно он выступал всегда от «Рассвета».

— Ну вот, привез вам агронома,— приветствовал Богаткин Пospelова.— Любите, жалуйте и не ссорьтесь.

— Чтобы ссориться,— пошутила Анна,— надо хорошенько друг друга узнать!

— А мы вас очень даже хорошо знаем,— рассудительно ответил Пospelов.— Иначе не согласились бы на вас.

Анна удивилась.

— Да откуда ж вы меня знаете?

— Глупостей не преподавали, вот откуда,— разъяснил Пospelов не без насмешечки.

— Каких глупостей?

— Да мало ли глупостей могли вы за четыре года понаписать? Мы ведь читаем бумажки, которые нам посылают, а вы не писали глупостей, хоть и могли...

— Развел критику! — Богаткин засмеялся.— А я, значит, глупости писал?

— А мы и на вас не говорим,— отозвался Пospelов.— Это я о тех, кто в деревню за васильками ездят...

Анна внимательно посмотрела и на Пospelова, и на Кучерова — Пospelов добродушно усмехнулся, Кучеров иронически помалкивал — и подумала, что, пожалуй, смысл ее деятельности в колхозе будет заключаться и в том, чтобы преодолеть то, что проявлялось сейчас в Пospelове и пряталось где-то в Кучерове. Пospelов был гораздо грамотнее, чем хотел казаться, прекрасно мог обходиться без всех этих «ездиют» и «глупостей», но, конечно, и ему, и многим другим легче и безответственнее работать, прикрываясь своей необразованностью.

— А кто же ездит сюда за васильками, Василий Кузьмич? — поинтересовалась Анна.

— Да ездят,— уклончиво отозвался он.— Всякие там. Из Москвы, например...

— А я так думаю, что Москва больше хлебом нуждается, чем васильками,— сказала Анна.— В Москве своих васильков достаточно.

Пospelов хитро прищурился.

— Говорите, хватает в Москве своих васильков?..

— Давай не о цветочках, а о более низкой материи,— вмешался Богаткин, не уловив скрытого смысла их разговора.— Как вы Анну Андреевну устраивать будете?

— А это от нее будет зависеть,— опять усмехнулся Пospelов.— Временно она к нам или насовсем. Ежели хочет присмотреться, найдем квартиру, а ежели пожизненно, можем и дом продать.

— Это какой же дом? — полюбопытствовал Богаткин.

— Есть тут,— уклончиво отозвался Пospelов.

— Да ты не жмись, может, дом-то и соблазнит на пожизненно,— подзадорил Богаткин.— А то ты и рад и не рад.

— Да был тут у нас один, выслужился в полковники, построил родителям дом, а теперь забрал их к себе, а дом нам уступил.

— Так ты покажи...

Дом, поставленный полковником, действительно мог привязать к себе владельца. Колхоз в лице Пospelова соглашался продать его агроному Гончаровой в рассрочку, если она обещает не сбежать из колхоза.

Богаткин поручился за Анну—что-что, на обман Анна решительно не способна, в этом он мог поручиться за нее, как за самого себя.

Но сама Анна колебалась, хотела еще посоветоваться с Алексеем. Вспомнилась и просьба свекрови.

— Василий Кузьмич, а корову здесь можно купить?

— Корову?

— У меня свекровь не соглашается ехать без коровы...— Анна застенчиво посмотрела на Богаткина.— Дети, понимаете. Говорит, без коровы нам не прожить.

Пospelов почесал у виска.

— Корову достанем,—неопределенно сказал он.— Есть у людей коровы. А то и с базара приведем.

Но Богаткину не терпелось сосватать Анну.

— А у себя не найдете?

Пospelов опять поскреб затылок.

— У себя это, значит, на ферме...

— А вы выбракуйте,—подсказал Богаткин.— Выберите получше и выбракуйте.

Анна знала, как в некоторых колхозах выбраковывали для начальства лучших коров... Нельзя начинать с грабежа.

— Нет, в колхозе я покупать не стану,—сказала она.— Только у частного владельца.

Пospelов пытливо взглянул на Анну.

— Найдем, найдем. Купим,—заверил он и улыбнулся.— В крайнем случае свою продам.

Анна тоже улыбнулась.

— Выбракуете?

— Браковать нечего, корова хорошая. Да уж для милого дружка...

Анна прищурилась.

— Не пожалеете?

— Нет, не пожалею,—решительно вдруг сказал Пospelов.— Переезжайте. А корова... Корову найдем.

И Анна тоже решила, как-то сразу решила, и они ударили с Василием Кузьмичом по рукам.

Богаткин засмеялся.

— Это не все. Придется еще устраивать Бахрушина,—предупредил он.— Мужа от жены не оторвешь.

Пospelов задумался.

— А его кем?

— Бухгалтером.

— У нас и должности такой нет, и на Малинина не обижаемся.

— Мы пока подержим его в отделе, а начнем укрупнять колхозы, понадобится бухгалтер...

Пospelов переглянулся с Кучеровым. Их заботило не столько устройство Бахрушина, сколько предстоящее укрупнение. Колхоз в соседнем Кузовлеве был не таким уж приятным дополнением для «Рассвета».

Но все это, конечно, не могло повлиять на желание Пospelова започинить Гончарову. Если укрупнение произойдет, она особенно будет нужна, чтобы поправить дела в Кузовлеве.

После этой поездки все пошло быстрее и легче, чем можно было предположить. Райком дал согласие, Богаткин рекомендовал, прав-

ление колхоза утвердило Гончарову агрономом, и вот уже грузовик колхоза начал совершать рейсы между Сурожем и Мазилковым. Ни Алексей Ильич, ни Анна не жили особо богато, но домашнего скарба набралось предостаточно.

Анна торопилась с переездом. Приближался весенний сев, и она боялась кому-то доверить это дело. Как посеешь, так и пожнешь. Как пожнешь, так и пожрешь. А есть придется теперь то, что она посеет и вырастит. Вещи не успели перевезти, а она уже начала ночевать в колхозе. То у Поспелова, то у Мосолкиной, заведующей молочной фермой.

Мосолкина — симпатичная женщина. Спокойная, добродушная, не без хитрецы. Жила вдвоем со взрослой дочерью и охотно приглашала Анну к себе.

Но вот, наконец, переезд совершился. Бахрушины заняли полковничий дом. Расставлены были шкафы и кровати, развешены занавески. В доме началась новая жизнь. Только самой Анне некогда было его обживать. Она пропадала то в поле, то в правлении. Неугомонный ее характер не давал покоя ни ей самой, ни окружающим. Поспелов сперва покряхтывал, потом смирился.

Только Алексей не мог простить Анне, что она согласилась пойти в «Рассвет», не посоветовавшись с ним. Ему хотелось перебраться в колхоз ради спокойной жизни, а с такой женой, как Анна, в деревне оказалось еще беспокойней, чем в городе. Анна не умела спокойно жить. Во всяком случае ей чужда была невозмутимость, с какой Алексей относился к окружающему.

В Суроже Анна надолго притихла, попав в канцелярию. Туман войны лишь постепенно рассеивался в ее сердце. Сидя за бурым, закапанным чернилами столом, она слишком медленно приходила в себя. Вороха бумажек заслоняли от нее и землю, и солнце, и людей...

Воздуха не хватало, но кое-как можно было дышать. Она вырвалась из плена привычки ради дочери. Так ей думалось. Ради самой себя она не стала бы ломать привычный уклад жизни. Но стоило ей вырваться на простор, соприкоснуться с живым делом, ей самой сделалось непонятно, как могла она так долго тянуть бремя нудной канцелярской лямки.

Прав был Петухов, тысячу раз прав, когда гнал ее на землю! Ее место в поле, под солнцем, на ветру. Она точно ожила. Радовалась всему, что ее окружало. Вновь вспыхнула нежность к Алексею. Она точно помолодела, и муж опять казался ей добрее и лучше, чем это было в действительности.

Вскоре после переезда Алексей зазвал Поспелова в гости. Поспелова и Малинина, счетовода колхоза. Справить новоселье. Должно быть, ему хотелось понравиться Поспелову, да и не одному Поспелову.

Водки было с избытком, за закуской Алексей специально съездил в Сурож.

— Василий Кузьмич! Павел Павлович! — восклицал Алексей, обращаясь к гостям. — Это только первая колом! Вторая соколом, а остальные мелкими пташками...

Поспелов выпивал в меру, старался блюсти достоинство, но тут не выдержал, переложил через край, так настойчиво угощал Алексея.

Анна помалкивала. Что могла она возразить? Новоселье! От хозяйского стола гостей не отваживают.

На другой день Алексей привел Малинина и Поспелова опохмелиться, на третий они продолжали опохмеляться, а на четвертый...

На четвертый день правление утвердило Алексея на должность бухгалтера.

Он вернулся домой победителем.

— Без Богаткина обошлись. Ребята свойские.

Анна порозовела, как девушка.

— Но ведь это же стыдно, Алеша!

Алексей с состраданием посмотрел на жену.

Не в пример Анне, Алексей на работу не жадничал, не торопился прибрать все дела к рукам. Он похаживал в правление, но нельзя сказать, чтобы переутомлялся, по утрам не спешил, по вечерам не задерживался, охотно ездил только по делам в город.

— Ты бы дома когда посидела,— упрекал он жену.

— Дела,— оправдывалась Анна.

— Дела не голуби, не разлетятся.

С детьми приходилось возиться свекрови. Женя стала совсем большая. Надежда Никоновна заставляла ее нянчить Ниночку, но уже не осмеливалась не только ударить, даже голос повысит на нее. Мир миром, а невестку свекровь побаивалась.

Но от своего условия Надежда Никоновна не отступалась. А Анне почему-то стыдно было напоминать о корове Пospelову. Не так уж много она сделала для колхоза, чтобы требовать то — то, то — се. Алексей раздобыл корову без помощи Анны.

Своей коровой Василий Кузьмич, разумеется, не пожертвовал, но нашел подходящую в Кузовлеве. Там выдавали замуж дочь, срочно нужны были деньги.

Алексей Ильич отгулял два дня на свадьбе и самолично привел из Кузовлева корову. В доме наступил полный мир.

XV

Хотелось получше познакомиться с людьми, но времени не хватало. Поджимали сроки сева. Пospelов все раскидывал умом да подсчитывал вместе с Кучеровым — «хватит ли семенного фонду», как он выражался, и когда в правлении появилась Анна, он и ее вознамерился взять к себе в компаньоны. Но Анна быстро поломала его занятия арифметикой.

— А где кладовщик? — поинтересовалась она. — Идти надо на склад и там смотреть, что есть...

— Кладовщик у нас честный,— уверенно заявил Кучеров. — Его проверять нечего.

— Да не его проверять, а семена,— поправила Анна. — Мне семена надо видеть, а не бумажки.

Пошла на склад и увлекла за собою Пospelова: невозможное ж положение — агроном на складе, а председатель с карандашиком за столом.

Зерно хранилось в громадном амбаре, сложенном из бело-желтого известняка, под железной крышей, крашенной темно-зеленой краской.

В амбаре чисто, прохладно, и под стать амбару кладовщик, тоже очень чистенький и вежливый, но без сладости, с этакой уважительной прохладцей.

— Гриша! — назвал его Пospelов.

— Челушкин,— представился он сам.

Анна подумала — у такого и в душе, и на складе все должно быть в порядке.

— Григорий... А как ио батюшке? — спросила она.

— Челушкин,— повторил кладовщик.

— Хотим посмотреть зерно,— сказал Пospelов.

Без лишних слов Челушкин защелкал ключами.

Очень чисто было в амбаре, всюду подметено, у стен аккуратно сло-

жены лопаты. Зерно хранилось и в закромах, и в мешках, мешки, как солдаты, выстроены в шеренгу, на мешках фанерные бирки с указанием сорта.

— Ну что? — довольно спросил Пospelов. — Порядок?

Анна прошла по амбару, развязала один из мешков, зачерпнула горстью зерно.

— Кондиционное? — спросила она Челушкина.

— Вы же видите... — обиженно произнес Пospelов.

— Как вам сказать... — Челушкин замялся. — Зерно спервоначалу ссыпали в закрома, смешалось чуть...

— Я ж вижу...

Анна торжествовала, что видит лучше Пospelова, во всяком случае хочет видеть и лучше, и глубже.

— Проверено на всхожесть, на влажность?

Она спрашивала так, как учили в техникуме.

Челушкин кивнул.

— Когда?

— В конце года.

— А в этом мешке?.. — Анна повернулась к Пospelову. — С зерном еще разобраться надо, Василий Кузьмич.

— Вот вы и разбирайтесь!

Она, кажется, к месту пришла, эта агрономша. Пospelов поскреб затылок. Привычный и давно уж забытый жест. Беспокойная, но к месту. Такая и нужна. Пospelов принял ее по совету Богаткина, но принимал ее и душой. Она и в Суроже была к месту, и здесь.

XVI

Туговато было, конечно, жить, но все-таки уже брезжил просвет. Мало хлеба, и пшеницы, и ржи, беден еще трудодень, но картошки в общем хватает. С государством рассчитались, сколько положено по плану, столько и продано, даже с перевыполнением, у районных организаций претензий к колхозу быть не должно. И самое важное — колхоз обеспечен семенами. Семена лежат в колхозном амбаре, под замком, весной не придется беспокоиться — хватит или не хватит.

На сердце у Анны спокойно. Самое важное — семена. Будут семена весной, можно надеяться на урожай осенью.

Теперь только чтобы никто не подгонял. Одна мечта. За советы спасибо, а жить позвольте своим умом.

Однако Анна успокоилась раньше времени. Не прошло и нескольких дней, как в неурочное время хлопнула в доме дверь.

— К тебе, Аня, — певуче проскрипела из-за перегородки свекровь, голос ее напоминал кряканье обученного говорить скворца.

У входа кто-то шаркал сапогами — накануне Анна до того отскоблила-отмыла полы, что на них боязно было ступить...

В горницу вошел Пospelов.

— Можно, Анна Андреевна?

Свекровь выглянула и скрылась, она не любила, когда к Анне приходили мужчины.

— Заходите, заходите, Василий Кузьмич.

Анна пошла навстречу Пospelову.

— Пол уж больно...

— Грязь ваша — руки наши, Василий Кузьмич. Отмоем.

Пospelов осторожно присел на краешек стула; по одному этому движению Анна догадалась — пришел о чем-то просить.

— Отдыхаете?

— Да не так чтобы очень. Убралась вот. Собиралась в Кузовлево...
— А что в Кузовлеве?
— Есть одна думка о чистых парах...
В Кузовлеве находилась вторая полеводческая бригада.
— На лошади поедете?
— Конечно.
— А может, на машине?
Наверняка Пospelов с просьбой, даже машину предложил!
— Незачем машину гонять,— отказалась Анна.— Четыре километра всего.
— А как настроение, Анна Андреевна?
Он никак не решался высказаться.
— Ничего настроение. А у вас что ко мне?
Пospelов мялся, запинался.
— Как у нас с семенами, Анна Андреевна? Хватит?
— Сами знаете, Василий Кузьмич. Просить ни у кого не придется.— Ее чем-то встревожил вопрос.— А в чем дело, Василий Кузьмич?
Пospelов потупился.
— Из району звонили,— выдал он из себя.— По поводу закупа.
— Ну и что?
— Не выполняет район.
— Чего?
— План.
— Ну, а мы при чем?
— Мы ни при чем.
— Ну и все.
— Да не все.
— Что — не все?
— Да ведь звонят же!
— А чего звонят?
— Не понимаете?
— Ну и пусть звонят.
— Поддержать просят.
— Так ведь мы свое продали.
— Просят.
— Так у нас только что на семена.
— Вот и просят, весной, говорят, отдадут.
Вот она — беда! Это была старая песня. Осенью вымести все до зерна, а весной протягивать руку. Дать — дадут, конечно, пустыми поля не оставят. Но — что дадут и как будут давать...
У Анны было такое ощущение, как если бы пришли к ней за Женечкой — отдай, мол, потом вернем.
— Не дадим,— сказала Анна.— Даже не думайте.
Пospelов покряхтел.
— Приказывают.
— Ну и пусть приказывают.
— Придется, Анна Андреевна...
Она встала прямо перед Пospelовым.
— Не дам!
— То есть как не дам? — Пospelов вспылел.— А кто вы есть? Правление постановит и — все.
— Не постановит.
— Очень даже постановит. В правлении коммунисты. Вызовут в порядке партийной дисциплины и постановят.
— Да вы думаете, что говорите? — рассердилась Анна.— А весной милостыню собирать?

Поспелов встал.

— А ежели государство просит?

Но Анна уже не могла сдерживаться.

— Государство свое получило, теперь пусть о нас подумает.

Поспелов махнул на нее рукой, пошел к выходу.

— Сдадим, Анна Андреевна.

Она все-таки успела крикнуть ему вслед:

— Через мой труп!

Но она понимала, что райкому Поспелов не посмеет отказать. Не такой человек, чтобы отказать. Не хватит характера.

В Кузовлево Анна решила не идти. Важнее было найти Челушкина. Он шестой год работал в колхозе кладовщиком. Богато ли, бедно ли жили в колхозе, со склада у него не пропало еще ни зерна. Ни одна ревизия — а ревизии, случалось, налетали вовсе неожиданно — не могла уличить его ни в малейшей недобросовестности.

Анна нашла его у конторы.

Он стоял, попыхивая папироской. Правый рукав у него, как всегда, был аккуратно приколот к гимнастерке английской булавкой. С войны Челушкин вернулся без руки, но не захотел садиться государству на шею, пошел в правление колхоза и попросил дать работу по силам.

— Ты чего, Гриша?

— Василий Кузьмич вызвал, жду.

— Ключи от амбара с собой, Гриша?

— При мне, Анна Андреевна.

Уж если идти наперекор, медлить нельзя.

— Дай-ка их, Гриша.

— А что, Анна Андреевна? Проверить что хотите?

— Да вроде и проверить.

— Возьмите...

Сбить замок без нее не посмеют, в этом Анна была уверена.

Она вся жила будущей весной, она не могла отдать ее на произвол обстоятельствам...

Вечером ее вызвали в контору.

— Василий Кузьмич зовет!

Она знала: говорить с ней один на один он больше не станет.

В конторе собралось почти все правление. Рядом с Поспеловым сидел Кучеров. Был Донцов, рядовой колхозник, — он отказывался от любых должностей, — очень всеми уважаемый человек. Был Челушкин, хоть он и не член правления. Была Мосолкина, заведующая молоко-товарной фермой, — после своего избрания она не проронила на заседаниях правления еще ни слова. Был счетовод Малинин...

— Садитесь, товарищ Гончарова, — пригласил Поспелов.

Он был строг, важен, официален, от давешней нерешительности не осталось следа.

— Вы что ж это самоуправничаете, товарищ Гончарова?

— Я не самоуправничаю, Василий Кузьмич.

— Ключ забрали... — Он не знал, что еще сказать. — Вот правление обсудило вопрос. Решили поддержать. Сдать дополнительно...

Он не сказал, что сдать и сколько, все-таки ему тоже было не по себе.

— Товарищи, это же невозможно, — сказала Анна. — Вы сами понимаете.

— Мы не можем подвести район, — сказал Поспелов.

— Можем, — сказала Анна. — Это неправильная постановка вопроса. Надо хоть немного да заглянуть вперед. Мы разоружаем себя...

— А мы и боремся за разоружение, — пошутил Кучеров.

— Не за такое, когда обстоятельства могут подмять нас, — быстро

возразила Анна.— Товарищи, ведь я тоже была на войне. Я видела, что значит остаться без оружия...

— Ну, это неподходящее сравнение,— заметил Донцов.— Наоборот, мы, так сказать, подкрепим атаку...

— Или поможем прикрыть плохую работу.

— Вы это в районе скажите.

— И скажу.

— Короче, короче,— сказал Пospelов.— Райком предлагает сдать еще четыреста центнеров. Весной районные организации все равно будут обращаться в область за семенным материалом, нам возместят в первую очередь...

— Товарищи, мы же разденем колхоз! — опять вступилась за семена Анна.

— Так как, товарищи,— оборвал ее Пospelов,— возражений нет?

— Нет есть! — сказала Анна.— Переносите вопрос на общее собрание.

— Да ты в уме, Анна Андреевна? — рассердился Пospelов.— На что еще общее собрание?

— И пусть из райкома приедут. Там мы откровенно поговорим...

Гончарова сбила настроение, люди колебались, во всяком случае никто не хотел взять на себя ответственность за продажу семян.

— А ведь правда,— подлил масла в огонь Донцов.— Почему не поговорить с людьми?

— Ну ладно,— сказал Пospelов.— Утро вечера мудренее. Позвоню утром в район, посоветуюсь.

XVII

В окно неистово застучали — стекло задребезжало, вот-вот выскочит. Алексей отдернул занавеску.

— Тебя,— позвал он жену.

Под окном стояла Аленка, младшая дочь Пospelова.

Анна распахнула окно.

— Что тебе, Аленушка?

— Папка наказал... Собираться... В район поедете. Заедет за вами...

Она выполнила поручение, и — только пятки засверкали.

— Ну чего там? — недовольно спросил Алексей.

— В район с Василием Кузьмичом еду.

— Цапнешься ты все...

Должно быть, Алексей что-то слышал о вчерашней стычке. Он не любил спорить с женой — переспорить ее никогда не удавалось — и осуждал ее манеру «жить шумно», как он выражался. «Жила бы по-тише, говорил он, и почета больше, и здоровья».

Анна наскоро оделась, позавтракать не успела. Легковушка с Василием Кузьмичом подкатила к крыльцу, и водитель с ходу просигналил тревогу.

Василий Кузьмич очень гордился своей «легковушкой», хотя только слава шла, что колхоз имеет легковую машину. На самом деле это был старый трофейный «виллис», еще в начале войны отбитый партизанами у немцев и каким-то случаем приблудившийся в Мазилове.

— Мы куда, Василий Кузьмич? — осведомилась Анна.

— В райком,— коротко ответил он и замолчал снова.

Они так и промолчали всю дорогу.

Анна еще ни разу не бывала в райкоме, и было чуточку обидно, что впервые попадает она туда как бы вроде подсудимой.

Пospelов остановился перед одной из дверей. «Приемная РК КПСС».

Вошли. Диван, стулья. Две двери, направо и налево, обитые черным дерматином. Ковровая дорожка. За столом миловидная женщина с вопрошающими глазами.

Она укоризненно взглянула на Поспелова.

— Он вас с утра ждет...

— Спешили, Вера Михайловна!

— Пойду доложу.

«Первый секретарь Сурожского РК КПСС И. С. Тарабрин», — прочла Анна на двери.

Женщина вскоре вернулась.

— Проходите.

Тарабрин имел в районе большой авторитет. Он секретарствовал в Суроже четвертый год, район свыкся с ним, а он свыкся с районом. Анна с некоторым даже трепетом вошла в его кабинет — с людьми такого положения ей еще не приходилось общаться.

— Товарищ Гончарова? Здравствуйте. Познакомимся. Садитесь.

Тарабрин был прост, приветлив, доступен. Слова выговаривал громко и четко. От него веяло спокойствием, военной аккуратностью.

— Здравствуйте, Василий Кузьмич, — поздоровался он и с Поспеловым. — Садитесь.

Первое впечатление от него было хорошим.

— Ну, что вы там? — снисходительно спросил он Анну. — Василий Кузьмич звонил мне. Рассказывайте.

Он сел поплотнее в кресло, давая понять, что не торопится и готов внимательно выслушать свою собеседницу.

Анна собралась с духом, ей не хотелось, чтобы Василий Кузьмич вмешивался в разговор.

— Мы продали, что нам полагалось. Выдали на трудовень. Не так уж много, но выдали, и засыпали семенной фонд. А теперь опять предлагают продавать. Но у нас, кроме семенного фонда, ничего нет. Помоему, это преступление, товарищ Тарабрин. Конечно, я понимаю, весной нам возместят, но зачем создавать в колхозе нервную обстановку? Для чего вытягивать за чужой счет отстающих? Не могут отдельные хозяйства тащить на своей шее весь район...

Тарабрин с любопытством разглядывал Анну. С ним редко разговаривали так прямодушно и бесхитростно. «Но и так по-детски», — подумал он, и простил за это Анне ее упрямство. «Детское упрямство», — отметил он про себя, не высказывая, конечно, вслух этих мыслей.

— Вы правы, — мягко сказал Тарабрин. — И неправы. Может быть, правы с позиций колхоза. Были бы правы, если бы мы жили в обществе, где конкуренция и эгоизм определяют общественные отношения. Но мы живем при социализме, у нас иные критерии. Один за всех и все за одного. Разве государство потерпит, чтобы пустовала земля, чтобы кто-то лишился результатов своего труда? У нас общность интересов. Разве возможно — за одну бригаду вы отчитаетесь, а за другую нет? Вы представляете колхоз в целом. И мы тоже не можем, так сказать, предстать перед областью в двух лицах. Не можем делить колхозы на чистых и нечистых. В свою очередь, область не может делить районы на плохие и хорошие. У области тоже одно лицо. Вы улавливаете связь? Колхоз — район — область... Так создается престиж государства! Сегодня ваш сосед выполнит план с вашей помощью, а завтра он поможет вам. В конце концов у нас общий закрот. Государственный!

Анне нечего было возразить, и все-таки она была не согласна.

— Поняла? — вдруг спросил ее Василий Кузьмич и осуждающе добавил: — А она — общее собрание!

— А почему не объяснить это всем колхозникам? — возразила Анна. — Один общий государственный закрот.

— Потому что далеко еще не все колхозники мыслят государственными категориями,— объяснил Тарабрин.— Слышали о демократическом централизме? Кое-что снизу, но не все снизу...

Анна не вполне ухватила мысль Тарабрина. В свое время она сдавала в техникуме зачет по истории партии, но не считала себя хорошо подкованной в политике.

— Вы поняли меня? — пытливо спросил ее Тарабрин.

Анна чувствовала себя бесконечно слабой.

— Но я не могу...

— А вам и нечего мочь,— холодно произнес Тарабрин.— Сидите и молчите. Вообще, это все — дело не ваше, а правления и товарища Поспелова...

— Мы все-таки соберем собрание,— тихо сказала Анна.— Колхозники не пойдут напротив...

— Вы что — хотите скомпрометировать райком? — задал ей Тарабрин вопрос.— Не следует волновать людей.

— Следует,— сказала Анна.

— А вы, оказывается, любите дешевый авторитет,— сказал тогда Тарабрин.— Но мы вас не поддержим. Так вы легко можете очутиться вне партии.

Анна хотела что-то сказать, но Тарабрин перешел в ту неотразимую атаку, которая неизменно приносила успех во всех спорах.

Со сдержанной улыбкой он поглядел на Поспелова.

— Помнишь, Василий Кузьмич?

На этот раз Поспелов не ответил, хотя отлично помнил, сколько раз Тарабрин в тяжелые минуты угрожал ему потерю партбилета.

Но Анна Тарабрина не поняла и опять хотела что-то сказать, но тот уже не хотел слышать возражений.

— Завтра вывезете двести центнеров,— продолжал Тарабрин, на этот раз больше обращаясь к Поспелову.— Это директива. Директива райкома. Понятно?

— Но я вам хочу объяснить...— начала снова Анна.

Тарабрин не захотел ее слушать.

— Вы потеряете свой партбилет,— промолвил он тоном, не терпящим возражений.— Партбилет у вас с собой?

— У меня нет...

Она хотела сказать, что у нее вообще нет партбилета, что она беспартийная, но Тарабрин опять помешал Анне договорить.

— И очень плохо,— сказал Тарабрин.— Партбилет всегда должен находиться при коммунисте.

Поспелов вдруг вступился за Анну.

— Да она по молодости, Иван Степанович...

— Ладно,— смягчился Тарабрин и отпустил своих посетителей.— Идите и завтра же сообщите — сколько вывезли вы зерна.

Спорить с Тарабриным было бесполезно, он всегда докажет свою правоту. Да Василий Кузьмич и не сомневался в том, что Тарабрин прав. Ему по должности полагалось быть умнее и дальновидней Поспелова. Не стоило понапрасну отнимать время у секретаря райкома. Василий Кузьмич заторопился, пошел, и Анна пошла, хотя ей казалось, что они ни о чем не договорились. Она уже не замечала ни просторного коридора, ни широкой лестницы. Она шла и думала, что первое впечатление не обмануло ее, Тарабрин хоть и повысил на нее голос, все-таки оказался на высоте, настоял на своем, оказался принципиальным человеком. И в то же время она чувствовала, как лицо ее почему-то горит от стыда. Она уступила Тарабрину, не могла не уступить, не могла его оспорить. Но на душе у нее было нехорошо. Что-то половинчатое было в ее согласии. Тараб-

рин тоже в чем-то неправ, он тоже проявил половинчатость. Она не могла понять Тарабрина. Но не могла оправдать и себя. Не надо уступать. Никогда не надо уступать, если ты уверен в своей правоте...

XVIII

Зима не ознаменовалась большими событиями, шла себе и шла, дни помаленьку прибавлялись, катилась себе через сугробы, как колобок. Кто был занят делом, а кто и бездельем. Пospelов мужик хозяйственный и тот не боялся, что дела в лес убегут, зимой можно было и вздохнуть и отоспаться.

Но почему он затеял ревизию склада, Анна попервоначалу не догадалась.

— Самое время,— объяснил он.— Покуда покой, спокойненько сочтут...

Челушкин, разумеется, не возражал,— пожалуйста! — даже был доволен: умный и честный человек всегда доволен проверкой.

— А чего проверять? — удивлялась Анна.— Челушкин, по-моему, вне подозрений.

— Для порядка,— объяснил Василий Кузьмич.— Когда никогда, а когда-нибудь надо, проверим, и с плеч долой.

Вызвал честь по чести ревизионную комиссию, придал в помощь Кучерова и Малинина и попросил — «пока зима, пока слободно» — пройти по складам.

Ревизия принесла неожиданные результаты. Комиссия обнаружила недостачу. Не хватало около двух центнеров зерна, килограммов десять коровьего масла, свыше тысячи яиц.

Пошли к Пospelову.

— Как быть?

Василий Кузьмич не взял на себя решения.

— Пускай решает правление.

Мало кто верил, что Челушкин способен украсть, но недостача налицо, и уж во всяком случае Челушкин обязан дать объяснения.

Однако Челушкин ничего не стал объяснять.

Это было тяжелое заседание. Все привыкли держать сторону Василия Кузьмича — опытный человек, знает что к чему и в общем беспристрастный. Кучеров, Мосолкина, Донцов...

— Как же это так, Гриша? — укоризненно спросил Василий Кузьмич.— Докладай, брат, как же это ты допустил?

— А я не допускал,— сказал Челушкин.— Чего мне говорить!

— А кому говорить? — Василий Кузьмич нахмурился.— Ты знаешь, чему учит товарищ Ленин? Фактам. Факты — упрямая вещь. Вот чему учит товарищ Ленин.

— А я не возражаю,— сказал Челушкин.— Я против фактов не спорю.

— Значит, есть недостача?

— Ну, есть.

— Выходит, брал?

— Нет, не брал.

— Откуда ж она?

— Просчитался.

— А за просчет, знаешь, что бывает?

— Ты, Гриша, разберись, разъясни,— вмешался Кучеров.— Подумай, поищи, может, найдешь концы...

— А чего мне думать? — сказал Челушкин.— Недостача и есть недостача. Ну, зерно я верну, у меня на трудодни побольше получено.

А за яйца и масло... Не сразу, конечно, или деньгами выплачу, или куплю и натурой верну.

Но Кучерову хотелось попытаться.

— А все-таки... Куда же это делось?

— Яичницу мужик любит,— пошутила Мосолкина.— Вот и делось!

— А мне кажется, говорить не о чем,— вмешалась Анна.— Челушкин берется возместить, вопрос, значит, исчерпан.

Поспелов укоризненно покачал головой.

— Не торопись, не торопись, Анна Андреевна...

Но она продолжала:

— Ну, не знает человек. Не так уж много. Можно и не заметить...

Ей очень хотелось защитить Челушкина. Она чувствовала к нему душевное расположение. Всегда точен, аккуратен, и при этом какой-то очень открытый человек. Она была уверена: раз Челушкин говорит «не знаю»,— значит, действительно не знает.

Но Поспелов настроен был агрессивно.

— Дело не в возмещении,— продолжал он.— Под суд отдавать не собираемся, если даже и просчитался. Но оставлять кладовщиком...

Вот, оказывается, что нужно Василию Кузьмичу.

— А я хочу поддержать Гришу,— вмешался опять Кучеров.— Я о нем дурного не думаю. Но куда ему, инвалиду с одной рукой, в кладовщики? Сторожем — я понимаю. Но кладовщиком? Ворочать мешки, считать, взвешивать... Где ему справиться!

Вот, оказывается, что им нужно!

— А я несогласна,— перебила Анна.— Челушкин вполне на своем месте. У него с одной рукой порядка больше, чем у других с двумя...

— Ошибаетесь, Анна Андреевна, не с двумя, а с тремя!

Это — Жестев, секретарь партийной организации. Он тихо сидел в уголке и не вмешивался в спор. Он часто так поступал: послушает, послушает, а потом уже скажет.

Анна не поняла было его, и Поспелов, кажется, тоже.

— Какими — тремя?

— А очень просто,— пояснил Жестев.— Иной двумя вешает, а третьей отсыпает, две руки для общества, как у всех, а третья для себя, а Челушкину с его одной дай бог хоть колхоз обслужить...

— Я персонально против Челушкина тоже ничего не имею,— настаивал на своем Василий Кузьмич.— Но ведь говорим-то мы не о Челушкине, а о недостатке. Не судить? Ясно, что не судить. Но и простить нельзя. Даже невозможно. Работу подыщем, но не кладовщиком. В кладовщиках просто не имеем права оставить. Спросим вот хоть счетных работников, они по этой части собаку съели...— Он оборотился к присутствовавшему на заседании Бахрушину.— Вот Алексей Ильич разъяснит, можно оставить кладовщиком человека, у которого обнаружена недостача?

Анна тоже быстро взглянула на Алексея, взгляд ее был очень понятен — поддержи, Алеша, поддержи, не надо менять Челушкина!

И он посмотрел ей в глаза, улыбнулся слегка, давая понять, что очень хорошо ее понимает, даже встал, точно собирался произнести длинную речь.

— Обычно за нарушение финансовой дисциплины накладывается дисциплинарное взыскание, но если обнаружена растрата или недостача, дело полагается передать прокурору, и уж во всяком случае виновник должен быть немедленно отстранен от работы...

Поспелов оживился.

— Значит, как я понимаю, Челушкина мы просто не имеем права оставить?

— Правильно,— подтвердил Алексей.— Где-то это граничит...

— Видите, Анна Андреевна, что говорит ваш муж? Муж, так сказать, а не может вас поддержать.— Пospelов торопился, ему не хотелось продолжать прения.— Проголосуем, товарищи?

За оставление Челушкина голосовали только Анна да Жестев, остальные, как всегда, склонились на сторону Пospelова — мужик опытный, знает, что к чему.

— А Челушкина в сторожа,— предложил Кучеров.

— Недоверие — и в сторожа? — спросила Анна.

— Я не пойду в сторожа,— сказал Челушкин.

— Ну, подыщем чего-нибудь,— торопливо сказал Пospelов.— Не к спеху. Решим лучше, кого кладовщиком...

Кучеров не дал Пospelову договорить.

— Прохорова. Исправный колхозник. Работал в сельпо. Человек проверенный, авторитетный...

— Попробуем...— Василий Кузьмич оживился.— Возражений нет?

Прохорова протаскивали настолько наспех, что додуматься до «возражений» никто просто не успел.

— Значит, утвержден,— сказал Василий Кузьмич и, чувствуя себя в чем-то виноватым, тотчас обернулся к Челушкину.— Ты, Гриша, не обижайся, без работы тебя не оставим...

Но Челушкин даже не ответил. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и не ответил, встал и быстро вышел за дверь.

Ну нельзя, нельзя так отпускать человека, и — Анна была убеждена в этом — хорошего человека...

— Я сейчас,— быстро проговорила она.— Я сейчас, Василий Кузьмич...

И вышла вслед за Челушкиным.

Он словно знал, что она выйдет, стоял у крыльца и носком сапога сбивал снег со ступеньки.

— Гриша, вы куда?

— Домой.

— Я провожу вас.

Они неторопливо пошли сквозь сгущающиеся сумерки.

— Как вы быстро сдались,— упрекнула Анна Челушкина.— Надо защищаться!

Он усмехнулся.

— Зачем?

— Вас обвиняют, а вы точно соглашаетесь! — Анна пытливо посмотрела на Челушкина.— Может, ее и не было — недостачи?

— Была.

Голос Челушкина звучал твердо.

— И вы знаете, как она образовалась?

— Конечно.

— Так вы что — просчитались или брали?

— Да не я брал...

— А кто?

— И вы в том числе.

— Да вы что, Гриша?

— А помните, взяли сотню яиц?

— Так мы же заплатили! Я сразу послала Алексея Ильича...

— Приходил. Спрашивает: подождешь?

— И вы ждете? Я завтра же расплачусь!

— Да не в том дело. Другие так же. Думаете, Василий Кузьмич не знает? Скажи я что, все равно против меня обернут. Начальство приезжает, кормить надо, вот и яичница и масло. Блины. Да и проवेशивался, конечно...

Анне нехорошо стало на душе.

— Мы это поломаем, заставим перерешить...

— И не пытайтесь. Думаете, Пospelов меня за недочасу?

— А за что?

— За ключи!

— За какие ключи?

— Да когда вам отдал. От склада. Когда отказались семена сдать.

— Вы шутите!

— Сами видели, какие шутки.

— А вы думаете — Прохоров...

— Прохоров — послушный мужик. Я яйца давал, а он и семена вы-
даст...

Анна задумалась, Они почти уже дошли до избы Челушкина. Он был прав и неправ. Прав в том, что понимал обстановку, и неправ, потому что мирился с ней. Но Анна не хотела лишаться Челушкина.

— Послушайте, Гриша, хотите идти в Кузовлево помощником бригадира? — предложила она. — Будете там вроде как моим представителем.

В Кузовлеве и после объединения не ладилась дела.

— Соблазнительно, — неуверенно откликнулся Челушкин. — Я пошел бы.

— Думаете, Пospelов не согласится?

— Нет, почему же. Согласится. Там мне не в чем ему пересчитать...

Когда Анна вернулась, она заметила, что Пospelова еще не покинуло смущение, которое владеет нами, когда мы совершим не слишком хороший поступок.

Она села на прежнее место, оглядела всех и решительно произнесла:

— Вот что, Василий Кузьмич, как хотите, но я хочу послать Челушкина в помощники к Числову.

— А разве я против? — согласился Пospelов. — Пусть только поменьше умничает.

Анна вдруг поняла — речь шла не столько о Челушкине, сколько о ней, это ей. Пospelов преподавал урок, непосредственно задеть ее не осмеливался, но урок все-таки давал.

— Ладно, — сказала Анна. — Значит, посылаем Челушкина помощником бригадира?

Пospelов кивнул.

— Ну и хорошо, — примирительно заключил Жестев. — Может, он в Кузовлеве так себя покажет, что сами его обратно позовем.

XIX

Смена дней. То в поле, то дома. Больше в поле. И в ведро, и в непогоду...

Вот говорят, где-то людям мешают работать, ставят препоны. Анне не верится. Ну как это так? Мешают... Сами себе мы ставим препоны. Она не забудет минувшей весны...

Весной семья, конечно, не хватило. Тарабрин обещал вернуть зерно, взятое осенью в колхозе, но так и запамятовал. А может, не запамятовал — просто нечего было дать.

Анна поехала в Сурож. Просить. Это было унижительно. Просить то, что сами отдали...

Богаткин только руками развел.

Анна осмелилась, пошла на прием к Тарабрину. Она высидела в райкоме полный рабочий день. У Тарабрина шло бюро. Потом еще совещание. Потом еще что-то...

Очутилась она у него в кабинете только к вечеру.

Выглядел Тарабрин усталым, замученным, но встретил ее приветливо.

— А! Агроном из Мазилова... Что скажете?

Анна напомнила:

— Семена...

Тарабрин нахмурился.

— А где взять? Сами выходите из положения.

— Ведь вы обещали...

Тарабрин нахмурился еще больше.

— Обещала баба парня родить, а принесла девку...

Ох, вот оно, не надо было тогда соглашаться!

— А где же взять?

Но она поняла уже, что Тарабрину тоже негде взять.

— Поеду в Пронск,— сказала она в отчаянии.

— Зачем?

— Побираться!

Это она сказала даже дерзко, не без вызова,

— Куда это?

— Куда придется! В областное управление...

— И что же вы скажете?

— Что было, то и скажу.

Можно было не сомневаться, эта не станет ни врать, ни выкручиваться... Э-эх! Перед Тарабриным была та самая простота, которая хуже воровства!

Он замолчал. Не отпускал Анну и молчал. Молчал долго.

— Ладно,— выговорил он наконец.— Незачем ехать в Пронск. Достану я вам семена. Возвращайтесь...

На этот раз он не обманул Анну. Правда, она набралась духу, напомнила о себе по телефону, но в конце концов «Рассвет» получил на складе райпотребсоюза около полуторацента центнеров...

Неизвестно, где их наскребли, но пустить Анну в Пронск Тарабрин не захотел, двухсот центнеров не натянул, но все-таки рассчитался.

Зерно оказалось похуже того, что было сдано, но теперь многое зависело от Анны. Она не смела уже не вырастить урожая.

И вот, едва отсыпались, Анна сразу почувствовала себя плохо. Ей стало плохо, как только она уверилась, что засеян яровой клин. Заныло в пояснице, подкатило к самому сердцу, стало тяжело...

Она опустилась перед кроватью на колени, вцепилась руками в одеяло.

— Ох, мама, бегите скорей за Алексеем!

Свекровь чаевничала на кухне. Она или не расслышала, или сделала вид, что не слышит. Позвякивала только ложка о блюдечко — свекровь любила варенье.

— Ой, мама! Да вы слышите?!

Прошло еще с минуту. Надежда Никоновна допила чай. Поставила чашку на блюдце. Появилась в дверях.

— Чего ты, Ань?

— Ой, да бегите же! О-ох...

Анна втиснулась лицом в одеяло.

Свекровь скрылась. Стукнула наружная дверь.

Анна была уверена, что колхоз будет с урожаем. Все предусмотрено. Теперь можно и рожать.

Ох, до чего же ее крутило...

Свекровь прибежала испуганная, серая тень легла на ее лицо. Участиливо склонилась к невестке.

— Не идет. Сидит с Пашкой-пожарником. Выпимши. Говорит, без меня обойдется. Может, за тетей Грушей сбегать?

— Ох! Да бегите за кем хотите! К Василию Кузьмичу бегите! О-ох... Свекровь опять исчезла...

Никогда Анне не было так плохо, как в этот раз. Ни с Женей, ни с Ниной... И Алексей не идет. Но Анна что-то не очень даже на него сердится. Он в обиде на нее. Не раз уже упрекал, что ей дети дороже... Ох! Они и вправду дороже... К этим родам она готовилась. Старалась побольше ходить. Не ела лишнего... А все-таки обидно! Неужто ее оставили одну? Не может того быть... Да где же они, эти люди?

Анна все стояла на коленях, прикусывала слегка одеяло, и не могла с собой совладать.

Ну вот, слава богу, кто-то идет...

Опять свекровь!

— Может, все-таки позвать тетю Грушу?

— Да зовите кого хотите!..

— Извиняйте, Надежда Никоновна, но тетя Груша ето в общем невежество...

Чей это голос? Низкий, хриплый басок... Голос дрожит, осип от волнения... Василий Кузьмич!

— Извините, Анна Андреевна. К вам можно?

Вот он уже рядом, этот сиплый голос...

Анна делает над собой усилие, встает.

— Здравствуйте, Василий Кузьмич.

Она протягивает ему руку. Он вежливо пожимает.

— Крепитесь, Анна Андреевна...

Вот опять подкатывает!

— Ой, пожалуй, хоть и тетю Грушу...

— Ну что вы, Анна Андреевна! — Поспелов возражает, возражает настойчиво, решительно. — Разве мы позволим себе вами рисковать? Мы вас в момент в Сурож...

— Не успеть... — слышит Анна за своей спиной голос свекрови. — Не успеть вам...

— Успеем? — неуверенно спрашивает Анна, хотя ни она, ни тем более Поспелов не в состоянии ответить на этот вопрос.

— Успеем, — твердо произносит Поспелов. — В самый раз.

— Тогда идите...

Анна опять берет себя в руки.

— А чего идти? Все здесь, — говорит Поспелов и уже отдает Надежде Никоновне команду. — Собирайте Анну Андреевну. Быстро. Одевайте. Две минуты. Понятно, мамаша?

Он выходит, но не успевает выйти, как возвращается с Челушкиным. Гриша... Гриша... Да какой же ты молодец!

— Мы вас донесем, Анна Андреевна, — говорит Поспелов. — Обопритесь-ка...

— Нет, нет...

Анна отрицательно машет головой.

Свекровь помогает надеть пальто. Анна обнимает Поспелова и Челушкина за плечи и медленно идет к двери. У крыльца стоит грузовик. Задний борт откинут.

— Я сяду...

— Нет уж, — строго возражает Поспелов. — Все предусмотрено...

А вот и Тима... Кудрявцев стоит в кузове у опущенного борта. Рядом с ним тетя Груша. Хотя тетя Груша — «невежество», ее все-таки прихватили на всякий случай. Анна безропотно подчиняется всем указаниям

Поспелова. Она и не хочет, и не может возражать. Ей помогают подняться в машину. Не столько помогают, сколько поднимают. В кузове матрас. С чьей только кровати его сняли? На матрасе подушки. Несколько громадных подушек. В белоснежных наволочках с прошивками. Оранжевое атласное одеяло. У изголовья стопка простыней. Две бутылки с водкой. Анна сразу понимает: не для питья. На всякий случай. Вдруг тете Груше понадобится помыть руки. Обо всем подумали. Кто? Василий Кузьмич? Гриша?..

Анна ложится. Прямо в пальто. На одеяло.

— Вы разденьтесь, Анна Андреевна, не беспокойтесь, не растрясусь. Вместе с Анной в кузове остается тетя Груша, трое мужчин втискиваются в кабину, там тесно, все они люди широкие, но они боятся смутить Анну, которая вот-вот может родить.

Машина трогается с места. Куда-то в сторону уносится голос свекрови. Анна слышит еще чьи-то голоса...

Грузовик мчится. То тише, то быстрее. Почти не трясет. Кудрявцев старается.

Тетя Груша сидит на краешке матраса с каменным лицом. Она обижена, ее искусством пренебрегли. Ей и полагается быть обиженной. Агрономша! Ей, конечно, врача надо! Но сквозь каменное выражение лица пробивается бабье участие. Агрономша-то она хоть и агрономша, а мужик у нее — никуда. Готов свою бабу за бутылку водки сменить. А баба — золото. И на людях, и дома. Вся на виду.

Тетя Груша наклоняется к Анне.

— Андреевна, худо тебе?

— Нет, ничего...

Довезли ее как раз к сроку. Успели ввести, раздеть...

Поспелов просит вызвать врача.

— Не Раису Семеновну, а главного. Евгения Яковлевича.

— Евгений Яклич занят.

— Скажите: председатель колхоза «Рассвет» просит.

Появляется «Евгений Яклич».

— Здравствуй, Евгений Яковлевич. Мы там нашу агрономшу рожать привезли, — обращается к нему Поспелов. — Прошу вас. От имени колхоза. Вы уж постарайтесь...

«Евгений Яклич» улыбается.

— Стараться ей придется, а не мне...

— Вы уж там в случае чего...

— Ничего, — снисходительно говорит «Евгений Яклич». — Все будет хорошо.

Поспелов не уходит.

— Ах да! — вспоминает вдруг врач. — Мы просили сена продать для больницы. Вы вот отказали...

— Продадим, продадим, — поспешно произносит Поспелов. — Самим в обрез, но продадим.

— И потом нам бы тысячи три яиц, — оживляется Евгений Яковлевич. — С фондами туговато...

Но тут их беседу прерывает медсестра, совсем молоденькая, должно быть только что со школьной скамьи.

— Евгений Яклич, а где отец?

— Чей отец?

— Да ну... этой... Которую привезли!

— А что?

— Сын! Сын у нее!

— Ох ты! — говорит Поспелов. — Найдем яйца, доктор, найдем!..

А сама Анна лежала в родильной палате, истомленная после перенесенной муки, и думала — что, мол, как вот хорошо, как вовремя, от-

сеялась, и теперь вот сын, и еще подумала, что в этом году колхоз обязательно будет с урожаем.

XX

Лето выдалось жаркое, сделаешь туда-сюда километров пятнадцать и запаришься. Анна все время на поле. В Мазилове, в Кузовлеве. Да еще домой надо забежать, покормить Колю.

В Кузовлеве она бывала чаще, чем в Мазилове, надо было вытягивать Челушкина. Но безрукий этот Челушкин одной рукой выжимал больше, чем другие двумя. К осени его бригада собрала пшеницы по одиннадцати центнеров с гектара. Не так уж много, но для района это был небывалый урожай.

Осенью Анна сполна получила и задолженность по зарплате, и премию. Куда Алексею до нее! Искала у Алексея поддержки, выходя замуж, а теперь сама может поддержать.

Но все-таки хорошо, что у нее есть муж, отец ее детей, хозяин. Они выбрали погожий октябрьский день, вдвоем собрались в Сурож за покупками.

Вернулись из города под вечер. Алексей слегка под хмельком, но довольный и ласковый.

Анна развязала свертки, нарядила дочерей в новые платья, отдала им кулек с конфетами, повесила мужнин костюм на распялку под простыню, сыну вложила в руки погремушку, подала свекрови отрез — выбирала материю на свой вкус, фланель, потеплей и помягче, коричневую в белый горошек — и для пожилой, и веселая.

— Вот, мама, не обижайтесь.

— Себе-то небось шерсти взяла? — пытливо спросила свекровь.

— Шерсти, мама, — подтвердила Анна.

Ей не хотелось хвастаться перед свекровью своим платьем. Она отложила сверток с платьем в сторону, не стала доставать из сумочки шарф.

Пошла обратно к сыну, повертела перед ним погремушкой, погугукала.

Свекровь собирала ужин.

— Алексей-то в порядке? — осведомилась она.

Но тут Алексей сам зашел в избу.

— Давайте, — деловито сказал он, входя. — Пожрать да и спать... Как костюм?

— Повесила, — ответила жена.

— Да нет, я не про то, — сказал он. — Как — ничего?

— Ничего, — сказала Анна.

— Небось под тышшу? — завистливо спросила свекровь. — Аль больше?

— Тысячу! — самодовольно сказал Алексей. — Подымай выше!

Они поужинали, легли, потушили свет. Свекровь долго что-то ворошила у себя на постели, охала, вздыхала, должно быть, завидовала и невестке и сыну.

Алексею хотелось спать, его развезло от выпитой водки, но он чувствовал себя в долгу перед женой, как-никак это она купила костюм. Он обнял Анну, чмокнул в щеку.

— Спи, — сказала она. — Спи, отдыхай.

Он благодарно подвинулся к стенке. Свекровь все еще возилась за печкой, а Алексей уже захрапел. Было темно. Постукивали ходики.

Почему это у всех ходики, во всех избах ходики, — подумала Анна, — и почему только ночью замечаешь, как они постукивают?

Стучат, стучат, не дают заснуть...

Анне не спалось. Она мысленно перебирала покупки. Всем купили, никого не забыли. Алексею давно уже нужен костюм. И матери нечего обижаться...

Богатство не ахти какое, но так богата Анна никогда еще не была. Игрушки, конфеты, костюм мужу, платье себе. Не ситцевое платьице, не гимнастерка... И все, что было куплено сегодня, заработано ею самой.

Господи, сколько пройдено: школа, техникум, Толя, Женечка, война. Потом эта безрадостная Кубань, неприветливая, неуютная, и степ — не степ, а степ, и люди там такие же недоверчивые и жесткие, как ихний пустой и безводный степ.

Вот вернулась на родину. Домой, к родимой картошке. Если когда-то в юности казалось, что без Толи ей не прожить, теперь она понимает, что можно прожить и без мамы, и без Толи, и без Алексея. Только без родимой картошки невозможно прожить. И нет такой силы, которая могла бы согнать ее с родной земли, и есть сила, которой она держится...

Анна долго не засыпала. Петухи кукарекали, когда она заснула, а проснулась, уже рассвело, дома не было ни Алексея, ни Жени, только свекровь возилась у печки, да нежно, по-голубиному, ворковал в колыбельке Коля и неслышно играла Ниночка на разостланном на полу одеяле.

Анна умылась, надела новое платье, натянула капроновые чулки, надела лаковые туфли, причесалась, достала из сумочки купленный вместе с платьем шарфик из воздушного шелка, тоже голубой, разрисованный зелеными листьями и желтыми цветами, накинула на голову, посмотрелась в зеркало — понравилась даже сама себе.

Взяла с этажерки тетрадь, в которой делала записи о состоянии посевов, вырвала аккуратно листок, взяла свою самописку, написала несколько слов, задумалась, потом решительно написала все, что задумала, сложила листок, сунула в сумочку и пошла.

— Если кто будет спрашивать, мама, — сказала она в дверях, — скажите, пошла к Жестеву.

XXI

У нее было все. Все, что хочет и что может иметь человек. Семья, работа, уважение окружающих.

Редко кто задумывается, что было бы, если бы... Что было бы, если бы... А ведь это — формула.

Не Анна делала Октябрьскую революцию. Тогда ее даже не было, она родилась спустя пять лет, и ее появление на свет ничем не могло повлиять на исход событий. Но что было бы с нею, не будь этого события? Что было бы с тысячами крестьянских девочек? Всю жизнь пили бы слезы соленые с кислым кваском пополам!

Анна была убеждена в том, что она самый обыкновенный человек. Да и на самом деле она была самым обыкновенным человеком. Обыкновенной крестьянской девочкой. У нее не было особого таланта, который мог бы ей помочь возвыситься над другими. Она получила все потому, что общественная система, возникшая в стране как следствие революции, выявляла и развивала способности каждого человека.

Она шла по деревенской улице. День был сухой, теплый. Листья почти уже облетели с деревьев, коричневые ветки, как какие-то вымыслы из проволоки, покачивались возле домов. Небо — без облачка, сплошное синее полотно, и сама Анна в синем платье и голубом шарфике просилась сейчас на картину, только никому это было невдомек.

Однако не заметить Анну было нельзя. Уж очень она была нарядна.

У дома Губаревых стояли Маша Тюрина и Милочка Губарева, обе в новых пальто — день-то был совсем теплый, вышли специально, чтобы пофасонить.

— Ух ты! — восхищенно сказала Маша. — Вот это — платье!

— Дура, не ори, — ответила Милочка. — Опять небось муж обидел, вот и бежит...

В деревне уже приметили манеру Анны уходить из дому, когда Алексей Ильич возвращался пьяным.

На этот раз девушки ошиблись, но разговор их донесся до ушей Анны. Удивительно было, что она все видела и все слышала, хотя была занята своими мыслями.

Вот и дом Жестевых. За изгородью из поломанных серых жердей топорщились обглоданные чужими козами смородиновые кусты. Зато у самого дома красовались две такие великолепные рябины, что Анна невольно запрокинула голову. Тяжелые гроздья оранжевых ягод до того празднично пламенели над окнами старой избы, что изба и все вокруг, казалось, пропитано солнцем. В этих обглоданных смородиновых кустах и пышных рябинах выражался весь характер Егора Трифоновича Жестева. Смородина на кустах не вызревала, скот не шадил, зато ни один мальчишка в деревне не позволил бы себе сорвать с рябин ни ягоды, хотя известно было — Егор Трифонович не промолвит ни слова, оборви у него кто-нибудь хоть весь урожай.

А вот Анна не удержалась, потянулась, сорвала кисть, отщипнула губами ягоду. Ох, кисла! Ох, терпка! Даже скулы свело. Рано рвать, надо ждать. Рыжи ягоды, как заря. Надо ждать ноября. Он суров и багров. Будут ягоды слаще...

— Здоров!

Егор Трифонович выглядывал из окна. Он всем говорил так при встрече.

— Можно?

— Заходите, заходите... — Варвара Архиповна, жена Жестева, приветливо распахнула дверь. — Будьте гостьей.

Все в этой избе было на месте. Ничего лишнего, и все на месте. Кровать за печью, скрытая ситцевой занавеской. Выскобленный добела стол. Полки с книгами, сходящиеся в углу, где раньше положено было висеть иконам. Горка красного дерева с посудой. Дешевый дубовый комод. Комод, изделие Сурожского промкомбината, приобретен недавно, а горка — реликвия революции. Егор Трифонович весьма ценил эту горку. Когда в 1917 году громили помещичьи усадьбы, мазиловские мужики поделили между собой имущество помещика Коновницына, и горка пришлась на долю Егора Трифоновича.

Он любил пошутить:

— Недаром кровь проливали, теперь есть куда чашки с блюдами ставить...

Анна застала Жестевых за завтраком. Жили они вдвоем. Дочка их Анна Егоровна, тезка Анны, давно выделилась, обосновалась тут же в Мазилове своим домом, сын работал где-то в Сибири, кажется, в Красноярске. Старики могли бы коротать век на иждивении детей, но слишком сильна была привычка жить своим трудом, Варвара Архиповна до сих пор выходила на полевые работы.

Сам Егор Трифонович был коммунистом первых лет революции, ровесник Октября, член партии с семнадцатого года. Пронский мужик, участник первой империалистической войны, он с фронта вернулся большевиком, боролся за советскую власть в деревне, затем комбеды, гражданская война, продразверстка, хлебозаготовки, раскулачиванье, колхозы...

Участвовал он и в Великой Отечественной войне, и снова вернулся

в родное Мазилово. Продвигаться, как говорится, вверх не позволило образование, да и родные места влекли обратно к себе. Он был бес-
сменным секретарем партийной организации колхоза, и к нему-то и
прибежала сейчас Анна.

Перед Егором Трифоновичем стояли сковородка с жареной кар-
тошкой, тарелка с квашеной капустой и литровая кружка с молоком.
На кружку опиралась раскрытая книга. Егор Трифонович поддевал
вилкой то картофель, то капусту, но взгляд его был обращен в книгу.

— Здоров, Анна Андреевна,— приветствовал ее Егор Трифонович,
приглашая к столу.— Милости просим.

— Спасибо,— поблагодарила Анна.— Я по делу, Егор Трифонович.
Жестев улыбнулся.

— А ко мне не ходят без дел.

Анна молчала, а он не вызывал ее на разговор.

— Что читаете, Егор Трифонович?

— Роман.— Он не может отвыкнуть от неправильного ударения, хотя
знал, как произносится это слово.— Люблю романы. Поучительности в
них много,— объяснил он.— Глубже проникаешь в людей.

Варвара Архиповна участливо посмотрела на гостью.

— Может, молочка?

— Нет, нет.

Анна разомкнула сумочку, подала Жестеву бумажку.

— Вот.

Жестев закрыл книгу, отложил вилку, прочел, вскинул глаза на
Анну, перечел бумажку еще раз.

— Так, так...

Варвара Архиповна полюбопытствовала:

— Жалоба какая?

Егор Трифонович не ответил, поглядел пытливо на Анну.

— Пойдем в кабинет, поговорим.

Они вышли с Анной в палисадник, сели на скамеечку под рябинами.
Жестев долго молчал, потом сказал коротко, даже сурово, как ни-
когда не говорил с Анной:

— Слушаю.

Она принялась сыпать словами, очень по-женски, торопливо и бес-
порядочно.

— Все у меня есть. А у детей еще больше будет. С работой все хо-
рошо. Ну, не все, но все идет правильно. А ведь все это кто-то дал?
Ведь я понимаю. Не хочется остаться в долгу...

Жестев посмотрел в небо. Не было ему ни конца ни краю.

— Вот ударит мороз, поспедеют ягоды,— сказал он задумчиво.—
Возьмешь тогда на варенье...

Он расправил бумажку.

— Поддержим,— сказал он.— Попросим Мосолкину, я поддержу, к
Богаткину можешь обратиться...

— А может, что не так?— спросила Анна.— Может, не так на-
писала?

— Почему же? «Прошу принять меня в партию. Потому что ей я
обязан...» — прочел он.— Все правильно.

— Чего-то не дописала,— торопливо сказала Анна.— Чего-то надо
мне еще тут дописать...

— Да разве суть в этом...— В глазах старика засветилась уко-
ризна.— Чего там дописывать... Важно, чтоб на совести все было пра-
вильно. Всмотрись в себя — за душой-то у тебя дурного нет?

Он и вправду заставил ее еще раз заглянуть себе в душу.

— Решительности мало, Егор Трифонович...

Жестев пытливо на нее посмотрел.

— Это в чем же?
— Да как же... Помните, отдали семена? Не сумела поспорить, сда-
лась. Едва не обездолила колхоз...
Жестев ногой разгреб опавшие листья.
— А поспорила бы — добилась?
Анна посмотрела ему в глаза.
— Нет.
— То-то и оно-то, а на нет и суда нет.— Помолчал он и с сожалением
сказал: — Спорить да доказывать тоже надо умеючи. Я вот тоже
чувствую иногда, а доказать не могу...
— Значит, сдаваться?
Старик отрицательно покачал головой.
— Не сдаваться, а искать. Пути искать. Лбом стену не всегда про-
шибешь. Искать и в большом и в малом...
Анна не поняла Жестева.
— Может, вы считаете...— Она выговорила с трудом:— Может, я не
готова?
— Да нет, почему же? — сказал Жестев.— Тебе уже пришло время
идти в партию.

XXII

Март пришел неверный, шальной, неустойчивый. То таяло все, то
опять схватывало морозцем. На озерке за Мазиловым вскрылись полы-
ньи, дня два чернели, а потом снова затянуло ледком. В колхозе достра-
ивали новый коровник, попросторнее, потеплее, с отдельным помещением
для молодняка. Мосолкина радовалась и хвасталась перед людьми,
собиралась теперь прославить ферму на весь район. Все приваживала
на ферму молодежь, школьников, рассчитывала завербовать кое-кого
к себе на работу по окончании школы.

Перегнать телят в новое помещение собиралась она к первому
марта. Но, как всегда, что-то недоделали, чего-то не успели, погнали
лишь на третий день марта. За дело взялись школьники, и тут слу-
чилась беда.

Санька Тихонов и Томка Аладьина погнали телят. Годовалых телят,
крепеньких таких, веселых, бойких. От старого телятника до нового не
более километра. Но Саньке вздумалось погнать телят через озерко, по
льду. Выгоды в том особой не было, но так было интересней. Томка
кричала: «Не надо, Санька, подломится...» Но где же это видано, чтоб
послушался мальчишка девчонку? Нарочно погнал через озерко.
«А ну...» Телята побежали по льду, и ничего — перебежали. Только одна
рыжая телочка струсила — свернула с тропки и угодила в полынью:
ледок проломился, телку потянуло под лед. Мимо шел Жестев.

К кому же было взывать Саньке, как не к Жестеву!

— Дядя Егор! Дядя Егор... Тонет!

Но дядя Егор и без крика заметил происшествие. Спрыгнул на лед,
потянулся за теленком, и лед проломился и под ним. Однако он ухва-
тил-таки теленка, подтолкнул к берегу. Выволок теленка, выкараб-
кался сам.

Теленок дрожал, мокрый, перепуганный, очумелый.

— Гони ходом на ферму! — велел Жестев Саньке, а сам что было
сил побежал к деревне.

Домой прибежал оледеневший, разделся кое-как, вернее, раздела
его Варвара Архиповна, растерся водкой, напился чаю с малиной,
забрался на печку, укутался одеялом...

— Сосну, мать. К вечеру отойду...

Однако спустя час или два его начал трясти такой озноб, что стало уже не до сна. Барвара Архиповна закутала своего Трифоновича во все одеяла, накрыла шубой. Озноб не проходил. К тому времени в деревне уже узнали о происшествии. К Жестевым начали наведываться: «Ну как? Ну что?» Принесли термометр. Температура поднялась до тридцати девяти. Собрались в совхоз за врачом. Запротестовал, разумеется, сам Жестев.

— Не надо, обойдусь. К утру пройдет...

Однако к утру Егор Трифонович уже метался в бреду.

Анна сама поехала за врачом. После того, как Анну приняли в партию, она очень сблизилась с Жестевым. Старик не пытался ее учить, не командовал ею. Но получалось так, что Анна сама стала заходить к нему за советами.

Жестев был здорово уже стар, жизнь его достаточно потрепала, ему шел седьмой десяток, пора бы и на покой. Но старик не сдавался, все еще тащил по жизни свой воз, задыхался, а тащил. Не хватало уже энергии, напористости, не раз возникал вопрос о том, что пора освободить его от секретарских обязанностей, но хорошие люди его уважали, а плохие... Плохие терпели, тем более что силенок на борьбу с ними у старика становилось все меньше и меньше.

У Жестева началась жестокая пневмония. Анна привезла врача, из больницы прислали сестру, лекарства. Старика становилось хуже и хуже. Врач уехал только к вечеру.

Анна вернулась домой поздно. Дети уже спали, свекрови тоже не было слышно. Алексей сидел за столом. Потрескивал включенный репродуктор.

— Ты знаешь, Жестев очень плох,— сказала она еще с порога.

— Иди ты со своим Жестевым...— как-то странно ответил ей Алексей.— Ты слушай, слушай...

И вдруг из репродуктора послышались позывные... Позывные Москвы!

У Анны перехватило дыхание.

— Что — война?

— Да ты что?.. Очухайся!

И вдруг она услышала:

— Мы передаем бюллетень о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина...

— Сталина?!

Она точно переспросила репродуктор.

Алексей смотрел на нее тяжелым взглядом.

— Ты понимаешь?.. Сталин! Сталин!

Радио не выключали всю ночь. Всю ночь за окном надрывался мартовский ветер. Анна плохо спала. Встала раньше обычного. Вышла из дома. Несмотря на раннее утро, народа на улице было много. Все шли в красный уголок.

Тревога за жизнь Жестева сразу ослабла, Жестева продолжали лечить, врач приезжал в Мазилово, сестра дежурила, больного навещали десятки людей, но все говорили о Сталине. Так много было связано с именем Сталина в стране, так много Сталин значил, что все остальное теперь бледнело и уходило в тень...

Сталин — это было что-то огромное. Огромное, но далекое. И там она ничем не могла помочь. А здесь, рядом, тоже шла борьба. За чело- века. За добрую и большую жизнь.

Во вторую ночь Анна совсем не могла заснуть. За печкой пел сверчок. Все чиркал и чиркал свою заунывную песню. Свекровь похрапывала, иначе она обязательно плеснула бы в щель кипятком. По всей стране, по проводам и без проводов, от антенны к антенне неслись со-

общения. Сердце, пульс, температура... И совсем рядом, через несколько домов, Таня Грошева, медсестра из участковой больницы, тоже следит за сердцем, за пульсом, за температурой. Через каждые четыре часа вводит Егору Трифоновичу пенициллин.

Почему Анне так безмерно жаль Жестева? Точно он ей родной...

И вдруг она ловит себя на мысли, что Жестева жалеет больше, чем Сталина. Ей неудобно в этом признаться. Даже самой себе. Но Жестев роднее, ближе, дороже. Тот — символ, а Жестев — живой человек...

Она запрятывает эту мысль в какие-то такие тайники своей души, куда никому и никогда не проникнуть.

С утра побежала к Жестевым. Тихонько вошла в избу. Варвара Архиповна дремала на лавке, подложив под голову подушку. Сидя у постели, дремала Таня Грошева. Дремал Егор Трифонович.

Таня открыла глаза. Виновато улыбнулась.

— Ну как?

— Падает...— Взглядом показала на термометр.— Доктор говорит, выкарабкается...

— Ой, Танечка!

Анна безвольно опустилась на скамейку. Все-таки она выпросила у судьбы жизнь Егору Трифоновичу...

И в тот же день, вечером пятого марта, умер Сталин.

По радио передавали обращение Центрального Комитета. Передавалось медицинское заключение. Извещения от комиссии по организации похорон...

Особенно притихшими казались дети. Они жались к печке и даже всхлипывали. Играли тихо-тихо. Да и немудрено. Все хорошее связывалось в их представлении с именем Сталина. В школе постоянно твердили, что он — лучший друг. Всего. Детей. Велосипедистов. Мелиораторов. В детских домах даже конфетки давали с приговором, что о конфетках позаботился дедушка Сталин...

В день его похорон мела легкая поземка. Анна только что вернулась от Жестева. У старика дело шло на лад.

Она только успела раздеться, как на крыльце послышался шум.

Хлопнула дверь, в комнату вошли Алексей и какой-то милицейский лейтенант. Анна вопросительно взглянула на мужа.

— Познакомься,— сказал он, запинаясь.— Товарищ Ха... Харламов! Алексея слегка покачивало, но лейтенант как будто был трезв.

— Ты понимаешь, Аня... Ты понимаешь, какое событие...— Алексея покачивало.— Такое событие нельзя...

Он вдруг опустил на стул и заплакал.

Анна взглянула на лейтенанта.

— Вот приехал к вам,— несколько виновато объяснил тот.— Встретились вот в правлении...

— К нам?

— Не лично, а вообще. В эту местность. Для предотвращения возможных беспорядков.

Анна удивленно привстала.

— Каких беспорядков?

— Никаких беспорядков!— вмешался Алексей, утирая кулаком слезы.— Все будет в порядке! Нельзя в такой день... Но не продают даже портвейна. Но товарищ Ха... Харламов... достал...

Анна молча указала гостю на репродуктор. По радио транслировали все, происходящее в это время на Красной площади. Играл оркестр. Напыщенно звучал голос диктора. Снова оркестр. Многоголосьный говор. Потом заговорили Маленков, Берия, Молотов. Что-то угрожающее послышалось Анне в этих голосах. Что-то мрачное. Свириное. Историчная мартовская метель...

Милицейский лейтенант упоенно смотрел в репродуктор. Анне стало не по себе.

Она понимала, что в похороны не до веселья, но ей не хотелось бы так хоронить близких людей. Не для того живут люди, чтобы над их гробом звучали такие мрачные голоса.

XXIII

В один из последних дней марта Анна зашла к Жестевым по пути на работу. Возле этих стариков ей было как-то уютно-успокоительно, как говорила она самой себе с легкой усмешечкой.

В тот день с утра задул порывистый ветер, заморосил дождь, небо побурело, заволоклось тучами, ветер становился все холодней и холодней, а потом дождь сменился густым снегом, покрывшим все дороги, все дорожки и тропки, ведущие в Мазилово.

— Раздевайтесь,— приветливо встретила ее Варвара Архиповна.— Сейчас позавтракаем, вареничками своего угощаю.

— Да я завтракала...— Анна подошла к Жестеву.— Что за книжка у вас, Егор Трифонович?

Жестев провел похудевшей рукой по книге, будто погладил открытые страницы.

— Учусь, Анна Андреевна. Учусь понимать жизнь.

Старик редко выражался высоким стилем.

— Что же это за учебник?

Жестев усмехнулся.

— «Война и мир», Анна Андреевна, только и всего. Перечитываю.— Он помолчал, но, должно быть, ему все-таки хотелось объяснить Анне свое обращение к Толстому.— Завертятся в голове всякие мысли — не разложить по полочкам. А тут точно на простор выйдешь. Он — о своем, а ты — о своем, но так это у него все умно, широко, своевольно, что и сам умнеешь, и в своих делах начинаешь разбираться как-то так...— Он несколько сконфуженно взглянул на Анну.— По-толстовски, что ли!

Она этого еще не знала. Еще не умела советоваться с великими книгами, но слова запали в нее, в нее всегда западало что-нибудь от Жестева.

— А что вас тревожит, Егор Трифонович? — заботливо спросила Анна.— Может, послать за доктором?

— Все, Анна Андреевна...— Старик насупился и слегка постучал по книге.— Я вот с каким доктором советуюсь. А вы мне...

Он пытливо на нее посмотрел, точно ждал от нее какого-то особого понимания.

Но Анна не знала, что ответить.

Варвара Архиповна возилась у загнетки, подгробала из печки к чугунку жар и бросала в кипящую воду вареники.

Жестев поймал взгляд Анны.

— Да, вареники все так же едим,— неспешно произнес он.— Только надолго ли муки хватит? Appetit хороший, да работаем мы не по аппетиту.

— Вот мы и ждем вас,— ласково ответила ему Анна.— Поможете, мы и приналяжем.

— Нет,— резко оборвал ее Жестев и еще раз повторил:— Нет.

Анна опять не поняла, старик чего-то не договаривал.

— Написал я, в райком написал,— вдруг признался Егор Трифонович.— Постарел, не тяну. Не гожусь.

— Ну что вы...

— Отучились жить своим умом, Анна Андреевна, и я в том числе. Теперь опять пришло время — каждому жить своим умом. Не поду-

майте, я не оправдываюсь и дураком себя не считаю. Но бывают обстоятельства сильнее нас.

Тут Варвара Архиповна позвала их завтракать.

— Что ж, пойдём,— миролюбиво согласился Жестев.— Вареники — штука добрая...— Он подцепил вилкой вареник и вернулся к начатому разговору: — Написал в райком, прошу освободить, хватит.

— Чего хватит?

— Всего. Послужил, и хватит, не справится мне теперь.

— Ну, это уж вы... Вас уважают в Мазилове.

— Уважить не важить. Уваженья я не потеряю, коли честно признаюсь, что ныне воз не по мне.

— Что-то я не вполне понимаю...

— Я и сам не все понимаю, потому и запросился в отставку. Отслужил свое, выполнял, что приказывали, а теперь...

Тут вмешалась Варвара Архиповна.

— А теперь не хочешь никому подчиняться?

Но Жестев не принял шутки.

— Ты, мать, не шути, подчиняться — это легче всего, теперь их время...— Он кивнул на Анну.— Эти не захотят подчиняться, а для этого не только голова нужна... Образование нужно. Походили у одного под началом, а теперь коллективно все надо решать...

Только тут начал доходить до Анны смысл его слов.

— Значит, на пенсию собрались?

— Значит,— подтвердил Жестев.

— Не отпустят,— возразила Анна.

— В самый раз,— не согласился Жестев.— Увидите. Ведь у нас кто шел в ход? Или «чего изволите?» или «поднажмите, ребята». Ну, насчет первого я слабоват, а насчет «поднажмите» это я мог. А теперь народ потребует — что и к чему!

Варвара Архиповна опять вмешалась:

— Вареники-то остывают!

Прямо пальцами Жестев взял щепоть соли.

— Ты бы сахарку.

— С солью привычнее.

Жестев многое не договаривал, лишь постепенно раскрывался он перед Анной и каждый раз наводил ее на новые необычные мысли.

Анна уж собралась было уходить, но кто-то зашаркал в сенях, постучал и, не ожидая отклика, потянул на себя дверь.

— Не помешаю?

Это был сам Тарабрин.

— Егор Трифонович... Товарищ Гончарова, оказывается, тоже тут...

— Не ждал я сегодня вас, Иван Степанович. Мать, спроворь...

— Нет, нет,— решительно отказался Тарабрин.— Не голоден. Извини меня, Егор Трифонович, знал о болезни, справлялся, а навестить не мог. Да и сегодня не приехал бы, не приди твое заявление...

Жестев не спеша пошел навстречу гостю.

Тарабрин пожал всем руки, разделся, улыбнулся Анне.

— А вы как хозяйничаете?

Анна теперь уже не так смущалась Тарабрина.

— Да понемножечку...

Она поднялась.

— Не торопись, Анна Андреевна,— остановил ее Жестев.— Разговор коснется и вас.

Тарабрин вопросительно поглядел на Жестева, но ничего не сказал.

— Сидите, сидите,— согласился он.— Пожалуй, Поспелова я зря не

прихватил. Я ведь заглянул в правление. Он набивался со мной, да я остановил, хотел сначала с тобой...

— И правильно,— одобрил Жестев.— Анна Андреевна другой коленкор.

— Ну, как знаешь, как знаешь,— опять согласился Тарабрин.— Тебе виднее.— Он сложил на коленях руки и сразу перешел к делу.— Получили мы твое заявление, понимаем, сочувствуем, но с работы — нет, не отпустим. Для секретаря парторганизации нет у нас сейчас подходящего человека. Подлечиться — дело другое, путевку в санаторий для тебя запросили. Но от руководства — нет, не освободим. Не обойдемся.

— Обойдетесь.

Тарабрин говорил громко, властно, категорично, но на Жестева его слова, по-видимому, не произвели особого впечатления.

— Позволь райкому судить...

— Без Сталина обойдутся!

— Что? Что? — Что-то в тоне Жестева озадачило Тарабрина, он подался вперед и как бы заново начал вглядываться в Жестева.— Что вы хотите этим сказать?

— Да не больше того, что сказал,— успокоительно произнес Жестев.— Не поеду я в санаторий. За хлопоты, конечно, спасибо, но не хочу из дому, и без старухи своей тоже не хочу. Дома я лучше окрепну, поверьте. А вот в руководители уже не гожусь. Я ведь, Иван Степанович, понимаю, что теперь предстоит. Не снести мне эту ношу, не по плечу.

— Подожди, подожди, что ты сказал про Сталина? — оборвал Тарабрин.— При чем Сталин? Я не вижу связи...

— А очень даже при чем,— все так же спокойно и с какою-то внутренней улыбкой ответил ему Жестев.— Сами о нем еще не раз заговорите. А мне по-стариковски...

Придаться было не к чему, но слова Жестева не лезли ни в какие привычные каноны и насторожили Тарабрина.

— Что вы все-таки хотите этим сказать?

— Да лишь то, Иван Степанович, что всем нам придется теперь измениться...

— То есть как измениться?

— Поумнеть, Иван Степанович!

— А вы — что же...

— А я слаб, не вытяну, растеряюсь...

Тарабрин не ответил, он только пристально смотрел на Жестева.

— Кем я был? — продолжал Жестев.— Помните, ходили у нас в деревнях сельские исполнители? С блямбою на груди? Вот я и был им...

— Что это еще за блямба?..

Насколько категоричен был Тарабрин в начале разговора, настолько неуверенно говорил он сейчас. Кажется, он принял блямбу и на свой счет.

Тарабрин задумался.

— Может быть, вы и правы. Вы действительно, кажется, устали. Ну, а кого бы... Кого бы рекомендовали вместо себя?

— Гончарову,— тотчас ответил Жестев.

Сказал не раздумывая, не замедлив с ответом ни на секунду.— теперь Тарабрин понял, почему он задержал Гончарову и вел при ней такой разговор.

Тарабрин резко повернулся к Анне.

— А как вы?

У него, кажется, мелькнуло подозрение — не сама ли Анна навела Жестева на эту мысль.

Но она так чистосердечно отозвалась:— Ох нет, не справлюсь я...— что Тарабрин тут же отверг свое подозрение.

Он вспомнил свой спор с Гончаровой из-за зерна. Он не любил, когда председатели колхозов подминали под себя секретарей партийных организаций, а она еще тогда не боялась перечить Пospelову. Если ей дать направление, может, и получится толк...

Он строго посмотрел в глаза Гончаровой.

— Ну, а вы что думаете по поводу этого?

Анна ответила ему вопрошающим взглядом.

— По поводу чего?

— Ну вот, вся эта критика, что разводит тут товарищ Жестев. Тоже хотите быть умнее всех?

— Нет, не хочу,— твердо сказала Анна.— Хочу учиться. Хочу, чтоб меня поучили. Там люди поумнее меня.

Она не сказала, где это там, но Тарабрин, кажется, отнес ее слова и на свой счет.

Не глупа,— подумал он.— Дисциплинированна. Может быть, и получится толк.

Вечером на партийном собрании коммунисты разбирали заявление Жестева. И то, что Тарабрин дал согласие обсудить это заявление, означало: райком не возражает против освобождения Жестева от секретарских обязанностей.

Тарабрин был опытным партийным работником, знал, что смена руководителей должна способствовать подъему работы. Он перевел разговор на хозяйственные планы колхоза, расшевелил людей, вызвал на разговоры, побудил выступить Анну, и Анна не сдержалась, высказалась, наговорила и в адрес Пospelова, да и в свой собственный адрес немало горьких слов...

Она верила в то, что говорит, в этом и была ее сила. И те, кто слушал ее, видели, что она верит. И тоже верили ей. Тем более что за два года, которые она провела в колхозе, ее слова не расходились с делами.

Поверил в нее и Тарабрин, и когда встал, наконец, вопрос о новом секретаре, из-за чего, собственно, он и приехал в колхоз, он посоветовал мазиловским коммунистам выбрать секретарем партийной организации Гончарову, и они согласились, что Гончарова годится в секретари.

XXIV

Анна спала и не спала. Тело ее спало, а дух бодрствовал. Она отдохнула за ночь, ее всю пронизывало ощущение бодрости. Было еще очень рано. Но в деревне никогда не бывает слишком рано. Она встала, наскоро умылась, вышла на крыльцо. Было свежо до дрожи. Вернулась в дом, отломил хлеба. Завернула в платок. Надела тапочки. Чтоб полегче. Все в доме спали. Ну и пусть спят...

Пошла к складу. Вся деревня еще спала. Только чья-то бесприютная курица топталась у лужи. Но девочки были уже в сборе. Они сидели за амбаром, на завалинке. Милочка, все три Нины, Верочка, Дуся, Маша. Все в тапочках, рваных, заношенных,—удастся ли что заработать — это еще как сказать, а тапочками придется пожертвовать.

Они оживились, завидев Анну.

— А мы думали, проспите!

Но ни Прохорова, ни обещанной подводы не было.

— Маша, ты погорластее. Беги к Василию Кузьмичу. Где же лошадь? И на конюшню. А ты, Верочка, за Прохоровым.

Всех поднять, всех собрать,— сколько уходит времени!

Пришел Прохоров, выдал мешки с кукурузой. Маша вернулась на телеге. Погрузили мешки, тронулись в поле...

Вот и участок, отведенный звену Милочки Губаревой: хорошая земля. Сама Анна отвела ее Милочке.

— Девчата!

Это Милочка обратилась к подружкам, она была заражена нетерпением Анны, ей тоже нетерпелось взяться за эту землю, хорошо подкормленную, унавоженную.

— Ох, девушки, затеяли мы с вами...— сказала Анна и не договорила: она-то знала, что они затеяли, только по молодости девчатам все как с гуся вода. Не жаль труда, хоть и труда жаль, а если не задастся — засмеют, опозорят...

Вот они — эти пятнадцать гектаров, которые никто не хотел отдать и которые Анна прямо-таки вырвала из недоверчивых поспеловских рук.

Она вздохнула.

— Ну, девчата, взялись за гуж, не говори, что не дюж. Где-то машинами сеют, а мы — руками. Один выход — сажать вручную или голодать...

Милочка засмеялась.

— Трудней, чем при немцах, не будет.

— И то!

Поставили мешки с кукурузой. Анна бросила на мешок жакетку, застучала рукава кофты.

Милочка удивилась.

— Анна Андреевна, а вы куда?

— Давайте, девчата, действовать...

Отмерила квадрат, положила в гнездо три зерна, отмерила квадрат, положила зерна...

Что тут было такого? Простое дело, незамысловатый труд. А она испытывала такое удовольствие, точно ей привалило неведомо какое счастье.

Она с детства знала эту радость. Не столько знала сама, сколько замечала у взрослых. Но только теперь она понимала, что это такое: выйти в поле весной, после долгой зимы, вонзить лемех в сырую землю, провести плугом первую борозду, отвалить первый пласт... Господи, какое это ни с чем не сравнимое наслаждение! Как она сейчас понимала отца! Все впереди, еще неизвестно — получится что или нет, неизвестно еще, каков вырастет урожай. Но — начать, врезаться в эту влажную землю...

Она все двигалась, двигалась шаг за шагом, отмеряла квадраты, опускала в землю три-четыре зерна, шла дальше.

Девчата наблюдали за ней — как она это делает, потом сами пошли отмерять и садить. Отмерять и садить. Отмерять и садить... Бог вам в помощь, девчата! Бог вам в помощь! Только бы получилось, только бы удалось...

Анна шла и шла. Постепенно ощущение удовольствия улетучивалось. Она превращалась в машину, да и в самом деле — не ждать же машин, когда-то они еще будут, а жизнь не ждет — или ты ее, или она тебя!

Кто-то из девушек запел:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

Анне вдруг захотелось заплакать, до того ошутимо где-то рядом возник Толя. Как он любил дарить ей цветы!

Отмеряй и сади, отмеряй и сади. Тяжелая работа. С вечера она не думала, что будет так тяжело. Зато зимой будет молоко. Дети будут с молоком.

В детстве Анне иногда казалось, что мать любит корову больше детей, с детьми она никогда не разговаривала так, как с коровой.

— Болезная моя, душенька, кормилица наша, матушка, золотце ты мое...

Она и пошло ей старалась получше заболтать, и сенцо посолить, и морковкой угостить иной раз. Аннушку мать не очень-то баловала морковкой, а уж с такими ласковыми словами не обращалась к дочери никогда.

Может быть, это правда, что человеку свойственно больше всего любить результаты своего труда. Невзрачная Буренка тоже была выражением материнского труда.

Ты провожала и обещала
Синий платочек беречь..

Девчата пели протяжно и жалобно.

Ничего-то ты, Аннушка, не сберегла...

Отмеряй и сади. Отмеряй и сади.

А может, сберегла?..

Интересно, тракторист испытывает такое же волнение, какое чувствовал мужик, выходя в поле с сохой? Любят ли доярки своих коров так, как мать любила Буренку?..

Девчата еще пели, но Анна уже не прислушивалась к песням. Она просто устала. Она все отмеряла и отмеряла квадраты, но было уже не в мочь...

К вечеру звено засадило четыре гектара. Больше всех одолела Милочка. Смешная девчонка, чуть ли не моложе всех, худенькая, силы в ней не видать, но в работе мало кому удастся ее обойти. Маленькая, да удаленькая.

Возвращались домой куда медленнее, чем шли в поле.

— Туговато,— призналась Милочка.

Верочка насмешливо улыбнулась.

— А как завтра?

— Неужто утремся?

Они разошлись с уважением друг к другу. Никто не упал духом, все были уверены, что и назавтра никто не раскиснет. Это чувствовалось.

Когда Анна вернулась домой, палисадник уже тонул в сумеречном полусвете. Поднялась на крыльцо. Постояла. За дверью пело радио. Она открыла дверь. Алексей сидел за столом. Он тотчас выключил репродуктор. Из-за печки вышла свекровь.

— Дети спят? — спросила Анна.

— Спят,— не сразу ответил Алексей.

— Зачем выключил радио? — спросила Анна.

— Так,— сказал он.— Надоело.

— Ужинать будем? — спросила свекровь.

— А как же? — сказала Анна.— Почему не ужинать?

— Кто тебя знает,— сказала свекровь.— Ходишь по людям. Лучше бы мужние рубахи постирала.

— Да ведь вы стираете.

— Рубашка, которую жена постирает, помягче...

Надежда Никоновна не осмелилась сказать то, что ей хотелось сказать.

Она подала картофельный суп, жареную картошку.

— Маленькую подать? — осведомилась она у сына.

Алексей вопросительно взглянул на жену.

— Как?

— С какой это стати? — возразила она.— Что за праздник?

— Как хочешь,— примирительно согласился Алексей...

Пужинали. Легли.

— Чего это тебя на кукурузу понесло? — спросил Алексей. — Ты агроном или кто? Полезла в грязи копаться. Для чего только училась? — Алексей обнял, притянул ее к себе. — Аня! Люблю я тебя все-таки...

Она отодвинулась от него.

— Да ты чего?

— Спать хочу, — сказала она. — Подвинься.

Она повернулась к мужу спиной. Поясница у нее болела, как при родах. Надсадно, тяжело, ноюще. Но ничего нельзя было поделать. Кому-то надо работать, надо самой показать пример, без этого ничего не получится.

XXV

Анна была сама не своя. Голова у нее шла кругом, точно она долго и тягостно взбиралась в гору, цеплялась за кусты, за выступы скал и, наконец, достигла перевала. Вот он: отвесный обрыв, и сияющий мир перед нею, и невысказанная крутизна, и движение вперед, и, если не можешь идти, хоть лети...

Как-то, еще в бытность в Севастополе, Толя повез жену в Ялту. Дорога долго петляла по горным склонам с низкорослыми южными лесами, вилась обок с нависшими серыми скалами. Но вот машина на мгновение замерла перед приземистыми Байдарскими воротами, рванулась вперед, и перед ними открылся ослепительный простор. Бирюзовое море, зелень садов, сказочный голубой воздух, окутанные белой дымкой поселки, безграничный солнечный мир. Точно такое ощущение было у Анны сейчас, хотя на дворе бесновался вьюжный и коварный февраль. Она переживала свой первый съезд партии.

Может быть, это звучит слишком романтично и даже наивно, но, вероятно, всякий коммунист, пришедший к партии по зову сердца, как-то особенно переживает партийный съезд, участником которого он впервые, пусть хоть и заочно, делается, став коммунистом.

Первый съезд! Молодой коммунист выбирает делегатов на районную конференцию, а может быть, и сам примет в ней участие, выбирает делегатов на областную, посылает делегатов на съезд...

Анна напряженно следила за всем, что происходило в Кремле. Она слушала все сообщения по радио, читала газеты, беседовала с людьми. Все ее интересовало, все вызывало пристальное внимание. Она не чувствовала себя неоперившейся молодой коммунисткой. Ведь ее уже три года избирали секретарем партийной организации. В партии она пятый год, срок как будто небольшой. Но если из этих пяти лет три года отвечаешь не только за себя, но за всех, кто работает рядом, если ты должна тревожиться за судьбу каждого, невольно появится ощущение, что в партии ты давным-давно, начнет казаться, что вообще не было такого времени, когда ты не был коммунистом.

Она находилась в состоянии какой-то юношеской восторженности, ей все нравилось — и речи, и ораторы, и даже риторика журналистов, которая оборачивалась для нее своей привлекательной стороной. Она воспринимала съезд как праздник, все участники представлялись ей значительными и хорошими людьми, все, что они говорили, она принимала как непререкаемые истины...

Через несколько дней ее вызвали в райком, и она получила там решения съезда, доклад Хрущева, другие материалы... В них много говорилось о преодолении культа личности Сталина. Анне сказали, что с этим документом надо ознакомить всех коммунистов и даже беспартий-

ных, чтоб всем стало понятно, как относится партия к ошибкам и недостаткам, тормозящим развитие советского общества,— они как огрехи при пахоте.

Анна слышала уже о решениях съезда, но она не представляла себе, какими серьезными, глубокими и беспощадными они окажутся.

Вернулась она в колхоз под вечер и тут же послала оповестить коммунистов о том, что назавтра назначается партийное собрание, решив, что сама она прочтет материалы вместе со всеми. Но прежде чем запечатать их в небольшой переносный сейф, стоявший в кабинете Поспелова, в котором хранились чековая книжка и наличные деньги колхоза, она все-таки раскрыла доклад и пробежала первые страницы...

Оторваться она уже не смогла. Она дочитала до половины и спохватилась. Было поздно. Она была в конторе одна, за стеной покряхтывала да охала только Полина Васильевна, старушка, работавшая в правлении и курьером и сторожихой. Тогда Анна решила взять доклад на ночь домой.

Она вышла из кабинета. Полина Васильевна притулилась на лежанке, валенки валялись на полу. Она сидела, свесив босые ноги, и вязала платок. Вязала, конечно, по чьему-нибудь заказу. Ей приносили шерсть, она и прядла ее и вязала. Маленькая, сморщенная, она с опаской поглядела на Анну: а ну как агрономша пошлет ее сейчас за кем-либо. Но бог милостив, агрономша объявила, что уходит домой.

— Иди себе, деточка, иди,— напутствовала ее Полина Васильевна.— Иди, отдыхай...

Но Анне было не до отдыха. Она торопливо дошла до дому, наскоро поужинала молоком с хлебом и не удержалась, разбудила Алексея. Показала ему тетрадь.

— Доклад.

— Тот самый?

Как был, в нижнем белье, Алексей подошел к столу.

— Дай-ка...

— Я сама еще не прочла,— сказала Анна.— Давай вместе. Ты ложись, замерзнешь раздетый. А я почитаю. С самого начала...

При чтении вслух доклад показался еще значительней. Каждое произнесенное слово становилось еще тяжелее. Все, чем Анна жила, выглядело сейчас иным, все представления о жизни менялись...

Сталин правильно начал свой путь. Партия высоко его оценила и высоко подняла. Но успехи партии вскружили ему голову. Он поверил в свою непогрешимость, стал поощрять свое возвеличивание, о себе думать больше, чем о народе, и его слова стали расходиться с делами...

Анна на секунду взглянула на мужа — не заснул ли. Нет, он лежал, подперев голову рукой, и слушал. Ему, как и ей, тоже было не до сна.

Анне вспомнились похороны Сталина. Вот почему у нее тогда было такое тягостное настроение,— подумала она. Разумеется, она ошибалась. Тягостное настроение тогда объяснялось у нее тем, что слишком многое, слишком многое за последние годы связывалось с именем Сталина. Он заслонял собой партию. Известие о его смерти вызывало испуг: как же теперь без него...

Анна опять вернулась к докладу. Но мысли уже возникали в ней параллельно чтению. Невозможно было бесстрастно читать это откровенное и мужественное обращение руководства партии ко всем коммунистам.

Как же мог так опуститься человек, вознесенный на такую высоту! Как это произошло? Почему могло произойти? Кто в этом виноват? Виноват он сам, виноваты его приспешники. В последние годы они окружали Сталина. Честные коммунисты отстранены были от дел...

В чем же дело? В чем дело? А в том, что человек — только человек, будь он хоть семи пядей во лбу. Нет ни богов, ни пророков. Величие человека, поднятого обществом на историческую высоту, в том и заключается, чтобы всегда оставаться человеком.

Анна как будто оглянулась назад. Толя, война, фронт... Сколько советских людей, сколько солдат погибло с именем Сталина на устах. Не за Сталина же они погибали! Так и не надо им было внушать, что за Сталина они идут в бой,— люди жертвовали собой ради Родины, ради счастья своей страны.

Анна подумала, что только очень сильные и очень справедливые люди способны так прямо и откровенно объяснить правду народу.

Алексей вдруг встал и сел к столу. Он не отрывал от Анны глаз. Не могло быть человека, которого не взволновал бы такой документ.

Наконец Анна дочитала. Все. Она опустила голову...

Ей вдруг вспомнились похороны Сталина. Вспомнился милицейский лейтенант. Ведь послал же кто-то его в колхоз для предупреждения беспорядков! Берия и другие приспешники Сталина хотели закрутить гайки еще круче. Но народ узнал правду. Приходит конец угодникам и восхвалителям. Берия разоблачен. Анна помнила его мрачный голос на похоронах. Слава богу, его уже нет... Но почему до сих пор находится наверху Маленков? Анна верила своему предчувствию. Все три человека, произносившие на похоронах риторические фразы, не внушали людям ничего доброго...

Не пройдет и года, как она убедится в этом. А пока что она чувствовала, как беспокойство, пронизавшее ее в день похорон Сталина, все еще не покидает ее.

Алексей встал, с шумом отодвинув стул. Выглядел он чернее ночи.

— Ты куда? — удивилась Анна.

Алексей не ответил, подошел к этажерке с книгами, потянул за корешок «Вопросы ленинизма», снял висевший над этажеркой портрет Сталина.

— В печку,— зло сказал Алексей.

— Ты в уме? Положи обратно...

— Это после того, что ты прочла? — Алексей помедлил и положил портрет и книгу на край стола.— Не понимаю тебя.

— Я и сама не понимаю, Алеша,— задумчиво произнесла Анна.— Но ведь все, что было связано с его именем... Ты ведь сам плакал...

Алексей вспыхнул.

— Вот этих слез я ему и не прошу!

— А ты думай не о себе...

Анна и вправду думала не о себе. Да и что могла она думать о себе! Тут надо было размышлять над всем. Сломаны все обычные представления. Как дальше жить? Обо всем надо было думать. Она верила только в одно. Знала. Того, что написано пером, не вырубишь тспором. После всего, что она только что узнала, у нее сумбур в душе. Но то, что ей об этом сказали, залог того, что это никогда уже, никогда уже больше не повторится.

XXVI

Станным было это собрание. Таких собраний еще не было в жизни Анны. Происходило оно в бухгалтерии, это была самая просторная комната в конторе. В партийной организации колхоза насчитывалось больше тридцати человек.

Рассаживались шумно, посмеивались, шутили, начали очень обычно.

Анна подошла к столу. На этот раз она даже не предложила выбрать председателя.

— Начнем,— сказала она.— Мы получили, товарищи, материалы Центрального Комитета. Прошу внимания. Я зачитаю их...

Она встала у стола, поднесла к глазам папку с этими материалами, так близко поднесла к глазам, точно была близорука, точно боялась пропустить хотя бы слово, и ровным, монотонным от внутреннего напряжения голосом принялась читать строку за строкой.

Собрания в колхозе всегда начинались в тишине, оно и сегодня началось в обычной тишине, но едва Анна прочла первую страницу, как изменился самый характер тишины, вежливая и до некоторой степени равнодушная тишина официального собрания сменилась сосредоточенной и напряженной, до ужаса напряженной тишиной, воцаряющейся иногда в суде при оглашении смертного приговора.

Анна все читала и читала, и никто не пошевелился, не кашлянул, не вздохнул, никто не поднялся выйти покурить, ни словом не перемолвился с соседом...

— Все,— устало сказала она, перевернув последнюю страницу.— Можно, товарищи, расходиться.

И все стали расходиться не спеша и почти без разговоров.

Поспелов подошел к Анне.

— Домой, Анна Андреевна?

Она кивнула.

— Н-да...— с хрипотцой произнес вдруг Поспелов, и до чего же выразительно было краткое это его словечко — в нем прозвучали и вздох, и осуждение, и недоумение, и никаким другим словом не смог бы он выразить всю сложную гамму чувств, заполнивших в ту минуту его душу.

Однако Анна не сказала ему ничего, что можно было сказать?

Ей хотелось остаться одной, множество мыслей навалились на нее, и, что греха таить, в голове образовалась какая-то путаница, слишком большая это нагрузка — сразу переоценить прожитые годы.

Поспелов спросил еще раз:

— Пошли, что ли, Анна Андреевна?

— Нет, Василий Кузьмич, вы идите, а я задержусь,— отозвалась Анна.— Отчет надо написать, позвонить в райком...

На самом деле ни отчета не надо было писать, ни звонить, просто ей не хотелось разговаривать.

Она всех переждала, помедлила, оделась и вышла, наконец, на крыльцо.

Досада! У перильцев кто-то стоял. Попыхивал папироской...

Выйдя со света в ночь, она не сразу распознала Жестева.

— Чего это вы, Егор Трифонович?

— Вас жду...

Ну о чем можно сейчас говорить? Ни добавить, ни убавить...

Он пошел рядом с ней неверной стариковской походкой, чуть прищаркивая валенками, вздыхая и не торопясь.

— Такие-то, брат, дела...

Анна уважала Жестева, с ним отмалчиваться она не могла.

— Трудно, Егор Трифонович...

— А чего трудно, дочка?

Он так и сказал, просто и очень по-стариковски назвав ее дочкой, и Анна почувствовала, что в эту минуту она, пожалуй, действительно больше всего нуждается в отце, в отцовском совете, в отцовском сердце, в большой и строгой, может быть даже суровой, но в большой и бескорыстной любви.

— А чего трудно? — переспросил Жестев.

На них налетел порыв ветра, пахнуло сыростью, дымом, хлебом, той предвесенней горечью, когда все впереди и — ничего не знаешь. Что-то будет, а что, что...

— Как вам сказать...— неуверенно начала Анна.— Вот ведь как! Складывается о человеке мнение, и вдруг человек этот — вовсе не тот, каким он тебе представлялся...

— Нет...— Ей показалось, что Жестев отрицательно покачал головой.— Нет, Анна Андреевна! Тут дело не в человеке.

Анна не очень-то поняла, что хотел сказать этим Жестев, но все говорило о том, что Жестев придает решениям ЦК какое-то такое значение, какого или не уловила, или недопоняла еще Анна.

— Я что-то недопонимаю вас...

— Да нет, все понятно.

— Как же все-таки этот человек виноват перед партией!

— Да нет, все мы виноваты.

— А мы чем виноваты?

Жестев не ответил.

Некоторое время шли молча. Потом остановились перед чьим-то палисадником. За заборчиком из штакетника тонули в сугробах низкорослые кусты.

В глубине темнела изба. Ни одно окно не светилось.

Жестев указал на скамейку.

— Посидим?

— Простудитесь.

— Теперь меня никакая хворь не возьмет...

Сел, и Анне пришлось сесть.

Вдоль улицы гулял ветерок, заползал в рукава. Анна вздрогнула, передернула зябко плечами.

— Вот, Аннушка, такие-то, брат, дела,— опять сказал Жестев.

— Знобко,— пробормотала Анна.— Простудимся мы с вами...

— Не простудимся,— сказал Жестев.— Тебе понятно — что произошло?

— Я и говорю — какой ужас...

— Да не в ужасе дело... Эпоха ломается. Столько лет тянули проселком. Двигались, конечно, вперед, но могли бы по большаку...

Анна вдруг осмелела.

— А вы думаете — теперь...

— Думаю,— строго произнес Жестев.— Если бы все перерешалось только наверху, пусть правильно даже перерешалось, можно бы вновь сбиться с колеи. А тут — народ вмешали. Доверие! Может, кто и возгордится, но во второй раз народ уже не собьешь.

Он словно прислушался к чему-то, где-то словно клубились какие-то голоса, ветер где-то словно потряхивал бубенцами, с легким щелканьем лопался на лужах ледок, весна бродила округ даже ночью.

— Правильно я тогда ушел, не поднять бы мне все это...

Анна не спорила.

— Да и тебе все не поднять...

Анна и с этим была согласна.

— Но поднимать надо. Старики привычны к неправде, это молодежи неправда поперек...

— Да ведь и нет как будто большой неправды?

— А ее не бывает — большой или небольшой. Она, как снежный ком...

Жестев опять прислушался к каким-то далеким и непонятым звукам.

— Хоронили его не три года назад, сегодня его хоронили...— Он вытянул руку, пальцем показал на что-то впереди себя.— И долго еще бу-

дем хоронить, долгие будут похороны...— Жестев взялся обеими руками за скамейку, точно хотел поднять ее вместе с собой.— Для чего я тебя позвал? Чтоб не поддавалась. Никому не поддавайся...

Он так же легко встал, как и сел.

— Ты иди,— сказал он, притрагиваясь к ее рукаву.— Хотелось мне поделиться. А действовать будешь сама. Всего натерпишься...

— Ну спасибо,— сказала Анна.— Будет мне за опоздание!

— Не бойся,— сказал Жестев.— Бойся только того, что держит человека на месте.

Он легонько подтолкнул Анну. Она побежала. Стремительной девической походкой побежала домой. Жестев поглядел ей вслед, вздохнул и тоже пошел к дому, похрустывая ломающимся ледком.

XXVII

На току с утра до вечера сортировали зерно. Ток был просторный, крытый, летом на нем танцы можно было устраивать, такой это был ладный ток. Василий Кузьмич не хотел ставить навес. Анна поспорила с ним на правлении. Она уже научилась припирать Пospelова к стенке. «Дальше так работать я не могу...» И все. А что значила работа Гончаровой в колхозе, знали все. Она делала вид, что капризничает, и Пospelов — в который раз! — «создавал условия». Не для колхоза, для Гончаровой. Он побаивался ее, побаивался ее напористости, с ней считались в районе. Слава богу, что Гончарова не думала о себе.

Пospelов не очень одобрял затею заново пересортировать все зерно. Ни к чему это,— твердил он.— Отсеемся и так. Только людей занимать...— Пospelов работал ни шатко, ни валко, Гончарова не жалела ни людей, ни себя. Почему-то ей хотелось обязательно быть впереди всех. Так ее понимал Пospelов. Но колхозники соглашались с агрономшей. Видели, куда она их тянет. Они теперь были не только сыты. Понакупили кроватей с бомбошками. Девчата шелковые платья шьют...

— Нам жемчуг, жемчуг нужен,— приговаривала Анна, взвешивая зерно на ладони.— Чтоб из каждого семечка пышка выросла!

Весна щебетала уже на дворе. Еще все было под снегом, а неуловимые признаки весны тревожили добрых хозяев. Безбожно суетились воробьи. Вздыхал по ночам снег. Ни с того ни с сего тревожно мычали коровы. Надо было торопиться. Надо было торопиться...

Сортировка работала два дня. Потом сломался шатун. Поставили новый. Опять сломался. Третий. Опять...

— Перекос,— решила Анна.

— Не может быть,— возразил Кудрявцев.

Кудрявцев пришел в колхоз из МТС. Работал там и шофером и трактористом. В МТС его хвалили, и он сам набивал себе цену. Пospelову он понравился своей дерзостью, размахистостью, может быть, даже нахальством. Правление назначило его бригадиром тракторной бригады. Анна не спорила. Она не боялась новых людей. Работал он неплохо, но уж чересчур был уверен в себе.

Так и сегодня.

— Перекос!

— Не может быть.

Они заспорили. Оба полезли под сортировку. Кудрявцев снова сменил шатун. Пустили сортировку. Посыпалось вниз зерно. И опять...

— Перекос!

— Шатуны никуда не годятся.

Опять полезли под сортировку. Легли оба на спины, заспорили — есть перекос или нет.

— Чего вы там спорите? Кончайте!

Голос доносился точно издалека. Анна не могла разобрать, чей голос. Кто-то постукал сапогом о сапог Анны. Довольно бесцеремонно. Анна даже рассердилась. Перевернулась на живот, полезла обратно, заторопилась, зацепилась спиной, располосовала фуфайку. Только этого не хватало!

Вылезла, повернулась, встала... Батюшки, Тарабрин!

— Иван Степанович!.. Извините... Какими судьбами?

Рядом с Тарабриным стояла женщина в дорогом пальто, в меховой шапочке, с коричневым новым портфелем. Губы чуть подкрашены. Глаза остренькие...

Тарабрин смеялся. Сразу видно, что в хорошем настроении. Против обыкновения. Обычно он приезжал накачивать, разносить, поправлять. А тут веселый. Стоит перед Анной и смеется.

— Приехал к вам собрание проводить. Вашему колхозу выпала честь выдвинуть депутата в областной Совет.

Анна сразу догадалась. Выдвигать в депутаты будут эту самую женщину. Для того ее Тарабрин и привез. Кто она? Учительница? Врач? Впрочем, не так важно. Райком знает, кого выдвигать.

От Анны требовалось только созвать собрание. Мазиловцев недолго собрать, труднее с Кузовлевым.

— А как с Кузовлевым?

— Пошлите машину, на лошадях привезите людей. Часа два подождем.

За два часа, конечно, можно организовать собрание. В клубе было полно. Красный уголок с год как уже перестроили. Расширили зал, увеличили библиотеку, пристроили еще несколько комнат. Клуб получился не хуже, чем у людей. И все-таки, когда появились кузовлевцы, пришлось освобождать места, потеснить подростков из зала.

Перед открытием Анна наклонилась к Тарабрину:

— Иван Степанович, как фамилия этого товарища?

Незнакомка в меховой шапочке сидела с краю, в третьем ряду.

— А вам на что?

— Да в президиум...

— Не надо ее в президиум, — сказал Тарабрин. — Это корреспондент. Из областной газеты. Она будет писать о собрании.

Анна ошиблась. Кого же тогда? Может, самого Тарабрина?

Она открыла собрание. Рядом сидел Пospelов. Почему-то он усмехался. Анна вопросительно на него посмотрела. Потом на Тарабрина. Обыкновенно она первая называла кандидатуру. А сегодня ей некого назвать.

— Кто же первым? — шепотом спросила Тарабрина.

— Ведите, ведите собрание... — Он прямо-таки подгонял ее. — Спрашивайте.

Анна даже растерялась.

— Кто хочет? — громко обратилась она в зал. — Кто желает выступить?

Слово попросила Мосолкина.

Она неторопливо подошла к сцене, поднялась на трибуну, поправила на шее косынку, взглянула на Анну, тоже ей улыбнулась и уж затем повернулась к собранию.

— Нашему колхозу выпала честь выдвинуть депутата в областной Совет, и я лично выдвигаю кандидатуру нашего агронома — Анны Андреевны Гончаровой...

Уже на секунду раньше Анна знала, что скажет Мосолкина. Вот почему ей никто ничего не говорил. Вот почему улыбались...

Ее всю заколотило. Да что же это? Сердце остановилось и опять за-

стучало. Так, что непременно должно было выпрыгнуть из груди. Почему ее? Почему ее?

Она уже не могла вести собрание, и в президиуме это понимали. Председательствовал теперь Пospelов. Один за другим выступали знакомые люди — бригадиры, трактористы, доярки — и хвалили Анну...

Анна почувствовала, что она сейчас разревется... Закусила губу. Что, собственно, такого она сделала? Работала? Работала, как и все...

Пожалуй, после съезда партии она особенно отчетливо поняла, что ее сила в работе. Ее сила, сила всех этих людей, всего колхоза. Сила каждого человека в работе. Когда это все поймут, наступит коммунизм.

Анну хвалили, а ее трясло. Бросало то в жар, то в холод. Если ее заставят говорить, она не сможет.

Тарабрин придвинулся к ней.

— Анна Андреевна, успокойтесь. Неужели это вас так разволновало? Возьмите себя в руки...

Очередь дошла до нее. Пospelов предоставил ей слово.

Анна выступила очень спокойно. Внутри все клокотало, но она не позволила себе распуститься. Поблагодарила за доверие. За честь. Сказала, что постарается оправдать доверие...

После собрания к ней подошла сотрудница областной газеты. Она и ей ответила на вопросы. Ровно столько, сколько нужно. Училась в Пронске, была на фронте, работала в райсельхозотделе...

Сотрудница требовала подробностей. Каких-нибудь интересных деталей. Фактов. В чем проявился характер. Каких-нибудь эпизодов из фронтовой жизни...

— А у меня не было эпизодов,— виновато призналась Анна.— Была ранена. Не особенно тяжело. Потом демобилизовали. А в общем — все, как у всех. Не знаю даже, на чем остановиться...

Корреспондентка была не очень довольна.

Милочка Губарева проводила Анну до дому.

— Вы довольны, Анна Андреевна?

— Чем?

— Ну тем, что вас выберут.

— Не знаю. Конечно, на душе у меня хорошо. Но ведь надо справиться...

— Вы-то справитесь,— уверенно заявила Милочка.— Помните, как кукурузу садили? Никто и не думал, если по-честному сказать...

Ради одной Милочки Анна обязана была справиться!

Она вошла в дом. Коля и Ниночка играли. Женя читала. Алексей слушал радио.

Анна тронула мужа за плечо.

— Ты не был на собрании?

— А чего я там не видал?

Анна не сдержала упрека:

— Ты ведь коммунист!

— Но не формалист. Ты секретарь, а я пешка...— Он тут же сделал уступку: — Мой голос обеспечен... Кого ж на этот раз выдвинули?

— А если меня?

В ее голосе прозвучала гордость.

Алексей знал, Анна не будет шутить, однако ничем не выразил удивления.

— Что ж, поздравляю,— равнодушно сказал он.

— Ты не рад?

— А чему радоваться? Я тебя и сейчас мало вижу, а тогда...

Но больше он ничего не сказал. Отвернулся к стене и принялся рассматривать обои.

О чем она могла с ним говорить?

Весь вечер они играли в молчанку...

Легли спать дети, потом Алексей. Анна сидела на кухне одна. На душе было смутно, она положила голову на руки, задумалась и вдруг почувствовала, как ее обнимают теплые худенькие руки.

— Женечка...

Девочка стояла возле матери, кутаясь в ее шерстяной пушистый платок.

— Ты что?

Дочь вдруг приникла к Анне и тихо заплакала.

— Уедем, мамочка, уедем...

— Куда, доченька?

— Куда хочешь. Только я не останусь здесь...

Анна притянула Женю к себе, усадила на колени, принялась утешать.

— Куда ж мы с тобой поедем? У меня работа. Тебе надо учиться...— Она гладила Женю по волосам.— Ты кем хочешь быть?

— Не знаю...

— А все-таки?

— Учительницей. Хочу, чтоб всем ребятам жилось хорошо...

— А разве тебе плохо со мной?— Анну вдруг озарило.— Хочешь учиться в техникуме? В педагогическом техникуме? Кончишь весной семилетку и поступишь. Сама отвезу тебя в Пронск. Теперь я часто буду бывать в Пронске. На сессиях, по делам...

Женя согласилась без уговоров.

— Хочу...

— Чего хочешь-то?

— В Пронск. Хочу в Пронск. В техникум. Только ты приезжай...

Они заговорили о Пронске. Анна принялась рассказывать, как училась сама. Как было ей хорошо в Пронске...

Они строили планы и утешали друг друга — будущий депутат и будущая учительница. Девочка успокоилась, задремала. Анна довела ее до кровати, уложила, прилегла рядом, подождала, пока дочь заснет. А потом сунула голову под подушку и так, чтоб никто не услышал, горько, по-бабьи, заплакала.

XXVIII

Странное у нее появилось ощущение. Она была и та и не та. Все та же Анна Андреевна Гончарова и все-таки уже не та. Раньше она жила сама по себе, представляла всюду самое себя — и точка. А теперь она ответственна перед тысячами людей, пославшими ее в областной Совет. Она словно вобрала в себя все их стремления и надежды.

Она приехала в Пронск за день до открытия сессии. Быстро оформила все дела, зарегистрировалась, получила удостоверение. У нее была бездна времени. Она могла и ходить по городу, и отдыхать, и смотреть, что захочется...

Куда только делся разрушенный, полусожженный Пронск, каким был он десять лет назад! Никаких следов недавних разрушений. Большой, красивый, старинный город. Просторные улицы, многоэтажные дома, нарядные магазины...

Только я сама вряд ли стала лучше, — подумала Анна. — Десять лет! Уже десять лет, как я вернулась в Пронск. — Она бродила по улицам, повсюду звенели молодые голоса. — А я уже старуха, — думала Анна. Она поправилась. Мысленно поправила себя: — Почти старуха. Тридцать четвертый год... А ничего в общем не сделано. Ни в работе нечем похвастать, ни дома. Трое ребят это, конечно, трое ребят, но какими-то

еще они вырастут? В колхозе тоже сложно. Как с детьми. Растет, крепнет, но еще далеко до того, когда все будут всем довольны и всем обеспечены...

Алексей неохотно проводил ее в Пронск. Не отпустить не мог, но отпустить неохотно. Как бы хорошо пройти сейчас... С кем? С Алексеем? С Толей бы хорошо пройти. Сперва по Советской, потом по проспекту Ленина. Нет, нет! Толи нет, и нечего о нем вспоминать.

А ведь когда-то и она была молодой, бегала по этим улицам, жила весело, беззаботно, бездумно. Ей уже тридцать четвертый. Она — главный агроном колхоза, секретарь партийной организации, депутат областного Совета. У нее муж, трое детей. А ей почему-то хочется, чтобы кто-нибудь пригласил ее в кино, угостил мороженым. Вино она не любит, но сейчас, кажется, выпила бы даже рюмку вина. Хочется почему-то смеяться, смотреть кому-то в глаза...

Спать, спать! Самое разумное. Завтра она уже будет та, да не та, завтра она уже лицо официальное.

Трое суток провела Анна в Пронске. Вместе с ней приехали Тарабрин, Жуков, председатель райисполкома, и другие депутаты, но все они как-то быстро от нее отделились. У всех были свои дела. Анна осталась одна. Никто, кажется, ею не интересовался. Зато сама она интересовалась всем. Первые сутки она провела сама по себе, двое суток — на сессии.

С большим интересом слушала она выступление Кострова...

Первый секретарь областного комитета партии. Большой человек! Она его видела впервые.

Она с любопытством всматривалась в оратора. Плотный, тяжелый какой-то человек. Землистый цвет лица, отеки глаза. А держится очень просто. Костюм на нем сидел мешком, ему больше пошел бы китель. Работы у него — на сто Гончаровых хватит. Таким людям нельзя болеть. Но в общем было в нем что-то симпатичное.

Костров говорил о состоянии промышленности в области. О сельском хозяйстве. О сентябрьском Пленуме. Приводил много фактов, называл имена. Критика его была строгой и убедительной.

Особенно беспокоило Анну, что скажет он о сельском хозяйстве. Костров говорил о необходимости крутого подъема. Плохо используется техника. Не хватает кадров. Низка оплата трудодня...

Все было справедливо. Костров говорил о запущенности животноводства. Он действительно знал, что делается в отдельных колхозах. Где плох уход за скотом. Где падеж. Где низки удои. Все было верно...

Но что делать? Что делать? Вот чего ждала Анна. Что посоветует...

Он сказал. Создавать кормовую базу. Все зависит от кормов...

И это было правильно. Скот, конечно, надо обеспечить кормами.

В перерыве она встретила с Волковым. Теперь он был уже начальником областного управления сельским хозяйством. Все такой же. Вежлив, приветлив, радушен. Все так же вились над лбом русые волосы, похоже, несколько не постарел.

Волков первый ее увидел, схватил за руку.

— Анна Андреевна! Сколько лет, сколько зим... Не забыли?

Анна обрадовалась. Все-таки знакомый человек.

— Как можно вас забыть...

Волков засмеялся.

— Я теперь в колхозе.

— Знаю, знаю. Лицом к производству, так сказать. Как там у вас?

— Приезжайте, посмотрите.

— Приеду. Обязательно. Тем более у меня виды на ваш район.

— Ну, в районе я малая птица. Вот в колхозе...

Волков опять захохотал.

— А в колхозе — орел?

— Орел не орел, а депутатом, как видите, выбрали.

На этот раз Волков лишь деликатно улыбнулся.

— Ну, сие от колхозников не зависит. Значит, пользуетесь авторитетом у начальства.

Он повел Анну в буфет. Мягко и властно подхватил за руку и увлек за собой. Усадил за столик, принес лимонада, яблок, пирожных.

— Угощайтесь!

Он с таким смаком вонзил в яблоко ровные белые зубы, с таким аппетитом откусывал кусок за куском, что Анна, хоть и стеснялась, тоже взяла яблоко, и оно показалось таким вкусным, как были вкусны ей яблоки только когда-то в Крыму.

Ей было приятно. даже интересно разговаривать с Волковым, но она не вполне его понимала, одного он не договаривал, на другое намекал. она чувствовала: интересуется он всем, но ни о чем прямо не спрашивает и ни на что прямо не отвечает.

Неожиданно он задал ей вполне откровенный вопрос:

— Районный отдел не хотите возглавить?

Анна удивилась.

— Позвольте, а Богаткин?

Волков пренебрежительно повел плечом.

— Человек бесперспективный, а вы уже депутат...

Он грыз яблоки одно за другим, как кролик капусту.

— Как вам выступление Кострова?

— Понравилось,— искренне призналась Анна.— Очень обстоятельно. У нас на фермах тоже еще неважно, и, конечно, все дело в кормах.

Лукавая искорка загорелась в глазах Волкова.

— Ну, и как же у вас с кормами?

— Да вот сеем травы, расширять будем посевы. Клевер, люпин... Волков прищурился.

— Усвоили, значит, совет?

— Какой совет?

— Да относительно кормов.

— А разве неправильно, что все дело в кормах?

— Нет, правильно...— В глазах Волкова вдруг появилась злость.—

А что он конкретного сказал, ваш Костров? Чтобы иметь мясо и молоко, корову надо кормить? Это еще при царе Горохе знали.— Волков засмеялся.— Люпин!..

— А чем плох люпин?

— Клеверок?..

Анна растерянно посмотрела на Волкова.

— А вы думали над своей землей? — саркастически продолжал он.—

Носом в эту землю тыркались?

Теперь уже рассердилась Анна.

— А вы тыркались?

Волков скривил губы.

— Носом не вышел. Я ведь подруководящий товарищ. Вот когда окажусь в колхозе, тогда попробую. А здесь мне товарищ Костров не позволит.

— Как не позволит?

— Очень просто. Раньше в доходных имениях, я имею в виду проклятое царское время, помещик там или агроном сеяли то, что считали наиболее выгодным. У некоторых, правда, не получалось, прогорали.

— Но у нас-то ведь нельзя прогорать?

— Можно! Прогорел — отними партбилет, диплом, отправь в дворники. Поверьте, не стали бы сеять то, что невыгодно. Люди себе на погибель не работают. А у нас позволяют плохо работать...

— Как позволяют?

— А тем, что ничего не позволяют. Действуй по инструкции, по указаниям центра. Костров мне ничего не позволит, а ему, думаете, позволяют? За всех министр думает, первый пахарь в стране! Хоровая декламация, вот как мы работаем. Увлёкся министр Вильямсом, мы Вильямсу молимся, Мацкевич в моде — не смей Мацкевича критиковать... — Волков отшвырнул огрызок яблока, точно под ногами у него был не паркет, а земля. — А я хочу, простите меня, жить своим, понимаете, своим, хоть задрипанным, но своим умом!

Боже мой, куда девался всегда такой добродушный, спокойный Волков! Даже губы его побелели от злости. Перед Анной появился новый, не знакомый ей человек. Оказывается, не так просто рассмотреть человека. Какой же он... Но он был уже такой, как всегда. Милый, улыбающийся Волков. Готовый всем помочь и со всеми согласиться.

— Все это шуточки, Анна Андреевна, люпин, клеверок, травка, — примирительно произнес он. — А в конечном итоге кормить будем безрезкой.

— Березкой?

— Березовыми вениками. — Волков с веселым состраданием смотрел Анне в глаза. — Говоря между нами, положи, так сказать, руку на сердце, признайтесь, Анна Андреевна, сколько веников заготовили вы в колхозе?

— Да вы что — смеетесь? — Анна смотрела прямо в глаза Волкову. — Ни одного.

В глазах Волкова проскользнуло удивление.

— Ну, счастлив ваш бог, значит, вас не зря выбрали депутатом. Зато уж у соседей ваших, будьте уверены, вениками набит не один сарай! — Он встал из-за стола. — Однако пора. Слышите, звонят. Пойдемте, послушаем, какую нам еще отвалят речугу.

В зале во время заседания Анна вдруг поймала себя на том, что внимает теперь ораторам иначе, чем до разговора с Волковым. Костров правильно рассуждал, критика его доказательна, но что почерпнула она из его речи для себя? То, что коров надо обеспечить кормами? Для того, чтобы сказать это, не надо быть секретарем обкома.

Эх, подумала Анна, вместо всех этих выступлений, где одни перечисляют, что у них хорошо, а другие, что у них плохо, прочли бы им, приехавшим из деревни депутатам, хорошую лекцию, да не вообще лекцию, а заставили бы какого-нибудь академика или профессора пожить в Пронске, заставили бы его подробно разобраться, что и как лучше сеять на скупой и неподатливой пронской земле...

Кострову бы не советы давать, как доить и пахать, а найти бы людей, которые смогут эти рекомендации и научно и практически обосновать, тогда Костров во сто раз больше принес бы пользы прончанам.

Если в начале сессии Анна больше слушала, в конце ее она уже больше думала...

Она еле успела забежать перед отъездом в магазины — билеты на проезд приобретены были сурожцами заранее — купить детям игрушек, конфет и золотистых медовых пряников, которые она всегда привозила из Пронска.

В Сурожье ее ждала машина, присланная Пospelовым. Колхоз недавно приобрел газик. В обед она была уже дома.

Дети, разумеется, ждали гостей...

Алексей тоже сидел дома. Вид у него был обиженный, как у именинника, который наперед уверен в том, что не получит заслуженного подарка.

Анна вошла.

— Ну, здравствуйте, — сказала она.

Младшие бросились к матери, полезли разворачивать свертки. Женья подошла и только поцеловала мать, она была сдержанной девочкой.

Анна раздала подарки: Коле — автомобиль, девочкам — ленты, нитки для вышивания, книжки.

Из кухни выглянула свекровь.

— Обедать будешь?

Это была ее обычная манера — разговаривать через порог.

— Нет, мама, спасибо, я ела на вокзале...

Алексей ничего не говорил, даже не поздоровался.

— А ну! — вдруг прикрикнул он на детей. — Идите к бабушке...

Они заторопились прочь, Анна тут только заметила, что Алексей выпивши.

— Ну что, нагулялась? — насмешливо спросил он.

— Я не гуляла, — миролюбиво ответила Анна. — Ты же знаешь...

— Ах да, ты у нас депутат, — язвительно изрек Алексей. — А по ночам ты тоже с кем-нибудь заседала?

Он встал и пошел было на нее. Анна вытянула руки, она не позволит себя ударить. Но Алексей так же внезапно повернулся и твердыми шагами пошел прочь из комнаты.

XXIX

Алексей пропал на всю ночь. Анна была даже рада этому. Пусть придет в себя, одумается, да и сама она отдохнет с дороги.

Спала она тревожно. За окном начиналась весна. Смутные запахи бродили по-над землей. Они проникали сквозь щели в рамах, сквозь пазы в стенах, тревожили и мешали спать. Весна, весна... Скоро уже не поспишь вдосталь!

Вернулся Алексей утром. По тяжелым его шагам в сенях Анна поняла: пьян. В этот год, в такой большой год для Анны, он все чаще и чаще прикладывался к рюмочке.

Анна поймала взгляд мужа. Господи, да что же это такое? Настороженный враждебный взгляд...

— Ты на работу собираешься? — как ни в чем не бывало спросила Анна.

— А к-корова подоена? — неожиданно спросил он.

— Вероятно, мать подоила.

— А при... при чем тут мать? Ты мне кто — жена или не жена...

— Ложись и проспись, — спокойно сказала Анна.

Она опять поймала его взгляд. Станный взгляд — встревоженный и завистливый.

— Желаю, чтоб ты находилась при мне. Желаю, чтоб ты сама ходила за моей коровой. Какое ты мне принесла приданое? Женьку?..

Анна выбежала из дому. Выбежала, как была, в выходных туфлях, лишь на ходу схватила и на крыльце накинула на плечи расхожую свою шубейку из черного, потертого во многих местах плюша. Не оглядываясь, бежала она по улице, мимо изб, равнодушно глядевших на нее тусклыми темными окнами. Неудобно было бежать так, напроць, от мужа, но где-то мелькнула и успокоила мысль — если кто и увидит, обязательно подумает, что ее вызвали в правление, что из района требуют ее к телефону.

Бежать от мужа было бы стыдно, а к телефону бежать полагалось, начальство не должно ждать.

Не добежав до правления, Анна сдержала себя, пошла спокойнее, как будто и впрямь шла по делу.

— Ах ты...— приговаривала она, ничего больше не произнося и, кажется, даже не думая.— А-ах ты...

Она миновала кособокий, низкий овин, прошла огороды, припорошенные серым пористым снежком, ступила на черную узкую тропку и напрямик пошла в поле.

Все было пусто — и поле, и небо, и сама жизнь впереди была пустее пустого. Небо было уже весеннее, но какое-то блеклое, выцветшее, как простыня из бязи, слабо покрашенная синькой, и земля какая-то мутная, светло-бурая, покрытая серыми пятнами нестаявшего снега.

Анна шла, не оглядываясь, увязая в земле и не замечая, как увязает, все вперед и вперед, точно хотела уйти в небо, а небо все отступало и отступало перед ней, и земля никак не отпускала от себя...

— Все,— говорила она себе.— Все. Уйду, уеду.

Она не знала, куда уйдет, не отдавала себе в этом отчета, но уйти было необходимо. Все эти упреки, оскорбления, это унижительное пьянство невыносимы...

Вся она сейчас была стремление, порыв, движение к чему-то иному, что должно предстать перед ней в следующее мгновение, как только она дойдет вон до той точки, поросшей летошней рыжей травой, вон до того поломанного куста репейника, вон до той вешки, сунутой кем-то в землю...

Она шла, шла и вдруг почувствовала, как ее кто-то схватил за ноги, схватил и не отпускает, держит так, точно она приросла к земле.

Не она остановилась, какая-то сила помимо ее воли остановила ее. Она наклонила голову — земля так облепила ее ноги, что туфель не было видно — два огромных черных комка как бы слившихся со всем полем. Земля не пускала ее дальше.

Ох, да что же это она наделала? Туфли совсем пропадут! Хорошо еще, что узкие, а то и потерять можно...

Она наклонилась, хотела рукою обчистить грязь и тут же забыла про туфли. Взяла ком земли, поднесла поближе к глазам.

Земля еще совсем влажная, вязкая, совсем еще неподатливая, не созревшая еще, от нее пахло сыростью, прелью и еще чем-то резким и нестерпимо родным... Анна, неожиданно для самой себя, прижалась вдруг щекой к грязному, мокрому и липкому этому комку...

Ей сразу стало легко и свежо от холодного этого прикосновения.

Ну, куда она уйдет от этой земли? Куда уйдет от Женечки, от Нины и Коли? Зачем ей уводить детей от этой земли? Да пропади он пропадом,— подумала она о муже, пусть лучше сам уходит, если не одумается...

Земля быстро подсыхала у нее на ладони. Анна неторопливо раскрыла ее в руке, помедлила и свободно и плавно отбросила от себя.

Вернувшись к огородам, она обчистилась, как могла. Не спеша прошла по деревне. Встретила по пути несколько человек, со всеми поздоровалась, но не задержалась ни с кем, всем было заметно, что Анна Андреевна торопится — мало ли у агронома весной дел!

Дошла до дому, поднялась на крыльцо, уверенно распахнула дверь, переступила через порог.

Алексей валялся посреди прихожей. Должно быть, добавил еще, потому что был не настолько пьян, когда она уходила.

Анна заглянула на кухню. Свекровь сидела на скамейке, настороженно поглядывая на невестку.

— Мама, пойдите-ка,— позвала Анна свекровь.— Помогите уложить Алексея.

— А ну вас,— ответила свекровь.— Я в ваши дела не мешаюсь.

— Как знаете,— сказала Анна.— Мне он муж, а вам сын.

Она взяла мужа под мышки, втянула в горницу, подтащила к кровати. С трудом подняла, уложила, прикрыла одеялом, отошла к окну.

Да,— подумала она,— пусть сам уходит, а я никуда не уйду.

Она поглядела в окно. Посреди улицы, осторожно, чтоб не запачкать сапоги, шел Прохоров. Сапоги на нем были праздничные, хромовые. Небось опять собрался с Пospelовым куда-нибудь по делам. Анна сунула руку меж глянцевого листьев фикуса и застучала по стеклу.

Прохоров не слышал. Она пробежала по горнице и выскочила на крыльцо.

— Тихон Петрович, Тихон Петрович! — позвала она.— Больше коням овса не отпускай! Запрещаю! А то как бы нам не просчитаться...

Последний снег вот-вот должен сойти, сев у нее не за горами.

Ни с чем и ни с кем не хочет она мириться...

С Пospelовым говорить тоже иногда бесполезно. Его не переучишь. Вот приблизился сев. Теперь он начнет ездить. По полям. Обозревать поля, как помещик. В Сурож и обратно. Будет каждодневно докладывать в райком сводку. И если запоздает хоть на час, из райкома позвонят: что случилось?

Анне даже смешно стало. Она представила себе, что бы было, если бы в старые дореволюционные времена управляющий каким-нибудь большим имением принялся ежедневно докладывать помещику, как у него идет сев. Вдруг из Суροжа полетели бы в Пронск телеграммы. Пятьсот гектаров! Тысяча! Две! Три! Наверно, помещик подумал бы, что управляющий сошел с ума. Конечно, времена были другие, тут не о сравнении идет речь. Но и так нельзя — не доверять совсем!.. Может быть, самый большой вред, какой нанес Сталин советским людям, это утрата доверия друг другу...

Спустя несколько дней, вернувшись с работы, Алексей сам подошел к Анне.

— Анечка, я был пьян, погорячился...

Он просил, был ласков, как когда-то в первые дни. И она позволила ему поцеловать себя в шею.

Много было тому причин. Дети. Прежде всего дети. Нина и Коля. Устоявшийся быт, привычка, семья. Общественное мнение тоже имело значение. Если она прогонит Алексея, все осудят ее. Чего стоит жена, которая не прощает своему мужу!

На самом деле она прощала Алексею не потому. Где-то в самой глубине сердца ее все-таки трогало, что Алексей ревнует. Ревнует, значит, любит. Ревность всегда вызывает подозрения. Значит, любит. А ей так хочется, чтоб ее любили...

В семье Анны вновь воцарился мир.

XXX

На лугу за фермой силосовали сено.

Анна туда собралась с утра.

— Женя, пойдешь со мной?

Женя кончила весной семилетку, осенью собиралась в Пронск, поступать в педагогический техникум. При мысли об этом у Анны сжималось сердце. Почему-то становилось жаль и Женечку и себя. В это лето она старалась как можно больше времени проводить с Женей.

В цветастых ситцевых платьях, в одинаковых легких тапочках, мать и дочь походили на двух сестер. Они и взялись, как подружки, за руки и вместе зашагали огородами к ферме.

На лугу работали преимущественно женщины и девчата. Было хоть и жарко, но весело. Анна подошла, поздоровалась, хозяйским взглядом окинула луг. В этом году решено было закладывать силос не в траншеях, а буртами. Такой способ требовал меньше труда и, как говорили, не ухудшал качества силоса. Грузовик подвозил скошенную траву, клевер, люцерну. Жужжал привод, тархтела силосорезка. Бурт закладывали так, как она говорила: слой травы — слой клевера. Присыпали солью, смачивали, трамбовали, и снова: слой травы — слой клевера.

Анне ужасно захотелось стать рядом со всеми, вместе со всеми подносить траву, укладывать ее, ровнять... Она взяла у кого-то вилы, подцепила охапку клевера, еще, еще... Клевера было маловато. Она подозвала Федю Ярцева, работавшего на машине.

— Федя, поезжай к Кучерову. Подбавим-ка еще кукурузы. Скажи, чтоб косили клин, что за ветлами. Кучеров знает. Да пусть не тянут. Скажи, я велела...— Она повернулась к женщинам.— Не жалейте, девчата, клеверу. Сейчас нам подбросят...

Женя тоже разравнивала клевер в бурте. Анна и не заметила, как выросла ее дочь. Совсем взрослая. Еще несколько лет, подумала Анна, и у нее уже внуки...

Со стороны Мазилова появился газик. Анна знала, кто это. Кучеров не осмелится с нею спорить, но обязательно перестрахуется. Он, конечно, тут же сигнализировал Пospelову, и Василий Кузьмич мчит теперь к ней: выяснять, уточнять, и — на всякий случай: «я предупреждал, но Анна Андреевна взяла ответственность на себя».

Газик замер у бурта. Пospelов даже не вылез.

— Анна Андреевна, на минутку!

Она подошла с подоткнутой юбкой, с травой в волосах.

— Не рано, Анна Андреевна?

— Я беру ответственность на себя, Василий Кузьмич.

— Тогда я обратно, а то я сказал подождать, пока не спрошу...

Только Пospelов отъехал, из-за леса появилась еще машина, на этот раз «победа». Начальство! Должно быть, Пospelов тоже ее приметил, потому что газик его повернул обратно.

«Победа» на луг не въехала, стала на дороге, какой-то плотный мужчина пешком шел через луг.

— Бог в помощь! — прокричал он еще издали.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох, — ответила ему Дуся Красавина. — С нами в сене спать!

— Силосуете?

— Да нет, языки чешем!

Но Пospelов уже обогнал приезжего, выпрыгнул навстречу ему.

— Товарищу Волкову!

Да, это был начальник облсельхозуправления своею собственною персоной.

— К нам, Геннадий Павлович?

— Проездом.

Волков подошел к бурту, взял у одной из женщин вилы, наклонился, поддел край.

— Бедновато!

Пospelов обернулся.

— Анна Андреевна, слышите?

Анна застеснялась Волкова — очень уж у нее был неавантажный вид, но делать было нечего.

— Здравствуйте, Геннадий Павлович.

— Анна Андреевна... Честь имею!

Волков указал на бурт.

— Не бедновато?

— Я уже распорядилась подкосить кукурузы, добавим, в самый раз будет.

— А не рано?

Поспелов всплеснул руками.

— Вот и я говорю!

— Нет, Геннадий Павлович, можно косить,— твердо возразила Анна.

— Смотрите...

— А вы к нам?

Он отрицательно покачал головой.

— В Давыдове был. В совхозе. Но по случаю встречи задержусь. Обедом накормите?

Поспелов был солидный человек, самостоятельный, умный, угодливостью, думалось Анне, не болел, но его лицо выразило такую готовность накормить Волкова, что Анне стало досадно.

— Накормлю, конечно,— сказала Анна.— Если не побрезгуете.

— Нет, нет, у меня, у меня,— перебил ее Василий Кузьмич.— Поеду, распоряджусь, а вы, Анна Андреевна, везите Геннадия Павловича ко мне.

На лугу Волков был еще больше на месте, чем в своем кабинете. Крепкий, здоровый, румяный, в полотняном белом костюме, в летней белой фуражке... Красавец, да и только!

— Ну, как вы, Анна Андреевна?

— Как видите.

Волков всегда неплохо к ней относился, а уж как стала депутатом, особо ее отличал, на сессиях первый ее находил, занимал, разговаривал. Позволь Анна,— он на это всегда намекал,— давно бы забрал ее в управление.

— Не задержитесь?

— У вас делать нечего.

— А в совхозе что?

— Вытягиваем из прорыва.

— Нам бы давыдовские земли...

— С аппетитом сказано! — Волков засмеялся, на секунду задумался и тут же испытующе поглядел на Анну.— А вы не хотите в совхоз? Переведем.

Анна покачала головой.

— Что-то не хочется.

— А если директором?

— Все равно.

— Ах да, ведь вы депутат...

Волков быстро отступал от своих предложений.

— Обедать едем?

Покатили в Мазилово.

Поспелов их ждал, стол был накрыт, лоснилась в уксусе и масле селедка, дымилась в сметане молодая картошка, появилась яичница...

Прохорову отвечать за яйца не придется, подумала Анна, все отдаст, что ни прикажут.

Василий Кузьмич достал из буфета поллитровку, разлил по рюмкам.

Волков подержал рюмку в руке и отставил.

— Соблазнительно, но на работе не пью.

С сожалением, как показалось Анне, отставил, и она так и не поняла, что им движет,— нежелание нарушать правила или желание порисоваться.

Анна не знала, как рано она проснулась. В комнате плавал сумрак, тот неясный полусвет, когда кажется, что остановилось время. Лучшее время для того дремотного состояния души, когда ни о чем не думается и ничего не хочется.

Что ее разбудило?

Рядом спал Алексей. Спал крепко, беспробудно, как и должны спать сильные, утомившиеся за день мужчины. Он всегда ложился у стенки, чтобы утром не мешать Анне вставать. Она поднималась намного раньше мужа.

Анна встала, босиком прошла к окну, отдернула занавеску. За окном стелился такой же неясный предутренний полусвет. Часов пять, должно быть...

И тут же зазвонил будильник. Вечером она сама его завела на пять часов. Она остановила звонок, но за стенкой уже завозилась свекровь.

Анна торопливо оделась, вышла из горницы, но и свекровь была уже одета, хотя, возможно, она так одетой и спала. Она часто спала не раздеваясь.

Старуха исподлобья взглянула на невестку.

— Торопишься?

— Я подою, подою,— сказала Анна.— Спите.

Достала из печки чугунок с теплой водой, плеснула в ведро воды, перекинула через плечо полотенце, подхватила подойник, побежала в сарай.

Машка покосилась на нее блестящим агатовым глазом.

— Здравствуй, здравствуй, Машуля,— ласково и нараспев поздоровалась Анна с коровой. Заглянула в кормушку, там еще полно было сена. Подоила, занесла молоко в дом, процедила.

— Разлейте, мама, по мяхоткам.

Накинула жакет, по утрам было уже знобко, вышла на крыльцо.

Деревня только-только просыпалась, небо начинало голубеть, пушистый белый дымок шевелился еще не над всеми избами.

Поздно встают, подумалось Анне. Уж больно вольготно себя чувствуют. Так недолго и...

Чего она опасается, она так и не досказала себе. Свернула в прогон и побежала на взгорок, совсем как девочка, торопясь поскорее скрыться в толпе березок, росших перед Кудеяровой горой. За Кудеяровой горой тянулся озимый клин, который Тимка обещал запахать сегодня к утру.

Впрочем, нет, не Тимка, Тимкой его звали только девки. Он был предметом вожделения чуть ли не всех девок в округе. Красивый, холостой, еще молодой, умеющий держаться, как положено, и на людях, и без людей, отличный баянист... А вообще-то он был товарищ Кудрявцев. Лучший тракторист МТС. Слава его была вполне заслуженна. Не было еще случая, чтобы Кудрявцев не выполнил своих обязательств. Сказано — сделано. Одних премий получал больше, чем все остальные трактористы вместе.

Трактор стрекотал все ближе и ближе. Этот стрекот будоражил, тревожил Анну. Она шла быстрым шагом, побежать не позволяло чувство собственного достоинства. Она все-таки ощущала свое превосходство над Кудрявцевым, он был трактористом, а она агрономом, работу она у него принимала, а не он у нее...

Она поднялась на гору... Гора! Зимой с нее можно прыгнуть на лыжах... Вгляделась.

Молодец! Хозяин своему слову...

Не иначе как Тимка со своим напарником Мотовиловым работали

всю ночь. Мотовилова не было видно, должно быть, ушел или отдыхал в кустах. Вел трактор Кудрявцев. Гектара три осталось ему. Громадное поле вспахано, подготовлено под озимый сев.

Молодцы!

Тут уж нельзя было удержаться. Анна побежала с горы. Приятно первыми закончить в районе осенний сев. А уж Кузьмич будет рад! Сегодня же начнет составлять рапорт райкому и райисполкому.

Анна пошла вдоль поля. Пашня ровна и пушиста, как ковер. Она подумала, что МТС это МТС, а колхозу тоже не мешало бы премировать трактористов.

В траве желтели редкие лютики. Она сорвала один, повертела стебелек пальцами. Неказистый цветок, но миленький. А ведь ядовит...

Кудрявцев развернулся, заметил Гончарову, помахал ей рукой.

Она остановилась, дождалась его.

— Привет, Анна Андреевна! Ну как?

— Что как?

— Ажур?

Анна улыбнулась.

— Ажур, ажур!

Не проехал — проплыл мимо нее. Точно и не спал ночи. И ведь пойдет вечером на бугор, будет играть до полночи, и девки будут обмирать возле него, а потом тряхнет баяном, прихватит одну...

Анне неприятно было думать об этом. Тимка не обижал девок, во всяком случае ни одна не жаловалась, но молва приписывала ему множество побед. А может, просто сплетники сочиняют?

Пиджак натянулся на сильных плечах тракториста, меж лопаток проступила темная полоска... Она невольно пошла за трактором. Тимка точно тянул ее за собою.

Но дело было делом. Принимать поле от Кудрявцева приходилось ей, и никому другому. В кармане жакетки лежал складной металлический метр. Она достала его, распрямила, погрузила в землю.

Метр ушел неглубоко, наверно поторопилась. Анна вытянула металлическую линейку и снова погрузила ее в землю.

Нет, все равно, двадцать три сантиметра...

Тогда она отошла на середину поля. Двадцать два! Отошла шагов на тридцать в сторону. Двадцать три! Еще дальше. Двадцать три...

Чистый обман...

Анна быстро пошла к Кудрявцеву. Тяжело дыша, с минуту она молча шла за трактором.

— Тимофей Иваныч...— негромко позвала Анна.— Остановись!

Он разом выключил мотор. Спрыгнул, подбежал к Анне.

— Что, Анна Андреевна?

Ей трудно было говорить.

— Отойдем,— сказала она.

Кудрявцев взглянул на нее, заторопился. Они вышли на опушку березовой рощицы.

— Сядем,— устало произнесла Анна.

— А может, подальше? — спросил Кудрявцев, указывая куда-то поближе к кустам.

— Нет,— сказала Анна.

Кудрявцев бросил на траву пиджак.

— Садитесь, Анна Андреевна.

Она села, потупилась. Трудно было начинать. Предстоял нелегкий разговор, это она хорошо понимала. Щеки ее порозовели, она показалась сейчас Кудрявцеву гораздо моложе своих лет.

Он придвинулся и положил ей на плечо руку.

Анна даже не отстранилась, не сбросила руку, только удивленно подняла голову.

— Вы — что?

— Анна Андреевна, я — могила...

— Тимофей Иваныч!

Он вдруг сообразил, что ошибся, убрал руку.

— Извините, Анна Андреевна...

— Да нет уж! Разочаровалась я в вас...— Анна вздохнула.— Придется перепахать, Тимофей Иваныч.

Он опять не понял.

— Что?

— Придется перепахать. Весь клин. Глубина — двадцать три. Такую работу я не приму.

— Да вы смеетесь, Анна Андреевна?

Он не принял ее слова всерьез. Он еще не знал, чего она от него хочет, но принять такие слова всерьез не мог. Не захочет же она отбросить колхоз назад. Такого еще не бывало, чтобы заставили его перепахивать озимый клин. Кудрявцев вспахал — это Кудрявцев вспахал. Его имя — гарантия качества.

— Придется перепахать, Тимофей Иваныч,— повторила Анна.— Такую вспашку я не приму. Нужно тридцать два — тридцать. Будем считать, что вы еще не начинали.

Ей не просто было это сказать. Пospelов закачается, когда узнает. Вчера он при ней звонил в райком, обещал закончить сев раньше срока. Он из-за одного страха перед райкомом согласится принять у Кудрявцева работу. Но Анна на это не согласится.

Кудрявцев встал.

— Нет,— сказал он.— Не буду.

— Будете, Тимофей Иваныч.

Анна посмотрела на него так, точно просила невесть о каком личном одолжении.

— Нет,— повторил Кудрявцев.

— А я не приму,— сказала Анна.

— Без вас примут,— сказал Кудрявцев.

— Нет,— сказала Анна.

Она сорвала отцветшую ромашку и принялась теребить в руках.

— Вы только подумайте, Тимофей Иваныч,— заговорила она, не поднимая головы.— Полное нарушение правил. Какой же будет у нас урожай? Люди будут винить погоду, но я-то буду знать...

— Больше такое не повторится,— угрюмо сказал Кудрявцев.

— Нет, нет,— возразила Анна.— Я это поле не приму.

— Бросьте,— сказал Кудрявцев.— У меня тоже самолюбие.

— А вас еще на орден собираются представлять!

— Вот потому и не могу,— сказал Кудрявцев.— Простите на этот раз, за мной не пропадет.

— Не могу.

— Ну, так наш агрсном примет,— сказал Кудрявцев.— Вы лучше не спорьте.

— Не могу,— повторила она.

Кудрявцев тоже на нее не смотрел.

— Против себя идете...

В голосе его прозвучала угроза.

Анна отбросила от себя цветок, встала.

— Нет? — спросила она.

— Нет,— ответил Кудрявцев.— Мы вас ском-про-ме-ти-руем...

Он с грудом выговорил это слово.

Но она не обратила внимания на его слова. Она поглядела ему прямо в глаза.

— Вот что, Тимофей Иванович. Я вас убью.

Кудрявцев засмеялся, ему стало смешно, начинался бабий разговор.

— Морально убью,— пояснила Анна.— Не смейтесь. Конечно, не пистолетом и не ножом. Но я ничего не побоюсь. Я уже не говорю об ордене. Орден вы не получите. Но вас просто все перестанут уважать. Все неурожай отнесут на ваш счет...

Она подняла с земли метр, сложила, положила в карман.

— Ну, я пошла,— сказала она и — пошла.

— Пойдите, Анна Андреевна...

Она не остановилась.

Кудрявцев догнал ее.

— Анна Андреевна!

Она обернулась.

— Нет?

В глазах Кудрявцева светились и гнев и мольба. Такую женщину ни на что не уговоришь без ее согласия. Он это не столько понимал, сколько чувствовал.

— Анна Андреевна!

— Нет?

— Будь по-вашему. Вернетесь сюда через два дня. Только не говорите никому.

— А дальше?

— И дальше так будет, честное слово.

И она его пощадил, не он ее, а она его пощадил, — он это тоже чувствовал, — поверила ему, и он знал, что не в силах обмануть ее.

— Хорошо, я вернусь,— сказала она.— Ведь иначе люди, Кудрявцев потеряют к нам всякое уважение.

XXXII

Ударили заморозки, по утрам похрустывал под ногами ледок, ветер то сгонял, то разгонял кучерявые тучи, последние желтые листья неслись вдоль улицы, вот-вот мог повалить снег.

Весь вечер Ниночка заунывно твердила:

— Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился... Поздняя осень... Осень... Грачи улетели. Лес обнажился... Обнажился... Обнажился...

Стало как-то покойно и скучно. Затишье в природе и в делах. Ложись пораньше, вставали попозже, можно было отоспаться за всю ту страдную пору, когда приходилось то сеять, то полоть, то косить, то молотить, то взвешивать и везти хлеб на элеватор. Можно было отоспаться. Одни школьники суетились по утрам, как воробьи.

Анна проводила Ниночку в школу, усадила Колю рисовать, легла досыпать недоспанное, как свекровь затеяла с кем-то перебранку.

— Много вас тут шатается,— выкрикивала свекровь.— Со всеми займаться — некогда поесть будет. Дали? Ну и спаси ты господь...— Она не могла уговориться.— Да иди ж ты! Зря собак не держим. Проваливай...

Анна подняла голову.

— Кто там, мама?

— Нищенка.

— Так подайте ей...

— Подала, а она не уходит. Тебя требует.

— Как — меня?

— Депутатку требует. Надоели хуже редьки. Лезут и лезут, и все до тебя.

Свекровь отчасти была права. Анна постигла уже, что депутатство не столько почет, сколько одно беспокойство. Конечно, депутатам, которые находятся на высоких постах, не так беспокойно, у тех заслоны, секретари, приемные дни, до них не так просто добраться. А тем, кто попроще да пониже, тем не отбиться от просителей. Не посетителей, а именно просителей. Поможешь одному, и люди сразу начинают идти...

Анна соскочила с кровати.

— Зовите ее, мама!

— Ну да! Полы затаптывать! Нужна она тебе, пойди поговори на крыльцо. Пусть в правление ходят.

Анна не стала спорить, официально она действительно принимала в правлении колхоза, но люди часто шли к ней домой. Свекровь сердилась, но Анна не могла отказать. Накинула телогрейку, пошла на крыльцо.

На крыльце стояла нищенка, какие редко встречаются в наши дни. Маленькая, дряхлая, в каких-то ветхих серо-бурых одежках, облежавших ее, как листья капустный кочан. Сморщенное личико задорно выглядело из лохмотьев. Она была очень стара, но не было в ней ни отрешенности от мира, ни приземленности, ни покорности судьбе. Напротив, на щеках ее морщинистого пергаментного лица играл румянец, а глаза были просто удивительны своей живостью.

— Вам чего, бабушка? — спросила Анна. — Подали вам?

— Да я ж не побирушка, — быстро и тоненько пролепетала старушка. — Мы ж по делу...

— А вам кого?

— Гончариху мне, — сказала старушка. — Правов ищу.

— А я и есть Гончарова, — сказала Анна. — Слушаю вас, бабушка.

Старушка укоризненно воззрилась на собеседницу.

— Это как же так, касатка?

— Что — как?

— Гребуешь? На улице принимаешь?

— Ну что вы, бабушка... — Анна смутилась, открыла дверь, посторонилась. — Проходите.

Старуха прошла в дверь. На Надежду Никоновну она даже не посмотрела.

— Куды еще?

Анна указала.

— Проходите...

Старуха осмотрела все в комнате зоркими глазами, распеленала закутывавшие ее голову платки, выбрала стул и села, не ожидая приглашения.

— Ну вот, касатка, добралась и я до тебя, — произнесла она с облегчением. — Долго шла, а нашла.

И Анна опять подумала — какие у нее удивительные молодые глаза.

А старушка принялась рассказывать о цели своего посещения. Все было очень просто. Жила она в Варсонофьевском. Село это находилось по ту сторону Сурожи, километрах в тридцати от Мазилова. Звали ее Елизавета Михайловна Анютина. Жила со своей младшей сестрой на пенсию, которую та получала за убитого на войне сына. Но вот второй год как сестра умерла, и с ее смертью прекратилась выплата пенсии. Жить Анютиной не на что, пенсии ей не дают, обила она уже немало порогов, но воз ни с места. И промежду жалоб и сетований Елизавета Михайловна прослышала, что в Мазиледе есть депутат Гончарова, которая, кто ни обратись, всегда стремится помочь.

— Вот, касатка, я к тебе и пришла.

— Но от вас, от варсонофьевцев, другой депутат, к нему надо, бабушка, обращаться.

— И-и, касатка, мы нашего депутата в глаза не видали.

— Ну как так!

— Не-не, нашему не до людей. Ён песни пишет.

Отчасти это было справедливо. От Варсонофьевского избирательного округа в депутатах ходил композитор Аллилуев. В свое время он написал оперу на революционный сюжет, в известной мере прославился, опера была поставлена, сезон продержалась на столичной сцене, и кому-то в обкоме пришла в голову идея выдвинуть кандидатуру Аллилуева в качестве представителя творческой интеллигенции в депутаты по Варсонофьевскому округу. Жил Аллилуев в Пронске. Елизавете Михайловне Анютиной было до него так же далеко, как космонавтам до луны. Впрочем, для Аллилуева Елизавета Михайловна была тоже весьма туманным светилом в той отдаленной галактике, какой представлялся ему коллектив избравших его варсонофьевских избирателей. Добраться до своего депутата Анютиной представлялось, разумеется, делом мало реальным. А Гончарова находилась рядом, тем более что слух об отзывчивом мазиловском агрономе, вопреки пословице, бежал по всему району.

Анна вполне могла отослать от себя Анютину, но просительница смотрела на нее так зорко и доверительно, что Анна взяла на себя и эту заботу.

А дальше началось то, что случалось каждый раз, когда к ней обращались люди. Работой своей в колхозе Анна не могла пренебречь. Колхоз есть колхоз. Хозяйство. Но и у нее бывало свободное время. То она с детьми, то надо почитать, а то и провести часок-другой просто в безделье. Но перед нею сидела бабка. Чужая бабка. И все-таки чем-то своя. Доверчивая и беспомощная.

Жени уже нет рядом, Женя училась в Пронске. Ниночку и Колю можно оставить на свекровь. Алексей, кажется, чувствует себя спокойнее в отсутствие жены...

Куда ж ее деть, эту бабушку? Ей небось много чего пришлось хлебнуть за свою жизнь. У нее и документов-то никаких нет. Сколько лет смотрят на мир ее добрые и доверчивые глаза? Она сама считает, что более девяноста. Но уж во всяком случае не менее восьмидесяти. Неужели же не стоит постараться сохранить ей еще два-три года жизни?

Да живи ты, живи себе, бабушка! Но бабушке нужно есть. Ломтик хлебца, кусочек сахара...

— Куда же вас, бабушка, поместить?

— А у меня хата, хата! В Варсонофьевском. Я оттуда никуда. Где родилась, там и помру. У меня две курицы есть.

Куда уж разлучать ее с ее курицами!

— Сидите, бабушка...

Надежда Никоновна волком смотрела и на просительницу и на депутата.

— Вы не обращайтесь внимания, бабушка.

— А я и не обращаю.

Анна пошла к Поспелову. Его газик только что вышел из ремонта.

— Василий Кузьмич, нужна машина...

Анна повезла свою подопечную в Варсонофьевское. Вызвала председателя сельсовета. «Я вас очень прошу...» Зашла в школу. «Найдите двух хороших девочек...» — «А разве есть плохие?» — «Девочки, я вас очень прошу: присмотрите за бабушкой... Прабабушка она вам! А я похлопочу...»

Ну, что ей ветхая эта Анютина? Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Документов не было — нашлись документы. Сделали их с грехом пополам в сельсовете. В райсобесе, конечно, закон! Закон есть закон. Анна к Тарабрину. «Иван Степанович, неотложное дело». — «Что-нибудь в колхозе?» — «Старушка одна». — «А я уж думал что-нибудь

серьезное». — «Если б вы ее видели!» — «Нам о тысячах надо думать, о тысячах». — «Но ведь тысячи состоят из единиц?..» Нашелся закон!

Оно было в ней всегда, но оно все разрасталось и разрасталось в ней, неистребимое это беспокойство!

На Анну жаловались: вот уж ко всякой бочке гвоздь!

Ее вызвал Тарабрин.

— Анна Андреевна, как у вас в колхозе?

— Да, по-моему, ничего.

— Помните, обещали подумать над севооборотом. Загодя надо думать.

— А мы думаем...

— Эх, Анна Андреевна...

— Что, Иван Степанович?

— Беспокойный вы человек, Анна Андреевна.

— Да уж какая есть.

— И другим не даете покоя.

— Так ведь не из-за себя.

— А вам больше всех нужно?

— Да не мне, Иван Степанович! Вам нужно...

В чем-то она была сильнее Тарабрина. Тарабрин, должно быть, понимал это. Если год назад колхозу «Рассвет» предоставили честь выдвинуть в депутаты Гончарову, то уже через год многие понимали, что существовала необходимость выдвинуть в депутаты именно Гончарову.

XXXIII

Многие делегаты на районную партийную конференцию собрались под вечер в правлении колхоза. Гончарова, Пospelов, Донцов, Кучеров. Чуть позже подошла Мосолкина. Позвонил из Кузовлева Числов. Уговаривались, как лучше ехать, когда выехать. Всего из колхоза ехало одиннадцать человек.

— Утром, пораньше, — решил Василий Кузьмич. — На грузовой машине. Чтоб всем вместе.

Посоветовались — кому выступать. Вопрос этот заботил больше всего, разумеется, присяжного мазилковского оратора Кучерова.

— Кто пожелает! — сказала весело Анна. — Кому есть что сказать.

— Как кто пожелает? — недовольно ответил Пospelов. — Вам, Анна Андреевна...

— Ей положено, — согласился Кучеров. — Но кому-то еще. Колхоз большой...

— А еще — Василию Кузьмичу, — подсказала Мосолкина.

— Не-не, я не буду, — отказался Пospelов. — У нас с Анной Андреевной все обговорено, мне незачем вылезать, она все скажет...

Это уж всем было известно, Василий Кузьмич не любил встречать поперек начальству, а время было такое, что без критики выступать было нельзя. Гончарова на этот счет посмелее, вот Пospelов и представлял ей честь выступить на районной конференции.

Донцов усмехнулся.

— А вы здорово собираетесь, Анна Андреевна?

Анна в ответ тоже усмехнулась.

— Чего здорово-то, Андрей Перфилич?

— Ну, как это говорится, выдавать?

— Кому и что?.. Извините, Андрей Перфилич, но мы иногда хуже детей. Самим себе, что ли? Неполадок много, но ведь все это наши неполадки. Что в колхозе, то и в районе. Выдавать буду, да только самим себе!

— Ну, это вы полегче,— забеспокоился Пospelов.— Себе-то себе, да только, когда шишки делят, себе лучше поменьше. На колхоз и без вас собак навешают...

Анна давно уже собиралась выступить на районной конференции, у нее было что предъявить райкому. В самом деле, стоит задержать сдачу мяса или молока, к колхозу сразу приковывается внимание, а если все сдавать вовремя, «Рассветом» никто и не поинтересуется. Ей иногда казалось, что коровами в райкоме занимаются больше, чем людьми. В районе плохо налажен обмен опытом, и если где и блеснет огонек, районная газета, конечно, отметит — передовая доярка, передовая свинарка, но как человек добился успеха, об этом ни слова.

Да, она собиралась говорить, и говорить прямо...

Она хотела ответить и Донцову, и Пospelову, и Кучерову,— ответить, да и посоветоваться,— как зазвонил телефон.

Пospelов взялся за трубку.

— Да... Да...— Суровые нотки в его голосе тут же сменились певучими интонациями.— Слушаю, Иван Степанович...— Он прикрыл трубку ладонью.— Тарабрин! Готовимся. Хорошо. Сейчас...— Он протянул трубку Анне.— Анна Андреевна, вас...

Тарабрин просил Анну приехать в Сурож не утром с остальными делегатами, а сейчас, есть важное дело, ее ждут.

— Вызывают,— объяснила она Пospelову.

— Знаю, знаю,— ответил тот.— Иван Степанович сказал.

На этот раз газик был на ходу, через полчаса Анна уже мчалась в Сурож.

Теперь кабинет Тарабрина уже не был для нее заповедным местом, она привыкла и к кабинету, и к самому Тарабрину. Они встречались в райкоме, в колхозе, Анна научилась не только с ним говорить, но и спорить.

Она поднялась по лестнице, зашла в приемную. Клаша раскладывала по столу листки с напечатанным на машинке текстом. Должно быть, отчетный доклад,— подумала Анна. Как всегда перед конференцией, в райкоме чувствовалось большое оживление. Кто-то входил, выходил, то и дело звонил телефон. Миловидное лицо Клаши выражало чрезвычайную, невыносимую занятость.

Однако, увидев Анну, Клаша заулыбалась и, как показалось Анне, как-то особенно заулыбалась, точно собиралась сказать Анне что-то совершенно необыкновенное. Не прекращая раскладывать листки, она кивнула на дверь.

— Заходите, заходите, Анна Андреевна, Иван Степанович сегодня вас удивит!..

Анна посмотрела на Клашу, но попытаться не стала и, несколько обеспокоенная, вошла в тарабринский кабинет.

— Заходите, заходите, Анна Андреевна,— слово в слово повторил он, тоже глядя на Анну смеющимися глазами.— Садитесь, будем сейчас разговаривать...

Особенно Анне тревожиться было не о чем, все в колхозе как будто в порядке. «Рассвет» заканчивал год с неплохими показателями, за собой Анна тоже не знала серьезных грехов. Лишь одно предположение ее тревожило: не собирается ли райком перебросить ее в какой-нибудь отстающий колхоз, где опять придется все начинать сызнова.

О Гагановой она, конечно, читала, но самой ей не хочется уходить из «Рассвета». Она свылась с людьми, с землей. Да и «Рассвет» не слишком-то вырвался вперед...

Она не знала, удобно ли отказываться. С Тарабриным шутки плохи, он умеет настоять на своем. Но все равно решила отказаться, если ей предложат перейти в другой колхоз.

Вот он сидит перед ней, подтянутый, моложавый, спокойный, и испытующе смотрит на нее. Похоже, что первый секретарь в отличном настроении.

— Ну, как у вас в колхозе дела? — спрашивает Тарабрин.

Так и есть, не к добру этот вопрос!

— Да более или менее в порядке.

Что может она еще ответить? А если все в порядке, может последовать предложение идти в другой колхоз и его привести в порядок...

— Подготовились выступать?

Нет, это что-то другое...

— Более или менее.

— Резко будете выступать?

Это не очень тактично — заранее справляться, как будет выступать тот или иной делегат, на конференции основной объект критики все-таки прежде всего райком и его секретари.

Анна улыбнулась.

— Тоже более или менее. Всех нас есть за что критиковать, Иван Степанович.

Тарабрин тоже улыбнулся, но как-то уж очень многозначительно.

— А мы вам не дадим!

Анна слегка опешила, это было странное заявление.

— Как так?

— Не придется вам критиковать райком... — Тарабрин посерьезнел. — Сами не захотите. Не будете же вы подрубать сук, на котором придется сидеть самой?

— Я не понимаю...

— Сейчас поймете. Видите ли, Анна Андреевна, мы тут обменивались мнениями. Принято решение выдвинуть вас на работу в райком.

Анна растерялась.

— Кем принято, Иван Степанович? На какую работу?

— Такое мнение у бюро, советовались с обкомом. С вами еще будет беседовать товарищ Подобедов. Знаете? Заведующий отделом пропаганды. Он представитель обкома на конференции. Но в общем вопрос решен. Требуется лишь ваше согласие.

Анна никак не ожидала...

— Но почему меня?

— У вас неплохо идут дела. Народ вас знает. Вы хорошо проявили себя как депутат. Да и вообще неплохо иметь на этой работе агронома...

— На какой работе?

— Да, я не сказал! Намечаем вас во вторые секретари.

Час от часу не легче!

— А Константин Яковлевич?

— Константин Яковлевич принят в Высшую партийную школу.

Нет, это что-то невероятное!

— Ну какой из меня, Иван Степанович, секретарь! Просто смешно! — с неподдельной дрожью в голосе сказала Анна.

— Ничего не смешно. Поверьте, все взвешено. Такие решения наобум не принимаются. Пора выходить на арену пошире. Вас рекомендовали...

— Кто меня мог рекомендовать?

Тарабрин опять улыбнулся.

— Между прочим и я. Думаю, мы с вами сработаемся.

— Нет, нет, Иван Степанович. Я не подготовлена. К такой работе я совершенно не подготовлена.

— Подождите, Анна Андреевна, — уже с досадой сказал Тарабрин. — Вы партийный человек. Для вас работа должна быть на первом плане. Вы грамотный человек. Впрочем, я не так выразился. Образо-

ванный человек. Причем у вас есть знания, которые особенно ценны сейчас для райкома. Вас уважают. Вы вполне будете на своем месте.

— Но ведь это же район... Район, Иван Степанович! Я не справлюсь...

— Поможем, поддержим. Себе-то я не враг? Ведь я себе беру вас в помощники!

Анна была в смятении. Руководить районом! Шутка сказать! В колхозе она теперь чувствует себя уверенно. А здесь... А ну как не справится? Как она тогда будет смотреть людям в глаза? Неудобно отказываться, но следует отказаться...

Тарабрин помрачнел.

— Не ждал я такого ответа, Анна Андреевна. Вам оказывают партийное доверие, а вы... Неужели вы не чувствуете своей ответственности перед людьми?

Перед людьми... Это он напрасно сказал. Для людей она готова пойти на многое. Для людей у нее ни в чем нет отказа. Живи для людей, тогда и сама жди чего-нибудь от людей...

— Но я слаба, слаба, Иван Степанович! Мне лучше в колхозе...

Тарабрин вдруг как-то ужасно нехорошо прищурился. Он понял так, что лично Анне лучше и выгоднее оставаться в колхозе. Вот как он ее понял.

— По-человечески я вас вполне понимаю,— насмешливо произнес он.— Человеку свойственно беспокоиться о своем благополучии. Смущает разница в окладах? Конечно, в райкоме оклад в два раза меньше, и никаких премий. Трое детей, семья... По-человечески понятно....— Он посмотрел на нее холодными глазами и жестко закончил:— Ошиблись мы. Вы действительно еще не созрели для партийной работы.

Это было несправедливо и оскорбительно.

— Нет, нет! — воскликнула Анна.— Как вы могли, Иван Степанович...

Неужели Тарабрин и в самом деле думает, что заработок ей дороже работы?

Если бы это слышали Толя, ее товарищи по фронту, Петухов! Неужели она о своем благополучии думала, когда надрывалась вместе со всеми девчатами, сажая по весне кукурузу?

— Нет, Иван Степанович,— жестко повторила Анна.— Вы ошибаетесь...

— Значит, можно считать, что вы даете согласие?

У Анны замерло сердце.

— Да,— твердо сказала она.— Сейчас вы правильно меня поняли. Я высказала доводы, которые всякий высказал бы на моем месте. Но, если это нужно, если есть такое решение, я, конечно....— Она с трудом заставила себя выговорить: — Я, конечно, согласна.

— Ну и отлично...— Тарабрин сразу подобрел.— Я так и передам товарищу Подобедову...— Он дружелюбно похлопал узкой ладонью по руке Анны.— Знаете, как мы с вами еще поработаем... А теперь подумайте!— Он предостерегающе поднял вверх указательный палец.— Я вас не учу, но сами учитите. Критиковать райком критикуйте, но учитите, что своей критикой вы обяжете самое себя. Говорить легко, но ведь отдуваться вам же придется. Увидите разницу между колхозом и целым районом.

И ведь он натянул узду! Сдержал Анну. Она выступила на конференции далеко не так резко, как собиралась. С позиций колхоза ей было что предъявить райкому, но с позиций района нужды «Рассвета» не превосходили нужд других колхозов. Формально Анна представляла еще «Рассвет», но чувствовала она себя уже райкомовским работником.

Анна встретила с другими делегатами из «Рассвета» перед откры-

тием конференции. Никто ей ничего не сказал, но она поняла, что расцветовцам тоже известно о предстоящем ее избрании. Пospelов многозначительно пожал ей руку, да и другие держались с Анной и уважительнее, и сдержаннее, чем обычно,— из своей рассветовской агрономши она уже становилась для них начальством.

Она чувствовала, что и другие делегаты обращают на нее внимание. До сих пор она была агрономом одного из колхозов, секретарем тамошней партийной организации, теперь в ней были заинтересованы уже все колхозы, весь район...

Поздно вечером с ней беседовал Подобедов, интересовался, насколько она подкована политически. Сам Подобедов долгое время работал в лекторской группе ЦК, на зубок знал все важнейшие решения партии, и уж он-то погонял Анну, точно она держала экзамен в ВПШ.

— А вы помните, что сказал товарищ Хрущев?.. А помните, что сказал товарищ Суслов?.. А помните, что сказано...

Анна читала газеты, читала программные выступления руководителей партии, но, конечно, не могла помнить все высказывания, о которых ее спрашивал Подобедов. Она чувствовала, что тонет, а ей почему-то ужасно хотелось выдержать этот экзамен. Сперва она отвечала, как могла, как умела. Не очень внятно. Она не так-то уж сильно разбиралась в идеологических вопросах. Потом решила схитрить. Это было даже не очень осознанное намерение, скорее женская хитрость, подсознательное женское умение уходить от неприятных вопросов.

Она оборвала Подобедова на полуслове:

— Я хотела бы, товарищ Подобедов, посоветоваться с вами по некоторым нашим местным, практическим, так сказать, вопросам.

Подобедов недовольно спустился на землю.

— Пожалуйста...

— Вы знаете, у нас в колхозе еще очень плохо со строительством. Ни материалов, ни инструмента. Чуть что, зовут шабашников. Что, если нам создать межколхозную строительную бригаду? На паевых, так сказать, началах. И построить черепичный завод. Тоже, так сказать, на кооперативных основах. Если бы обком...

Подобедов поморщился.

— Ну, это действительно вполне уже местный вопрос. Это уж как-нибудь на бюро, в рабочем порядке...

— Я понимаю,— покорно согласилась Анна.— Но ведь это рекомендации товарища Хрущева...

К чести Подобедова, он тотчас вспомнил, где и когда это было сказано. Своим вопросом Анна, сама того не подозревая, выдержала перед ним экзамен.

— Совершенно справедливо,— сказал ей Подобедов.— Вот и ставьте этот вопрос на бюро. И проводите. Для этого вас и берут в райком...

Они расстались, довольные друг другом. Подобедов показался Анне первоклассным теоретиком, а он посчитал Анну неплохим практиком, вполне годным впристяжку к такому опытному партийному работнику, как Тарабрин.

На конференции выяснилось, что агронома из «Рассвета» знают не только в Мазилове и Кузовлеве. Когда объявили результаты тайного голосования, Анна с изумлением услышала, что из почти двухсот делегатов против нее голосовали только два, а против Тарабрина двадцать...

— Поработаете с мое, наберете сорок,— не без горечи сказал ей Тарабрин после конференции.— Нельзя проводить принципиальную линию и не нажить врагов.

Будь Бахрушин на конференции, Анна собрала бы против себя не два, а три голоса. Ни Алексей, ни свекровь не хотели возвращаться в Сурож. Избрание Анны секретарем райкома Алексей принял как личное оскорбление.

— Куда тебя несет? — зло сказал он, встретив жену после конференции. — Надоело голову носить на плечах?

Анна не хотела ссориться.

— Ну, не надо, Алеша. При чем тут голова?

— Да ты же баба, баба! — воскликнул Алексей. — Это тебе не колхоз! Тут за тебя и пашут, и сеют. А там всех надо на поводу... Могла бы теперь как сыр в масле кататься. Так нет. Пусть всем хуже, лишь бы сама на виду...

— Но это же бесполезно, Алеша, — устало сказала Анна. — Что решено, то решено.

— Откажись!

— На попятную я не пойду, я коммунистка.

— А я не коммунист? Я на фронте вступил в партию!

— А теперь тебя больше интересует собственный огород.

— Значит, я тебе недостаточно хорош?

— Да!

— Другого нашла?

Он ушел, хлопнув дверью...

Анна понимала, ему обидно, что приходится приспосабливаться к положению жены.

Так, не помирившись с ним, она и уехала через несколько дней в Сурож.

Тарабрин торопил с переездом. Опять приходилось жить на два дома. Опять дети без материнского присмотра. Но теперь было спокойнее. Женечка училась в Пронске, жила в общежитии. Родных внуков Надежда Никоновна не обижала.

Анна остановилась у Ксенофонтовых. Она не порывала знакомства с Евдокией Тихоновной. Не часто, но от случая к случаю обязательно заглядывала к ней, наезжая в Сурож. То заночует, то гостинца пришлет. Махотку сметаны, творожку, масла.

— Мама, мне бы сметанки, — говорила Анна свекрови. Та не противилась. Узнай она, что сметана для Ксенофонтовых, заскандалила бы. Но она была уверена, что подарок предназначается кому-нибудь из начальства. «Не подмажешь — не поедешь». Поэтому она давала и сметаны и творожку.

Евдокия Тихоновна охотно приняла Анну.

— Милости просим, Анечка. Теперь ты эвон какое начальство! Гришка мой и тот за тебя голосовал...

Гриша Ксенофонтов тоже был уже коммунистом. Работал он все там же, в мастерских, только теперь они были уже не эмтеэсовские, а эртеэсовские. Он стал уже совсем взрослым, работал не токарем, а механиком, успел кончить заочный техникум, стал вполне солидным человеком, только никак не мог найти подходящей жены и поэтому по-прежнему приносил весь свой заработок матери. Сама Евдокия Тихоновна ушла на пенсию, пеклась только о сыне, хотя дело находила себе всегда.

Анна бывала у Ксенофонтовых редко, но чувствовала себя у них как дома.

— Живи, сколь ни захочешь, хоть одна, хоть всей семьей, — сказала ей тетя Дуся, — Все равно не удержишься. Только послушай моего совету. Переедешь, живи открыто, у всех на виду. Ты теперь человек вид-

ный, и пусть тебя всем будет видно. И тебе легче, и люди в тебе уверенней будут.

Она была простой человек, тетя Дуся, простой, но умный, знала: уважение людей в темноте да украдкой не найдешь.

Сам Семен Евграфович Жуков, председатель райисполкома, повез Анну по городу. Как ни разросся город, а жилья не хватало.

Анна поселилась недалеко от райкома. Две комнаты, кухня, прихожая.

— Это временно, Анна Андреевна,— утешил ее Жуков.— Будем подыскивать.

— Зачем? — возразила Анна.— Обойдемся.

— Тесно,— не соглашался Жуков.— Трое детей, муж, свекровь...

— Не трое, а двое. Третья в Пронске. Я человек неизбалованный. Жуков хитренько на нее поглядел.

— Там будет видно...

Алексея не столько занимала квартира, сколько его будущая работа.

— На маслозаводе свободно место бухгалтера,— сказала Анна.— Иван Степанович предлагает его тебе. Я бы на твоём месте взяла.

— Ты берешь все, что ни предложат...

Алексей поворчал, потом пошел с Анной обедать, потребовал «сто грамм», повторил, смягчился, остался ночевать в городе и на другой день поехал с женой в «Рассвет» в спокойном и даже благодушном настроении.

Надежде Никоновне рассказали о квартире, сказали, что надо собираться.

— А корову есть куда ставить? — осведомилась свекровь.

Алексей задумался. Про корову-то он и забыл! Но Анна, оказывается, отлично о ней помнила.

— Коровы не будет,— сказала она.— Все.

— То есть как не будет? — всполошилась свекровь.— Без коровы я не поеду!

— Не будет,— повторила Анна, глядя на мужа.— Это надо только представить! Новоизбранный секретарь перебирается в город и ведет за собой на веревке корову.

— Аня права,— сказал Алексей.— Нельзя с коровой.

— Все равно не отдам! — закричала Надежда Никоновна.— О детях нужно думать, а не о людях! Корова моя, я беру!

— Корова куплена на мои деньги,— медленно произнесла Анна,— и корова останется в колхозе.

— Вы не правы, мама,— сказал Алексей.— Конечно, вам будет скучно, но корову придется продать.

— Не продать, а отдать,— поправила Анна.

— Как — отдать?

— Очень просто. Бесплатно отдать колхозу.

— С какой стати?

Анна глядела как бы сквозь мужа. Она так сжала губы, что они побелели, и Алексей только в этот момент понял, какая она упрямая. Не жена, а какой-то дьявол! Разве такая будет уважать мужа?..

Ему на помощь пришла Надежда Никоновна.

— Тебе и так сделали скидку! — крикнула она Анне.— Других берут с коровой, с избой! А тебя с каким приданым взяли? С девкой, да еще неизвестно чьей!

Анна точно окаменела. Она медленно пошла к двери. Алексей подумал, что она совсем уходит. У него вдруг перехватило дыхание. Он не хотел ее терять. Она нравилась ему теперь гораздо меньше, чем тогда, когда он женился, но он уже привык жить с ней, жить с ней ему было лучше...

— Полегче! — прикрикнул он на мать. — Не ты покупала...

Анна остановилась на пороге, посмотрела на мужа, на свекровь.

— Вот вам бог, а вот порог — негромко, но очень отчетливо и удивительно спокойно сказала она. — Хотите жить по-своему, можете уходить.

Она вышла в кухню. Притихшие и нахохлившиеся, как воробьи, сидели у печки дети.

— Ниночка, — вполголоса обратилась она к дочери. — Сбегай, умница, за Василием Кузьмичом...

Ниночка вернулась вместе с Пospelовым. Он пришел встревоженный, нарочито спокойный, должно быть, Ниночка сказала что-то о ссоре. Но в доме было тихо. Пospelов вопросительно посмотрел на Анну.

— Пройдемте в комнату, — пригласила она.

Свекровь сидела у стола, опустив голову. Алексей стоял у окна.

— Вот какое дело, Василий Кузьмич, — стараясь говорить как можно бодрей, обратилась к нему Анна. — Мы тут обсудили между собой и решили отдать Машку. Она еще добрая корова, послужит колхозу. Это наш, так сказать, подарок колхозу. За все доброе. Пришлите кого-нибудь сейчас с фермы, пусть заберут.

XXXV

Значение партийного аппарата Анна начала постигать лишь после того, как сама стала одним из его звеньев. Это действительно была та организующая сила, которая пронизывала всю жизнь советского общества. Это не значило, что райком вмешивался во все дела, множество дел и событий совершалось помимо райкома, но какое-то движение, направление жизни исходило именно из партийного аппарата.

Сперва Анне показалось, что ее теперешние обязанности мало чем отличаются от работы в отделе сельского хозяйства. Те же бумажки, те же заседания, то же сидение в канцелярии. Но постепенно она начала улавливать разницу. Конечно, все и везде делали общее дело, но в партийном аппарате дело делалось в каком-то ином качестве.

Для Анны ее новая деятельность была как бы скачком от арифметики к алгебре. До сих пор она оперировала простыми числами, и решение всех задач определялось элементарными правилами арифметики, теперь ей приходилось решать уравнения, иногда весьма сложные уравнения, приходилось извлекать корни и находить многие неизвестные.

Когда Анна училась в школе, алгебра при первом знакомстве поразила ее своей отвлеченностью, лишь постепенно она постигла конкретный характер ее обобщений. Так было и с партийной работой. Было множество частных случаев, они стекались в райком отовсюду, принималось множество частных и совершенно конкретных решений, но каждое частное решение было в то же время и обобщением, каждое решение, чего бы оно ни касалось, становилось одновременно формулой, дававшей направление последующим решениям. Но если математики имели дело с числами и цифрами, партийные работники имели дело с реальными событиями и живыми людьми.

На этот раз Анна нелегко обживалась в Суроже. С первых же дней на нее легла громадная ответственность — она ее сразу ощутила, а знаний, опыта, умения разбираться в обстановке было еще недостаточно. Иногда она ловила себя на том, что смотрит Тарабрину в рот, как делают это ученики, чающие от учителя истины.

Двойное впечатление производил на нее Тарабрин. С одной стороны, это был опытный работник, умевший принимать решения и разбираться

в людях. С другой стороны, с каждым днем ей все заметнее делалось в нем какое-то окостенение. В районе он работал давно, к нему все привыкли, и он ко всем привык и, главное, привык быть для всех непререкаемым авторитетом. Он был умен, и это было несомненно, но, к сожалению, сам-то он думал, что его окружают разве что только не дураки.

Бюро райкома состояло из очень разных людей, был здесь и председатель райисполкома Жуков, казавшийся Анне добродушным и весьма покладистым человеком, и директор леспромхоза Ванюшин, как говорили, самый богатый человек в районе, державшийся несколько особняком, и редактор газеты Добровольский, молчаливый, не в пример большинству журналистов, и, кажется, очень добрый человек, и третий секретарь Щетинин, сочетавший в себе прилежание и суетливость...

Все они казались неплохими людьми, со всеми можно было работать, но Анне претило, что все они слишком послушны Тарабрину. Во всяком случае никто не пытался спорить с Тарабриным, если даже держался, как замечала иногда Анна, иного мнения.

Но хотя Анна осуждала в других эту черту, сама она тоже не решалась спорить с Тарабриным, чувствовала себя еще ученицей, только присматривалась к людям и приглядывалась к делам.

К ней приблизились многие деревни и колхозы. Надо было думать, думать... Как часто Анна чувствовала теперь, что ей не хватает ума, знаний. Многого надо было понять, и она принялась искать, кто бы мог объяснить ей происходящее. Она обратилась к Ленину. Это был родник, к которому она стала приходить все чаще. Раньше она читала его по обязанности. В техникуме. Перед вступлением в партию. Теперь она обращалась к нему с интересом человека, ищущего правильного решения, и с каждым днем интерес этот не ослабевал, а усиливался. Должно быть, для того чтобы понимать Ленина, нужно приобрести какой-то собственный опыт. Опыт жизни. Теперь она жила, читая Ленина, и именно Ленин, Анна отчетливо это понимала, во многом помогал ей и работать, и жить.

Весной между Тарабриным и Анной произошло первое столкновение. Полгода Анна ни в чем не осмеливалась ему перечить. Разумеется, он не говорил ничего такого, что шло бы вразрез с ее убеждениями. Все было разумно, правильно. Тарабрин, как и все, впрочем, работники райкома, стремился к успеху, не к личному успеху, разумеется, а к успеху района.

Он собирался на пленум обкома. Укладывал в папку материалы.

— Нашли время,— ворчал он.— Сев на носу, а тут пленум. Надо по колхозам ехать, а нас в Пронск... Очередная накачка. Разве может обком без накачки...

Перед ним сидели Анна и Щетинин, Тарабрин собирался и давал последние наставления.

— Анна Андреевна, медлить больше нельзя. Все внимание севу. Возьмите под свой личный контроль. Звоните мне в Пронск по телефону. Каждый вечер передавайте сводочку. Меня не будет дня три-четыре. Было бы хорошо, если бы я перед возвращением мог доложить Петру Кузьмичу наши показатели. Контролируйте вспашку. Впрочем, вас не учить, вы агроном...— Он повернулся к Щетинину.— А вы, Павел Григорьевич, помогите Анне Андреевне. Она человек новый. Это первый ее сев. Следите за сводками. Чтоб наглядная агитация не отставала. Передовики. Пусть Добровольский в газете...

Это были обычные указания, Щетинин к ним привык, они только для Анны звучали боевым призывом.

Тарабрин уехал. Щетинин пришел к Анне.

— Анна Андреевна, я в вашем распоряжении.— Он протянул ей бу-

мажку.— Я тут набросал список. Всех, кого следует послать по колхозам. Почти все члены бюро, прокурор, из райисполкома. Обыкновенно Иван Степанович собирал всех перед отъездом, давал, так сказать...

— Накачивал?

Щетинин улыбнулся.

— Да, накачивал. И все разъезжались. До победного конца.

— Хорошо,— сказала Анна.— Оставьте у меня список.

— Медлить нельзя, Анна Андреевна. Собрать вечером или утром, и пусть разъезжаются.

— Хорошо, Павел Григорьевич. Я хочу подумать. Мы вернемся к этому через час...

Гончарова отличалась странностями. Все ясно, все шло заведенным порядком из-года в год. Думать тут нечего. Щетинин пожал бы плечами, но это было неуважительно, Анна Андреевна замещала Тарабрина, она могла пожимать плечами, а не Щетинин.

Анна осталась одна. Она позвонила. Она уже научилась вызывать звонком Клашу.

— Вот что...— сказала она.— Не пускайте ко мне никого. Я хочу подумать.

Это и Клашу удивило. Тарабрин запирался, чтобы писать доклад, готовить решение, говорить по телефону с Костровым. Но запирается, чтобы думать... Так он не говорил никогда.

Анна прошлась по комнате. Взад-вперед. За окном бушевал апрель. Постукивал в окно. Падающими льдинками. Каплями. Воробьями. Скоро можно выставить зимние рамы...

Как она не любила, когда к ней в «Рассвет» приезжали всякие уполномоченные. «Товарищ Гончарова, пора сеять...» А она не знала, что пора сеять! «Анна Андреевна, пора косить...» А она не знала, что надо косить! Прокурор шел в поле и металлической линейкой для черчения украдкой, чтобы не обидеть Анну, измерял глубину вспашки. Точно она хотела кого-то обмануть и запахать свое поле на два-три сантиметра мельче, чем полагается! Точно она не была заинтересована в урожае! И вместо того, чтобы находиться в поле, она преподавала прокурору элементарные правила агротехники...

Нет, она никого не пошлет в колхозы. Ни Жукова, ни Щетинина. И не поедет сама. Зачем, например, приедет она сейчас к Поспелову? Да он оскорбится. Не доверяет, приехала проверять. Челушкин и Кучеров в лепешку расшибутся, а докажут, что они и без Гончаровой умеют работать...

Но не все умеют работать. Хотят все, а умеют не все. По-настоящему, по-умному, по-научному умеют не все. Суть в этом, и этому ни Щетинин, ни она сама никогда и никого не научат. Ходить по пятам за бригадирами, это еще не значит учить.

Нет, она никого не будет гонять по району. Для чего Щетинину ночевать одетым в колхозе, помятым и невыспавшимся слоняться целый день по полям, а вечером передавать по телефону в райком, сколько засеяно га? Поспелов сделает это и без Щетинина.

Она опять вызвала Клашу.

— Клашенька, попросите Павла Григорьевича.

Он только и ждал приглашения.

— Когда же собирать, Анна Андреевна?

— Кого?

— Уполномоченных.

— Мы не будем их собирать...

Лицо Щетинина выразило полное недоумение.

— Я попрошу, Павел Григорьевич, срочно вызвать в райком поле-

водов и бригадиров из всех колхозов и совхозов,— твердо сказала Анна.— Скажем, на завтра утром.

— Сорвать их перед севом?

— Почему сорвать?

— А вы взвесили, Анна Андреевна?

— Павел Григорьевич, я ведь агроном, и жила не в Москве, а в Мазилове, и я подумала о том, что было бы для меня полезно, продолжай я работать в колхозе...

Гончарова не отличалась опрометчивостью. Даже наоборот. Щетинин не стал спорить.

Анна пригласила на совещание и Жукова, и Добровольского, она не хотела обособляться от других членов бюро, но она не хотела топтаться вместе с ними на месте.

Людей собрали в райком. Их было не так уж много. Полеводы, бригадир да председатели некоторых колхозов, которые не удержались, явились без приглашения, хотели лично узнать, что нужно райкому от полеводов.

— Мы не будем посылать в этом году уполномоченных по колхозам,— сказала Гончарова.— Вы не дети и не нуждаетесь в погонщиках. Хотя для вас, может быть, хуже, что не будет уполномоченных. Ведь часть ответственности всегда перекладывалась на опекунов, а теперь вы будете отвечать за все сами. Но суть не в том. Для чего вам повторять: сейте, сейте... Точно вы этого не знаете. Важно, как сеять. В «Рассвете» в прошлом году собрали приличный урожай, в «Ленинском пути» еще лучше, а в «Красном партизане», извините, лапу сосут. Почему так? Не хотели сеять? Не умели сеять! У одних хорошо уродилось просо, у других клевер, а в «Красном партизане» вообще ничего хорошо не уродилось. Но, я думаю, если мы пришлем туда в качестве погоняльщика прокурора, вряд ли от этого повысится урожай. Привлечь к ответственности он, конечно, кого-нибудь сумеет, но хлеба от этого не прибавится. Не лучше ли тем, кто чему-нибудь научился и умеет что-то делать, рассказать остальным, как он это делает. Почему кукуруза в «Рассвете» уродилась лучше, чем в «Ленинском пути»? Когда сеяли, как, какими семенами? Как обрабатывали посеы? Как, как... Вот чем надо делиться друг с другом. А не докладывать: засеяли столько-то и столько-то и обязуемся засеять к такому-то столько-то. Другим от того не легче, что вы засеяли. Мы просим всех, кто имеет какой-то полезный опыт, поделиться этим опытом с другими. И обсудить его. Каждую крупницу опыта вложить в общий котел. Речей не нужно. Считайте, что у нас агросеминар...

Анна озадачила приглашенных. Некоторые пытались было доложить... о готовности к севу. Анна оборвала их.

— Вы это потом доложите. Лично мне, в кабинете.

Она не позволяла рапортовать. Она завела агрономический разговор. Хороша у вас кукуруза? А как лунку делаете? По сколько зерен кладете? Как заделываете? Объясните, объясните другим...

Жуков тоже вошел во вкус разговора. Анна советовалась с ним перед совещанием, изложила ему свой план беседы. Он жался, но согласился. А потом увлекся, стал спрашивать, рассказывать, где что видел...

— Вы записывайте,— твердила Анна собравшимся.— Не надейтесь на память. Потом расскажете дома. В бригадах. В звеньях. Учитесь! Учитесь друг у друга...

Получился деловой разговор. Люди не пошли даже обедать. Порядок нарушился. Спорили, расспрашивали, ссорились. Но это были добрые ссоры...

Когда все разъехались и они остались втроем, Анна, Щетинин и Жуков, она, сама не доверяя себе, с беспокойством обратилась к обоим:

— Получилось?

— Поживем — увидим, — осторожно ответил Жуков.

— Непривычно, — пожаловался Щетинин. — Будет нам от Ивана Степановича.

Анне и самой было непривычно, но на этот раз она готова была спорить с Тарабриным.

Он вернулся на пятый день. Сводку о ходе сева ему передавали в Пронск ежедневно, но никто не осмелился сказать, что на этот раз сев проходит без уполномоченных. Тарабрин узнал об этом по возвращении.

Он явился утром в райком, прошел к себе и уж тогда вызвал Гончарову.

— Что это вы тут без меня натворили?

— Но ведь сев идет не хуже, чем в прошлом году, Иван Степанович.

— Почему не послали уполномоченных?

Анна набралась решимости.

— Целее будут.

Тарабрин вспыхнул.

— Оторвали полевых от сева. Устроили какой-то семинар...

— Но ведь так лучше, Иван Степанович. Я сама агроном...

Он сухо поглядел на Анну.

— Здесь вам не сельхозотдел. Здесь райком, и вы прежде всего партработник.

— Иван Степанович...

— Вам было сказано?

— Я все взвесила, прежде чем принять решение.

Тарабрин откинулся на спинку кресла.

— Анна Андреевна, я задам вам только один вопрос. Кто здесь первый секретарь — вы или я?

Анне не хотелось ответить так, как хотелось Тарабрину. Не хотела она отвечать, как школьница, что, мол, вы, конечно, а я только старалась...

— А я здесь что — пешка? — вызывающе ответила Анна. — Я вас уважаю, Иван Степанович, но ведь и я тоже...

— Я вас слушаю, слушаю, — холодно произнес Тарабрин. — Объяснитесь.

— Я привыкла доверять людям, вот мое объяснение, — сказала Анна.

— Доверять, но и проверять, — поправил Тарабрин. — Вы забыли это партийное правило.

— Не каждый день и не по всякому поводу, — отрезала Анна. — Недоверие к людям меня не устраивает.

Тарабрин поблел. От удивления и от возмущения. Вот как она заговорила! Вот тебе и скромный, уступчивый агроном из «Рассвета»...

— Вас? — иронически переспросил Тарабрин.

— Не меня лично... — Анна спохватилась. — По-моему, это не устраивает партию...

Тарабрин не повышал голоса, не менял позы.

— Рано вы стали говорить за партию!

— А я всегда за нее говорила, — тихо сказала Анна. — Вы не помните, а я помню, как вы у меня, у беспартийной, грозилась отнять партбилет.

Тарабрин с интересом посмотрел на собеседницу.

— Кажется, я ошибся в вас...

— Нет, — ответила Анна. — Ни я в вас, ни вы во мне не ошиблись, дело у нас с вами одно.

Второе столкновение с Тарабриным у Анны произошло из-за масла, из-за коровьего масла, которого сурожцы не видели в продаже уже несколько месяцев.

Анна пришла на работу, развернула районную газету и так и ахнула. Полугодовой план по сдаче молока выполнен! Июнь еще не кончился, а план выполнен. Сто процентов. Даже с какими-то десятками. Анна знала положение дел в районе. С кормами на фермах негусто, надои невелики, район не мог выполнить план. К концу июня должны были набрать девяносто пять, девяносто шесть процентов. И то хорошо. А тут — на тебе!

Анна принялась изучать сводку.

«Красный партизан» — на последнем месте. Семьдесят процентов. Правильно. У них ни кормов, ни голов... За чей же счет выполнен план? На первом месте «Ленинский путь». Сто двадцать. Ну, допустим, там люди оборотистые. Впрочем, у них с кормами лучше, чем у других. «Рассвет»... Сто девять... Враки! Что касается «Рассвета», Гончарову не проведешь. Анна не хуже Мосолкиной знает положение дел в «Рассвете». С кормами там уже весной было туговаго. Не могли они выполнить...

Анна позвонила в «Рассвет». Вызвала Челушкина. Челушкин сменил ее на посту секретаря парторганизации.

— Григорий Федорович, откуда вы столько молока взяли?

Он замялся.

— Марья Филипповна надоила.

— Нет, серьезно.

Челушкин задал дипломатический вопрос:

— А вы для чего — хвалить или ругать?

— Ну, как же хвалить, когда это невозможно?

Анна видела, как на другом конце провода задумался ее собеседник.

— Анна Андреевна, я итоги не подбивал. По-видимому, набрали. Василий Кузьмич с Малиновым считали. Я ведь надои не проверяю...

Раздражение все сильнее овладевало Анной.

— Позовите-ка к телефону Мосолкину. Найдите ее, и пусть она мне позвонит. Впрочем, нет...— Анна передумала.— Григорий Федорович, не говорите, что я звонила. Я сама приеду...

Она еще не очень-то ясно отдавала себе отчет, почему сообщение о выполнении полугодового плана по молоку привело ее в такое раздражение. Очень уж кстати была эта сводка. Дела в районе шли не блестяще. Район, правда, не числился в отстающих, но и хвастаться было нечем. В области давно поговаривали, что Тарабрин засиделся в Сурожье. Сводка по молоку на какое-то время затыкала критикам рты.

На войне малейший самообман нередко приводил людей к гибели. Обман нарастает, как лавина. Ложь ложью погоняет. Сводка о молоке была фальшивой. Анна еще не знала подробностей, но это-то она знала. Не упоминайся в сводке «Рассвет», она, может быть, прошла бы мимо, но «Рассвет» не мог выполнить план на сто девять процентов...

Она позвонила Тарабрину.

— Иван Степанович, хочу съездить в «Рассвет».

Тарабрин даже не спросил — зачем.

— Пожалуйста. Можете взять мою машину. Я буду в городе.

В Мазилове Анна проехала прямо на ферму.

— Ну как, девочки, дела?

Дневная дойка только что кончилась. Зоя Черемисина, одна из лучших доярок, откинула с ведер марлю.

— Смотрите. Это от всей моей группы.

- Маловато.
- Кормим слабо.
- А вас премировать собираются.
- Не откажемся...

Анна нашла Мосолкину.

- Марья Филипповна, как у вас план?
- Что-то около ста.
- А в Кузовлеве?
- Поменьше.

- А как же в сводке?
- А это уж вы Василия Кузьмича спрашивайте...

Василий Кузьмич был где-то на сенокосе, его нашли, привезли, он вошел обрадованный, улыбающийся. Он уважал Анну, считал ее чуть ли не представителем «Рассвета» в райкоме.

- Василий Кузьмич, откуда такие проценты?

Поспелов невозмутим.

- А это мы немножко вперед. Перестраховываемся.
- Да, но откуда их взяли?

В глазах Поспелова мелькнула лукавая улыбка.

- Ловкость рук и никакого мошенства. Резервы, резервы, Анна Андреевна...

Анна нахмурилась.

- Я серьезно спрашиваю. Спрашиваю вас как секретарь райкома. Откуда вы взяли молоко? Было молоко или это приписка?

Поспелов вдруг понял, что Анна не шутит, что она рассержена, и заерзал на стуле, как грешник на сковороде.

— Было, Анна Андреевна, было. Честное слово,— как-то невнятно пробормотал он.— Купили. Купили и сдали в счет плана.

Анна окончательно помрачнела.

- У кого? Где? Вы объясните, Василий Кузьмич. Меня очень интересуеет это молоко.

Поспелов потупился.

- Это не молоко. Это масло. Мы маслом сдали.

Анна пристально посмотрела на Поспелова.

- Вы меня не обманываете?
- Анна Андреевна! Купили масло и сдали.
- Где?
- В райпотребсоюзе.
- Как же вы это додумались?
- Подсказали.
- Кто?
- Ну, это я не скажу.
- Много купили?
- Весь излишек.
- А деньги откуда взяли?
- Сами знаете, деньги у нас есть.
- Не ожидала я этого от вас, Василий Кузьмич...

Анна вернулась в город. Поехала на склад райпотребсоюза.

- Масло получали в этом месяце с маслозавода?

- Получали.
- Где оно?
- Продано.
- Кому?
- Населению.
- Врете. В магазины масло не поступало.

Легкое замешательство.

- Продавали со склада.

— Кому?

— Ну... Кто обращался.

— А кто обращался?

— А мы не знаем...

Здесь трудно подкопаться. Масло получено и продано. Может быть, даже в одни руки. Но деньги получены. За все масло. Все в порядке.

Анна поехала на маслозавод.

Дудаков, директор завода, считался хорошим хозяйственником. Вежливый товарищ, с незаметным лицом, в недорогом зеленом венгерском костюмчике. Сыр на заводе делали хороший, хищений не обнаруживали.

— «Рассвет» в этом месяце много молока сдал?

— Порядочно.

— А сколько именно?

— Сейчас уточним... Алексей Ильич!

Перед Анною предстал собственный муж.

— Сколько молока «Рассвет» сдал в июне, Алексей Ильич?

Алексей взял счета.

— Сейчас сочтем.

Он защелкал костяшками.

— Это ты что пересчитываешь? — догадалась Анна.— Масло в молоке?

Он не ответил ей, закончил подсчет, назвал количество молока в литрах.

Анна гневно посмотрела на Дудакова.

— Вам «Рассвет» сдавал молоком или маслом?

— Молоком.

— А они говорят, что маслом.

Дудаков невозмутимо смотрел на Анну.

— Они что-то путают.

Анна попросила показать квитанции. Сдаточные ведомости были оформлены на молоко. По документам все везде было правильно. Она ни с чем вернулась в райком. Не так-то легко было опровергнуть сводку.

С Алексеем они встретились за ужином.

— Чего это тебя понесло на завод? — сразу обратился он к жене.

— Да, понимаешь, Алеша, молока не было и молоко сдали,— доверчиво объяснила она.— Нельзя же такие вещи допускать.

— Какие? — насмешливо спросил он.— К примеру, я хочу сдать масло. Пошел на рынок, купил, сдал. Разве это возбраняется?

— А сдавали все-таки масло? — поймала его на слове Анна.

— Конечно,— подтвердил он.

— Ваше же масло? От вас на склад, а со склада обратно?

— А его и не возили вовсе,— насмешливо объяснил Алексей.— Двигались одни накладные. А оно как лежало, так и лежит без движения.

— И все это проводил ты?

— А кому же еще!

— Но ведь это мошенничество.

— Чем?

— Вот почему нельзя купить масла в магазинах! Вот как прячут дурную работу...

Алексей участливо посмотрел на жену.

— Ребенок! По-детски думаешь, а пора бы уж повзрослеть.

XXXVII

Анна не спала ночь. Она сама на себя сердилась, но что ж поделаешь? Не защищаться же фальшивыми сводками от критики. Она понимала, что сводка передана в Пронск, что в Пронске довольны. Пони-

мала, что исправлять сводку, снижать проценты — более чем неприятно. Она это понимала так же хорошо, как и то, что Тарабрин не захочет выступить в роли унтер-офицерской вдовы. Она не знала, что делать. Но терпеть обман она не могла.

Она рано пришла в райком. Раньше Тарабрина. Предстоял неприятный разговор. Но Анна не торопилась, даже оттягивала встречу, пока, наконец, дверь не приоткрылась и не показалась голова Клаши.

— Анна Андреевна! — позвала она. — Вас просит Иван Степанович.

Анна поднялась тотчас. Тарабрин не любил ждать. Она пересекла приемную, на мгновение задержалась у двери кабинета.

Клаша уже сидела за своим столом.

— Один? — спросила Анна.

— Один, один... — торопливо сказала Клаша.

Тарабрин сидел, подперев голову рукой, читал какую-то бумагу, глаз его не было видно, виден был только открытый лоб.

Хороший лоб, — подумала Анна. — Умный человек Тарабрин. Но какой-то уж очень чистый лоб, ни морщинки на нем. Как мрамор.

— Звали, Иван Степанович?

Тарабрин поднял голову. Он редко улыбался. Посмотрел на Анну и улыбнулся ей.

— Садись, садись, Анна Андреевна. Хорошо, что зашла.

Анна села, молчала, ждала, что скажет Тарабрин.

Но Тарабрин тоже молчал.

— Бюро в час? — спросила Анна.

— Да, через полчаса, — сказал Тарабрин.

Помолчали еще.

— С маслом ерунда какая-то получилась, — сказал Тарабрин.

— Какая же ерунда? — сказала Анна. — Просто липа. Надо сообщить в обком, что план по молоку не выполнен.

— То есть как не выполнен? — насмешливо переспросил Тарабрин. — Ты, Анна Андреевна, чего-то путаешь. План выполнен. Я сам просматривал сводку. Разве без меня Дудаков посмел бы представить ее в райисполком?

— Но ведь на самом деле нет даже ста процентов, Иван Степанович.

— А что же сдавали? Воздух?

— Масло.

— Ну, это меня не интересует — масло или молоко. Важно, что сдали.

— Но ведь это комбинации.

— Чьи?

— Вот этого я пока не пойму.

— Ну, так вот по этому поводу я и позвал вас, Анна Андреевна. Колхозы сдавали, как положено. Но на маслозаводе совершенно запутана отчетность. И повинен в этом, к сожалению, ваш муж...

— Но ведь сдавал и принимал масло не он?

— Но он оформлял! Я не хочу вам неприятностей. Поэтому оставим все, как было.

— Подождите, Иван Степанович, — медленно проговорила Анна. — Сперва о молоке. Потом о моем муже. Надо сообщить в обком, что мы по молоку недотянули.

— Но это же неправда!

— Покупали чужое масло и сдавали в счет собственного молока!

— А где доказательства?

— Мне сам Пospelов сказал.

— Документы, документы нужны. Я тоже звонил, интересовался. Все правильно.

— Надо исправить сводку.

— Да поймите, Анна Андреевна, что это невозможно переиграть. Ну,

как вы себе это представляете? Колхозы обратно забирают масло с завода, везут в райпотребсоюз, там возвращают деньги... В общем, крути киноленту в обратную сторону? Вы подумайте: возможно это проделать?

— Тогда просто сказать правду...

— Обрадуете обком! И что, собственно, сказать? Выполнили и — каемся?

В чем-то Тарабрин прав. Сводку действительно невозможно переиграть.

— Я прошу назначить проверку, Иван Степанович. Ревизию. Чтобы такие вещи не могли больше повториться. Надо начать с маслозавода...

Тарабрин с интересом посмотрел на Анну.

— Хотите поставить под удар собственного мужа?

— Я не хочу ставить под удар собственную совесть.

— А если мы воздержимся?

— Я поставлю этот вопрос на бюро.

Тарабрин высыпал из деревянного стакана карандаши, пересчитал, положил обратно. Подумал. Тряхнул головой.

— Обойдемся без бюро. Не надо так официально. Пусть будет по-вашему. Поручим Семену Евграфовичу...

Облегченно откинулся на спинку стула, поправил рукою волосы, и только тут Анна заметила на его умном и большом лбу мелкие капельки пота.

XXXVIII

Тарабрин оказался верен своему слову. В тот же день он переговорил с Жуковым, Жуков тоже не стал медлить, и, без каких-либо оттяжек, как Анна и хотела, ревизия нагрянула на маслозавод.

В основном ревизии подверглась бухгалтерия завода, то есть Бахрушин, то есть собственный муж Анны... Санитарный врач достаточно придирчиво осматривал завод в установленные сроки, чистота соблюдалась на заводе неукоснительно. Масло и сыр, которые завод поставлял в Пронск и в другие города, — продукция его доходила даже до Ленинграда, — не встречали неодобрительных отзывов. Побольше бы такого масла и сыра! Таким образом проверить следовало только отчетность, приход да расход, выяснить, сколько поступает на завод молока и куда оно девается...

— Раз уж проверять, так проверять, — сказал Тарабрин, и Жуков сказал обследователям примерно то же: — Злоупотреблений как будто незаметно, но уж коли решили, поднимите всю отчетность, проверьте, так сказать, до конца...

Два дня шелестели на заводе бумагами, Алексей Ильич подавал всякие гроссбухи, в которые и сам-то заглядывал, пожалуй, впервые, и все было в порядке, все, как говорится, соответствовало. Но...

И вот акт комиссии уже на столе у Жукова, Жуков звонит Тарабрину, Тарабрин разыскивает по району Гончарову и, поймав ее по телефону в Давыдовском совхозе, просит вечером, по возвращении, обязательно заглянуть в райком.

Тарабрин отменно вежлив, спокоен, может быть, чуть ироничен.

— Ваше желание удовлетворено, Анна Андреевна. Проверили маслозавод. При чем проверяли на совесть, это я вам говорю.

— Я знаю, Иван Степанович. Из райфо ведь Козловского посылали.

— А что — Козловский?

— Говорят, ни одной копейки не пропустит. Педант.

— Ну, не знаю, педант там или не педант, но все в порядке. Как говорится, в ажуре. Так, кажется, у бухгалтеров?

Анна вздохнула. Про себя облегченно вздохнула. И все-таки ей что-то не по себе.

— Но...— Тут последовала многозначительная пауза.— Есть разрыв между принятым молоком и выходом готовой продукции. В самое последнее время молока было принято больше, чем переработано.

— Значит, квитанции колхозам выдавались, а...

— Куда-то утекло. Бидоны дырявые.

— А может быть, колхозы не сдавали этого молока?

— Кто же в этом признается?

— Следовательно...

— Следовательно — недостача.

— Кто же несет ответственность?

— Бухгалтер Бахрушин. Ваш муж.

Тарабрин сказал это без подчеркивания, очень просто, как если бы говорил о постороннем для Анны человеке.

Анна помолчала. Потом взглянула невесело на Тарабрина.

— Это — преступление?

Тарабрин отрицательно замахал рукой.

— Нет, нет! Не волнуйтесь. Упущение...— Он участливо посмотрел на Анну, ему, наверно, искренне хотелось ее утешить.— Возможно, виновата спешка. Допускаю, что уж очень хотелось выполнить план. Так сказать, авансировали колхозы. Мы с Семеном Евграфовичем расцениваем это как служебное упущение. Не больше. Все отрегулируется...

Так она и знала. Она была уверена, что с выполнением плана что-то не в порядке. Формально в порядке, но на самом деле...

Ах, Бахрушин, Бахрушин! Алексей хотел жить со всеми в ладу. С тем выпьет. С другим согласится. Навывадал квитанций. Люди не подведут. Он их вызовет, они его. Теперь, конечно, Бахрушин у всех в руках. Как поведешь себя, так и получишь...

Анна сплела кисти рук, принялась дергать себя за пальцы, точно стягивала с них несуществующие перчатки.

— А большая сумма, Иван Степанович?

— Да не волнуйтесь же, я вам говорю...— Тарабрин был совершенно спокоен.— Все отрегулируется. Помаленьку погасят...

Он назвал сумму. Она была сравнительно невелика. Примерно, пять месячных окладов Анны. Незаметная сумма. Но и Бахрушин, и Анна находились под прессом. Теперь все зависело от доброго расположения людей. Разумеется, ей пойдут навстречу. В этом она не сомневается. Алексею помогут свести концы с концами...

Тарабрин читал ее мысли.

— Сведет ваш Алексей Ильич концы с концами, отрегулирует...

План выполнен, обком доволен, Алексей отрегулирует. Удивительно, как все добры друг к другу. Но от этой доброты ей хочется плакать...

Анна встала.

— Что ж, Иван Степанович... Спасибо. Я подумаю, как поступить...

— Да никак не поступать! — Тарабрин дружелюбно протянул руку.— Ваш Бахрушин не так уж и виноват. Всем хочется выполнить план. Любыми средствами. Не подумал. Не стоит раздувать его ошибку, ваш авторитет нам дороже...

Но Анна уже знала, что делать. Она заторопилась домой.

Алексей был в благодушном настроении. Сидел на порожке дома и кое-как наигрывал на баяне. Был как будто слегка навеселе. В последнее время Анна не всегда могла разобрать — под хмельком Алексей или ей это только кажется.

Она притронулась к баяну.

— Погоди. Что там у вас?

— Порядок.

— Но у тебя недочет?

— Разбалансируем...

Анна посмотрела на него сухими злыми глазами.

— Неужели тебе что-нибудь давали?

Алексей положил баян на ступеньку, в глазах его тоже мелькнуло злое выражение.

— Ты соображай, Аня, что говоришь! Себя не пожалел бы, так тебя пожалею. Что я — не понимаю, что ли...

— Значит, ты — ни в чем?

— Ну, выпивал иногда с людьми...

Бесполезно было с ним говорить. Тем более сейчас. Анна пошла прочь, не заходя в дом.

Алексей приподнялся.

— Ты куда?

— Христа славить!..

Что с ним говорить...

Она и вправду пошла по людям, собирать, что дадут.

У Ксенофоновых Евдокия Тихоновна бросилась ставить самовар. Она всегда была душевно расположена к Анне, а теперь, когда Анна стала секретарем, ее посещение было вдвойне приятно.

— Я по делу, тетя Дуся. Мне нужны деньги. Много...

— Что так?

Евдокия Тихоновна испытующе посмотрела на гостью.

— Нужно выручить. Одного человека. Очень нужно.

— А много?

Анна сказала. Евдокия Тихоновна всплеснула руками.

— Откуда ж у нас таким деньгам!

— Сколько можно, — сказала Анна. — У меня есть платья, пальто.

Шифоньер можно продать. Приемник...

— Впрочем, погоди... — Евдокия Тихоновна подумала. — Гришка должен скоро прийти...

Гриша тоже обрадовался Анне.

— Какими судьбами, Анна Андреевна?!

Мать помешала ему поговорить с гостьей, увела в комнату, которую когда-то занимала Анна.

— Гришка на мотоцикл копит, — сказала она, выходя обратно. — Завтра утречком сходит в сберкасса, в обед принесу...

Накопления Ксенофоновых равнялись двум ее окладам. Анна долго думала — к кому бы еще обратиться. Ни у кого из ее знакомых не было таких денег. Ей пришла в голову отчаянная мысль — сходить к директору леспромхоза Ванюшину. Член бюро райкома, он держался в некотором отдалении от других членов бюро, но в спорах часто поддерживал Анну.

Утром она отправилась к Ванюшину.

— У меня просьба, Кирилл Савельич, — без обиняков начала она, зайдя к нему в кабинет. — Мне нужны деньги. Порядочная сумма. Вы у нас местный Рокфеллер. Ну, не лично, конечно. Я не знаю, есть ли у вас лично. Но я рискнула. Очень нужно. Отдам через полгода. Это я предупреждаю...

Широкоплечий Ванюшин еще шире расправил плечи. Исподлобья взглянул на Анну. Он был громоздок, тяжел, круглолиц. Когда сердился — багровел, казалось, его вот-вот хватит удар.

— Сколько? — коротко спросил он.

Анна сказала.

— Погодите... — сказал он и вышел.

Анна провела в одиночестве минут пятнадцать.

Ванюшин зашел обратно, сел за стол, сунул руку в боковой карман, подал деньги.

— Вот,— сказал он.

Анна смутилась.

— Я предупредила. Смогу вернуть только через полгода,— сказала она,— Вы даже ни о чем не спросили...

Ванюшин недовольно на нее поглядел.

— И не спрашиваю. Когда товарищ просит, я помогаю. А не выясняю— надо ли помогать. Надо или не надо— это пусть другие выясняют...

К концу дня Анна появилась на маслозаводе перед Алексеем.

— Вот...— Она положила перед ним деньги.— Иди и внеси в кассу. Ты ничего не должен.

Алексей растерялся.

— Колхозы сдавали, они и рассчитаются,— забормотал он.— Это даже как-то...

— Я ничего не знаю,— сдавленным голосом произнесла Анна.— Я хочу быть уверенной, что ты никому ничего не должен. Ни от кого не хочу зависеть. Ни от чьей доброты.

Он нерешительно запротестовал.

— На это обратят внимание...

— У тебя недостача на сегодняшний день?— сказала Анна.— Вот иди и покрывай.

Он упирался:

— А как я проведу?

— Незаконные операции умел проводить? Сумей провести законную...

Об оконное стекло бился шмель. Жужжал, как сумасшедший.

Алексей прихлопнул шмеля ладонью.

— Ах, чтоб тебя!

— Отпусти,— сказала Анна.— Шмель не виноват.

Он швырнул шмеля за окно.

Она спросила:

— Вы куда деньги сдаете?

— В банк.

— Вечером покажешь квитанцию,— тихо сказала Анна.— А то так и знай, завтра еще одну ревизию пришлю...— Она поежилась.— Посадил семью на голодный паек. Отец! Тоже мне...

И не договорила.

Вечером Анна долго сидела в райкоме. Советовались с Добровольским, о ком из механизаторов написать в газете. Так написать, чтобы и не перехвалить и остальных подтолкнуть. К ней заглянул Тарабрин. Веселый, оживленный. Прислушался.

— Правильно,— одобрил он.— Поднимите кое-кого перед уборкой...

— Между прочим, Иван Степанович,— сказала Анна,— Бахрушин внес деньги.

— Какие деньги?

Тарабрин не сразу понял. Он уже не думал о сводке.

— Недочет, который образовался на маслозаводе. Там была какая-то неясность. Не надо ему делать поблажек. Могут подумать, это из-за того, что он мой муж.

Тарабрин прищурился, ждал, что еще она скажет.

— Ни я никому ничего не должна прощать, ни мне никто не должен,— сказала Анна.— Снисходительность, пусть даже из самых добрых побуждений, не одного человека привела к преступлению.

Лес прогрелся уже, просушен был солнцем, даже под елями, распластавшимися мохнатые ветви по самой земле, было сухо. В опавшую прошлогоднюю хвою рука погружалась, как в нагретый сухой песок. Даже лесные болотца повысыхали, мох в кочкарнике ершился жесткой щетиной. Деревья то совсем уходили в синь, то высветлялись, зеленея нежно и молодо.

Дети вот уже дня три как собирались с матерью по грибы. Анна все обещала, обещала и, наконец, поклялась, что обязательно пойдет в воскресенье. Не так уж много времени удавалось ей проводить с детьми, но на этот раз она их не обманула. Тем более что и Женя приехала на каникулы, ей тоже хотелось в лес.

И вот всей семьей они сегодня в лесу. Даже Алексей Ильич не отлынивал, не ссылаясь на рыбалку, на друзей. После истории с маслом, когда Анна заставила его погасить недостачу, он притих, стал ласков к детям, даже как будто не пил и с Анной вел себя, как в первый год после женитьбы.

Вышли пораньше, захватили корзины, взяли еды, дома осталась одна Надежда Никоновна. Забрались километров за пять.

Дети разошлись по чаще, Алексей отправился искать удилища, а самой Анне захотелось вдруг полежать. Просто полежать. Смотреть в небо и считать облака...

Она расстелила плащ на сухой моховине, легла на спину, закинула руки за голову — в кои-то веки могла она позволить себе вот так бездельно поваляться днем на траве!

Поодаль перекликались дети, она прислушивалась к их голосам. Они были такие разные и в то же время такие бесконечно свои. Вот Коля. Он ближе всех. Мальчику восьмой год, осенью пойдет в школу. Ниночке осенью исполнится одиннадцать. Женя совсем большая, восемнадцать лет. Не успеешь оглянуться, как закончит техникум и станет самостоятельным человеком. Мечтает о работе, обещает помогать матери. Да где там! Встретит какого-нибудь Петю или Сеню, и — ищи ветра в поле! Время бежит, бежит. Ей самой тридцать семь. Тридцать семь уже! Старая баба. Скоро бабушкой станет. Не задолжится. Вот только дедушка у нас бедоватый...

В полдень все собрались возле Анны. Дети насобирали грибов, наперебой хвастались перед матерью.

— Есть будете?

Есть хотели все. Анна расстелила полотенце, достала огурцы, вареную картошку, селедку, хлеб.

Анна поколебалась, но все-таки купила накануне бутылку вина на тот случай, если пойдет Алексей, чтоб уж и ему было полное удовольствие. Она не разбиралась в вине, вино было какое-то молдавское, десертное, водки она покупать не хотела.

Нине и Коле подмешали немного вина к воде, Анна и Женя выпили по глотку, ну, а царская доля досталась, разумеется, Алексею.

Выпив, он повеселел, пытался петь, посадил возле себя сына, принялся обстругивать удилища. Девочки ушли за цветами. Анна тоже пошла было с ними, потом вернулась, почему-то не решилась оставить Колю с отцом.

— Ты иди, иди, — сказал Алексей жене, — дай мужикам между собой покалякать.

Она все-таки не ушла. Алексей вставал, садился, снова вставал. Потом все-таки решил и, преодолевая смущение, извлек откуда-то поллитровку.

— Понимаешь, не надеялся на тебя...

У Анны весь день было такое хорошее настроение, все было так хорошо...

— Алеша, отдай,— попросила она.

Он торопливо налил с полстакана.

— Ну, отдай, Алешенька. Я же о тебе забочусь...

Он закрыл глаза, торопливо выпил. А когда снова взглянул на Анну, глаза его уже подернулись мутной пленкой и заблестели.

— Заботишься... О чужих заботишься больше, чем о своих!

Анна протянула руку.

— Отдай бутылку, прошу...

Он отошел подальше, встал у куста жимолости.

Анна поднялась и пошла к мужу. Она еще улыбалась, еще надеялась.

Алексей нырнул за куст, захрустел валежник.

Коля побежал за отцом.

— Папа!

Валежник захрустел еще громче.

Так и кончился этот хороший день.

Анна пошла искать девочек. Лучше уж поскорее домой.

Девочки сидели на полянке перед ворохом колокольчиков и ромашек и делали букеты.

Анна позвала:

— Пойдемте...

Вернулись на прежнее место, покричали Коле, мальчик появился из-за кустов.

Анна вопросительно взглянула на сына.

— Где отец?

Коля махнул рукой в неопределенном направлении.

— Спит.

Анна нашла Алексея за кустами. Он спал, спал тяжело, мертвенно, как спят безнадежно больные люди.

Дети подошли вслед за матерью.

— Вы идите,— сказала она им.— Соберите все, корзины, посуду, я догоню вас...

Она наклонилась, потрясла Алексея за плечо. Опять потрясла. Закинула его руку себе на шею, попыталась поднять. Алексей как будто пришел в себя.

— Пошли? — несвязно спросил он.

— Пошли, пошли...

Она поволокла его, придерживая за пояс. Дети оглядывались и снова убегали вперед. Анне было трудно, Алексей еле переставлял ноги. Надо расходиться, думала Анна. Так невозможно... До сумерек было далеко. Облака двигались вместе с нею над лесом. Что за пример для сына, думала Анна, что за пример для людей... Она тянула, тянула. Алексей тяжело навалился на ее плечо. Он сопел, засыпал на ходу, просыпался. А как разойтись? — думала Анна. Люди обращаются ко мне, ждут, чтоб я помогла их семьям, а свою семью разорю... Ей ужасно хотелось подойти к городу в сумерки. Все-таки не так стыдно.

Дети шли впереди. Они оживленно о чем-то разговаривали. Солнце лилось праздничным желтым светом. Девочки несли корзины и букеты. Коля едва поспевал за сестрами. Они так и шли: ближе всех Коля, потом Нина и впереди Женя. А еще дальше Жени, совсем впереди, шел Толя. Никем не видимый Толя. Легкими воздушными шагами двигался он в солнечный закат.

А сама Анна шла тяжело, трудно, ноги ее скользили в траве, шла и волокла на себе сонного и грузного Алексея.

Должно быть, в глубине души Тарабрин был благодарен Анне. Из мерзавца доброго человека не сделаешь, но люди, так сказать, средние, не слишком стойкие, общаясь с хорошими людьми, сами становятся лучше. Похоже, Тарабрин, столкнувшись с принципиальностью Анны, и сам стал принципиальнее, и был этим, конечно, доволен, как доволен бывает всякий человек, когда ему не в чем себя упрекнуть...

Все в районе было подогнано к плану — мясо, молоко, яйца. Заготовка сена подходила к концу. Обком торопил по привычке, но не так уж ретиво, и это значило, что обком надеется на район.

Все шло заведенным порядком, как в будильнике, сделанном по простому, но проверенному образцу.

Вот и сейчас Тарабрин вошел, настезь распахнув дверь, вместе с хорошей погодой, с утренним солнцем, с прохладой ветреного дня. Высокий, аккуратный, подтянутый. Вошел не один, вместе с ним и под стать ему появился такой же ладный и плотный посетитель в светлом костюме, в светлых кудрях, со светлым выражением на лице.

— Вы, кажется, знакомы,— бодро промолвил Тарабрин.— Товарищ Волков...

Волков, улыбаясь, шел навстречу Анне.

— Как же! Старые знакомые. Судьба разводит нас и опять сталкивает...

— Геннадий Павлович!..

Волков приятен Анне. Все-таки он один из первых, кто встретил ее по возвращении в родные места. И он все такой же: молодежавый, подвижный, приветливый. Если за эти годы и появилась у него седина, она почти незаметна в пышных русых волосах.

— Геннадий Павлович приехал по поводу Давыдовского совхоза,— сказал Тарабрин.— Хотел сам с ним поехать, да он ни в какую. Только Гончарову. Обязательно с вами хочет...

Давыдовский совхоз был у райкома до некоторой степени бельмом на глазу. Все в нем имелось для того, чтобы стать рентабельным, процветающим хозяйством. Земли не так чтобы очень хороши, но не хуже, чем у других, неплохи пастбища, техники тоже достаточно, и все-таки совхоз не обходился без дотаций. Райком пытался сменить директора — в Пронске не разрешили. Апухтина снимать действительно было как будто не за что, хотя и не хотелось оставлять его на посту. Директор Давыдовского совхоза Апухтин не пьянствовал, не врал, не воровал, даже работал, только ничего у него не получалось. Не получалось уже несколько лет...

К сожалению, у нас не снимают с работы за неспособность. Все думают, авось исправится!

Но почему Давыдовским совхозом так интересуется Волков, Анна не понимала. У совхозов — свое начальство, а Волков на ее памяти нет-нет, да и заглядывал в этот совхоз, не скрывал своего интереса к Давыдовскому совхозу.

Анна улыбнулась Волкову и все-таки не скрыла удивления.

— Вы точно шефство взяли над Давыдовом,— сказала она.— Вероятно, хватает дел, а Давыдово не забываете.

— Не равнодушен... Мне бы туда! Я бы там...— Волков засмеялся.— Впрочем, теперь это законная любовь. Я вам еще не представился. Я уже не в сельхозуправлении. Начальник областного управления совхозов!

— Давно?

— Обком играет человеком. Сегодня здесь, а завтра там.

Но Волков, кажется, не огорчен перемещением.

— Seriously?

— Сочли за благо перекинуть. Я не возражал. Поспокойнее.

— Значит, теперь возьметесь за Давыдовский совхоз?

— Обязательно!

Волков сказал, что он всерьез решил заняться Давыдовом. Все осмотреть. Выяснить. Подбросить что нужно. Вытянуть.

— А не пора ли поменять там директора?

Волков замахал руками.

— Рано, рано! Все в свое время...

Волков повез Анну на своей машине. Держался он с ней по-приятельски, шутил, расспрашивал о районе, интересовался, как идет ее личная жизнь. Все время подчеркивал, что они с Анной старые знакомые. Рассказывал Анне о последних новинках. Он был опытный агроном и следил за развитием агротехники. Анна слушала с интересом. Как-то к слову вспомнил Петухова и сделал это зря — сравнения с Петуховым он не выдерживал. Был сильнее, образованнее, возможно даже способнее, но было в Петухове что-то такое значительное, чего вовсе не было в Волкове.

Ехали они полями. Редко когда попадался лесок. Все поля и поля. Сперва колхозные, потом поля совхоза. Колосились хлеба, покачивался на ветру лен, топорщились метелки проса. Анна знала, кажется, каждое поле, она ведь от весны до осени и дневала и ночевала среди этих полей. Любит ли она деревню, спрашивал ее Петухов. Тогда она не поняла вопроса. Теперь это была она сама, ее жизнь...

В Давыдовском совхозе Волков все облазил, все осмотрел, всюду совал нос. Замечания его отличались практичностью, знанием дела. Вот был бы он здесь директором, — подумала Анна, он сумел бы превратить совхоз в золотое дно. Апухтина Волков замучил вопросами, тот умаялся, пот градом катил с медлительного директора. Апухтин со всем соглашался, все признавал. Так сними его, сними, не поднимет Апухтин совхоза, не сможет, — думала Анна.

Но именно в этом и заключался камень преткновения. Все было правильно у Волкова, только не в отношении Апухтина, снять его Волков не соглашался. Обещал дать тракторов, машин, пообещал выделить два дефицитных кукурузоуборочных комбайна, посулил достать какой-то особенной высокоурожайной кукурузы на семена, сказал, что дополнительно отгрузит строительные материалы. Но Апухтина трогать не хотел. А при таком директоре, как Апухтин, все в прорву...

Волков уехал, однако ничего не забыл. В совхоз пришли и машины, и комбайны, отгружены были и лес, и кирпич, и стекло...

Анна недоумевала — почему Давыдовскому совхозу такое счастье? Все сыпалось для него, как из рога изобилия, при такой щедрости даже Апухтин не мог не идти в середняках.

— Что за доброта? — подивилась как-то Анна в разговоре с Тарабриним. — Кому-нибудь Волков, может, и отчим, но для Давыдова — отец родной!

— А вам-то что? — одернул ее Тарабрин. — В район ведь, а не из района. Спасибо говорить надо. Если бы не Волков, нам с вами еще как пришлось бы отдуваться за этот совхоз. А с его помощью кряхтим, да справляемся.

XLI

С Алексеем становилось все труднее. Он давно не приносил в дом ни копейки, да еще у Анны просил. Возвращался непоздно, но почти всегда пьяным. Раза два его приводили милиционеры. Анна искренне удивлялась, как может он что-то делать на маслозаводе.

Анна сходила в районную больницу, для Алексея достали путевку на специальное лечение, отправили с медсестрой в Пронск. Он охотно согласился лечиться. «Надо с этим кончать...»

А дня через три позвонил из Пронска. Из гостиницы. Пропил все деньги, пальто, не на что вернуться. Анна попросила Тарабрина послать в Пронск машину. Шоферу поручили расплатиться в гостинице и привезти Алексея домой.

Он молча выслушал упреки, опять дал слово исправиться, утром ушел на работу, а вечером Анна нашла его под окнами, не смог даже подняться на крыльцо.

Но Анне было не до мужа, в районе началась уборка.

Однажды он заявил:

— Все равно буду пить. До тех пор, пока не уйдешь из райкома.

Это было что-то новое. Так еще он не высказывался.

Он повторил:

— Уходи из райкома, и будем нормально жить. Надо мной смеются. Говорят, я у тебя под башмаком.

— С кем ты пьешь? — как можно мягче спросила Анна, все еще пытающаяся найти какой-то выход, что-то наладить.

— Это тебя не касается!

Анна обратилась в милицию. Попросила выяснить — с кем пьет Бахрушин. Это было нетрудно установить. В таком городке, как Сурож, все на виду. Два дружка из райпотребсоюза. Шофер райисполкома. Один рыболов, старик, из тех, что ничего не делают.

Анна позвонила Жукову.

— Семен Евграфович, мой супруг больно крепко с вашим шофером подружился, нельзя ли их развести?

— Как же я могу вмешиваться, Анна Андреевна? — нерешительно высказался Жуков. — На работе шофер пьяным не бывает, лишнего не закладывает, это уж его воля, как проводить свободное время...

А Бахрушин все настойчивей и настойчивей, с пьяным упорством приставал к жене:

— Лучше тебе уйти. Ну какой из тебя партработник? Иди обратно в агрономы...

Похоже, кто-то вбивал ему в голову эту мысль.

Анна посоветовалась с Тарабриным.

— Иван Степанович, что же это такое? Никакого достоинства. Ведь мы исключаем за такое из партии. Поверьте, я бы не дрогнула, проголосовала исключить...

— Нет, Анна Андреевна, неудобно, — подумав, сказал Тарабрин. — Тень на вас упадет. А в конечном счете и на райком. Воспитывайте!

И все-таки дольше так продолжаться не могло. На кого бы тень ни легла, но ни люди ей не простят, ни собственная совесть.

Вот он опять лежит перед ней пьяный, потерявший человеческий облик, отец ее детей.

А ей сейчас не до него. Шесть часов. В шесть бюро. Она не имеет права опаздывать. Да и не хочет.

Она выходит из комнаты.

— Мама! — говорит она свекрови. — Присмотрите за Алексеем. Не пускайте его никуда.

Анна налила целую пригоршню одеколona, надушила руки, лицо, платье, чтоб отбить отвратительный кислый запах.

Свекровь что-то проворчала.

— Вы что, мама?

— Муж мертвый валяется, а жена по собраниям...

— Но я же не могу, мама. Не могу! Вы поймите...

Старуха ничего больше не сказала. Анна чувствовала, как осуждает ее свекровь, она всегда это чувствовала. Старуха только боялась: начини она говорить, невестка прогонит ее, и Анна действительно иногда думала — начини свекровь браниться, она прогонит ее, хватит с нее одного Алексея.

В райкоме все уже собрались. Сидели за столом, выжидательно поглядывая на Тарабрину.

— Вот и Анна Андреевна,— приветливо сказал он.— Ждем.

Анна прошла к столу, села на свое обычное место, поправила волосы, смущенно улыбнулась,

— Кажется, я не очень...

— Нет, нет, я шучу,— сказал Тарабрин.— Начнем.

Это было обычное рабочее бюро. Тут хватало вопросов больших и маленьких, серьезных и не серьезных, но для кого-то важных и, может быть, даже очень важных, потому что от того или иного решения зависела если и не жизнь, то уже во всяком случае течение чьей-то жизни.

Подошел последний вопрос. За счет отчислений от сверхплановых прибылей, накопленных коммунальными предприятиями города, предлагалось приобрести для пионерского лагеря катер. Об этом катере давно уже мечтали ребята всего города. В Пронске на водной станции «Динамо» продавался катер по сходной цене...

Разобрались и с этим вопросом.

— Ну, вот и все,— облегченно сказал Тарабрин.— Можно и по домам.

— Одну минуту,— сказала Анна.— Хочу посоветоваться, товарищи...

Она поднялась со стула.

Вот они — Тарабрин, Жуков, Щетинин, Ванюшин, Добровольский... Разные люди, разные характеры... Кто они ей? Друзья? Во всяком случае — товарищи по работе. У каждого свои недостатки. Но в общем неплохие люди. Преданы делу...

Анна опустила глаза. Совестно все-таки говорить.

— Я хочу посоветоваться, товарищи. Конечно, это личное дело. Но поскольку я секретарь райкома... Я думаю, мне следует посоветоваться...

Конечно, она обязана посоветоваться. Ее репутация — это в какой-то степени и репутация райкома.

— Дольше так продолжаться не может. Вы знаете Бахрушина. Я имею в виду своего мужа. Не могу я больше с ним жить.

Анне хотелось заплакать, но она сдержала себя, неуместно это на заседании бюро.

— Куда это годится? Каждый день пьян. То сам еле-еле доберется, а то и приносят. Милиция даже доставляла. Разговоры идут...

— Хорошо, Анна Андреевна, короче,— перебил Тарабрин.— Мы искренне сочувствуем. Хотите, я сам могу с ним поговорить...

Он действительно смотрел на Анну с сочувствием.

— А что толку? — резко возразила она.— Разве мало с ним говорили! Не будь он моим мужем, его давно бы исключили из партии. Детям горе, мне мука, и даже вам позор. Нет, Иван Степанович, это не выход. Ни мне, ни вам. Я разойдусь с ним...— наконец она решила это произнести.— Но поскольку я в какой-то степени... в какой-то степени официальное лицо, я решила спросить...

— Анна Андреевна права...— Жуков задумчиво посмотрел на Гончарову.— Разговор о Бахрушине давно идет...

— Пусть разводится,— сказал Добровольский.— Я лично не возражаю.

— Я не могу, не могу больше, товарищи,— добавила Анна, продолжая стоять и держаться за спинку стула.— Всякому терпенью приходит конец. Он и детей не дает воспитывать, и на других глядеть стыдно...

Наступило молчание. Как-то сразу. Неловкое молчание, когда слышно только дыхание людей.

Анна села, сейчас ей ни на кого не хотелось смотреть.

— Ну что? — спросил Жуков. — Разрешим Анне Андреевне развестись?

— Погоди, погоди... — Тарабрин задумчиво покачал головой. — Не так это просто...

Он вышел из-за стола, не спеша прошелся вдоль кабинета.

— Позвольте мне, — сказал Тарабрин, медленно прохаживаясь по кабинету. — Я очень ценю, что Анна Андреевна обратилась к нам с этим вопросом. Наши с вами, товарищи, семейные отношения, это не только личные наши дела. Все мы здесь на виду, о всех нас идет та или иная слава, и в общей сложности это и составляет репутацию райкома, репутацию руководства. Я очень уважаю Анну Андреевну, и все в районе ее уважают, но сегодня она меня расстроила. Не вижу ни обычной ее принципиальности, ни настойчивости...

Он спокойно расхаживал по кабинету и не спеша произносил одну аккуратную фразу за другой.

— Вот Анна Андреевна обмолвилась о воспитании детей. А что за воспитание без отца? Без отца уже не семья...

Он подошел к книжному шкафу, за стеклами которого тускло лоснились вишневые корешки книг.

— Не хочу заниматься отсебятиной, но я вправе посоветовать Анне Андреевне обратиться к высказываниям Владимира Ильича. Вот хотя бы... Взять хотя бы переписку Владимира Ильича с Инессой Арманд. Ленин ясно говорит о семье. О своем отношении к семейному вопросу. Я согласен, Анне Андреевне не повезло. Но почему она ничего не предпримет для того, чтобы превратить свою семью в ячейку коммунистического общества? Детей надо воспитывать... Ну, а мужа? У нас пишут о женском равноправии, о раскрепощении женщины. В данных обстоятельствах слабейшая сторона — Бахрушин. Уже вследствие общественного положения Анны Андреевны он, так сказать, находится под сапогом у жены. Почему же она его не воспитывает? Пусть она проявит добрую волю, педагогические способности, партийный такт. Значит, других воспитывать можно, а на собственного мужа не хватает ни способностей, ни усилий? Представьте, что Анна Андреевна разойдется. Ведь деться некуда будет от разговоров. Всех, мол, воспитываете, а собственного мужа не смогли воспитать...

Говорил он прилежно, вдумчиво, убежденно, и — Анна не сомневалась в этом — он действительно искал наилучшее решение.

Но вот он говорит, говорит, а его слова бегут мимо Анны, как мутный ручеек в придорожной канавке. Человек начитанный, интеллигентный, советы дает правильные, но все это мимо, мимо... Ленина цитирует к месту, советы дает подходящие, но почему он всегда как-то удивительно одинаков. Одинаково советует — и как кукурузу сеять, и какую картину купить в Дом культуры, и как правильно класть кирпичи, и как не расхотиться со спившимся мужем...

Тарабрин кончил, сел за стол, положил перед собой руки и даже улыбнулся.

— Кто-нибудь хочет? — спросил он, точно заседание еще продолжалось.

— Оно, конечно... — неопределенно протянул Жуков. — Что ж тут еще скажешь...

Тарабрин одобрительно кивнул.

— Я рад, что мы вынесли этот вопрос на бюро, — веско сказал он. — Вопрос не простой, подумать стоило, и, думаю, не ошибусь, если выскажу общее мнение. — Он посмотрел на Анну даже с некоторой строго-

стью.— Воспитывать надо, Анна Андреевна, даже близких людей, а не отмахиваться от сложностей. Бахрушин коммунист, и кому ж его воспитывать, как не секретарю райкома...

Тут он опять улыбнулся, на этот раз весьма дружелюбно, улыбнулся и Анне, потому что в общем относился к ней неплохо, и собственной шутке, которая содержала в себе вполне здравый смысл.

— Как, Анна Андреевна?

Анна утомленно кивнула в ответ.

— Я понимаю, Иван Степанович. Хорошо, постараюсь.

Она пошла к выходу, и Тарабрин еле уловимым движением дал остальным понять, что провожать Гончарову не нужно, пусть, мол, по дороге домой соберется с мыслями.

Но Анна и в самом деле была довольна, что никто не пошел ее проводить, ей и впрямь хотелось поразмыслить о муже, о Тарабрине, о себе.

Равнодушный человек, подумала она о Тарабрине. Правильный, но равнодушный. Напрасно затеяла разговор. Теперь нельзя не посчитаться с Тарабринами. А ему — что? Чужую беду руками разведу.

И вдруг она, может быть, впервые, усомнилась в его партийных качествах. Если он безучастен к ней, как же он с другими? Если чужое горе не становится его горем, какой же он коммунист?..

Она дошла до дому. Было не так чтобы очень поздно. В комнатах горел свет. Дети спали. Свекровь бормотала что-то за печкой. Алексей сидел за столом, устремив тяжелый взгляд прямо перед собой.

Он медленно перевел взгляд на жену.

— Пришла?

Анна не ответила.

— Не желаешь? — спросил он с вызовом.

Анна села напротив.

— Долго это будет продолжаться? В конце концов тебя, дурака, из партии исключат, — сказала она почти беззлобно.

Алексей помолчал, подумал, потом заявил:

— Не посмеют.

Он вытянул руку в сторону кухни.

— Эта гримза... — Он никак не мог подобрать слов, но Анна поняла, что говорит он о матери. — Двадцать раз посылал. В погреб... Отказывается! — пожаловался он. — Аня, ты меня уважаешь? Принеси-ка капустного рассолу. До того жжет...

Он уже не кричал — просил, в его голосе звучала настоящая жалоба.

Анна усмехнулась, взяла электрический фонарик, стеклянную банку, вышла во двор, спустилась в погреб, зачерпнула из бочки рассолу, вернулась в дом.

— На, — сказала она, ставя банку на стол. — Пей, Алеша. Опохмеляйся. Перевоспитывайся.

XLII

Зима прошла сравнительно спокойно. Районная конференция изменений не принесла, все остались на своих местах. Тарабрин проводил совещания. Анна ездила по колхозам. Алексей пил.

Оживление пришло с весной. На этот раз руководство посевной кампанией Тарабрин взял в свои руки. Тарабрин считал, что в прошлом году Гончарова почти что обманула его. Отменила уполномоченных, не собрала для накачки председателей, очутилась в плену у полеводов.

На этот раз были восстановлены все старые институты, назначены уполномоченные, вызваны на совещание председатели колхозов...

Тарабрин сделал доклад. Повторил передовую «Правды». Не буквально, конечно. Называл и колхозы, и совхозы, оперировал местными

сводками, обрушивался на отдельных работников. Говорил долго, подробно, был искренне уверен, что зажигает народ.

Разумеется, он предоставил слово и председателям.

— Давайте и вас послушаем...

Но каждое выступление вводил в схему. План. Погектарный план. Культуры. Готовность. Техника. Семена. Люди. Все в процентах...

Анна чувствовала себя больше зрителем, чем участником совещания. Тарабрин не очень охотно давал ей слово. По его мнению, вопросы Гончаровой вводили людей в сторону. Он не мог не признавать, что она знает район. Она много времени проводит в колхозах, бывает на полях. Появляясь в колхозах, не забывает, что она агроном. В райкоме работает с увлечением, однако вкус к своей прежней профессии у нее не пропал. И все-таки, по мнению Тарабрина, Анна излишне интересовалась частностями, а он всегда стремился воссоздать общую картину.

Анна с интересом наблюдала за людьми. Как сильно отличалось все, что происходило сегодня, от прошлогоднего совещания! Тарабрин правильно ее тогда обвинял. Она действительно устроила что-то вроде агрономического семинара. А сейчас произносились политические речи... Тарабрин хорошо помнил, что политика есть концентрированное выражение экономики. Вот и требовал от людей соответствующих деклараций.

Но Анне казалось, что люди скучают. Может быть, Тарабрин прав, упрекая ее в деляческом подходе, но безыскусственные споры — какая пшеница лучше — нравились ей больше, чем хвастливые обязательства собрать большой урожай. Во всяком случае, прошлой осенью во многих колхозах собрали приличный урожай, хотя не все брали повышенные обязательства. Никто ведь себе не враг!

Рядом с Анной сидел Жуков. Лицо у него было скучающе-официальное. В прошлом году он тоже пришел на совещание скучать, а потом оживился, вмешался в общий спор. Сегодня он может не беспокоиться.

Поспелов сидел с благодушным видом. Он готовился выступать, как и все. Анна нет-нет да и взглядывала — и на него, и на всех других, кто с ним приехал. Рассветовцы для нее были чуть ли не родственниками. Она глядела и думала: неужто совместная работа не оставила в них никаких следов? Неужто и рассветовцы отделаются общими фразами?

Очередь дошла до Поспелова. Василий Кузьмич не спеша поднялся на трибуну. Пригладил волосы. Посмотрел на Тарабрина. Сказал несколько гладких общих фраз...

И тут Анна заметила, как заерзал на своем стуле Челушкин. Он не сводил взгляда с Поспелова. Тот взглянул, наконец, на Челушкина. Челушкин торопливо кивнул. Еще раз кивнул. Кажется, они поняли друг друга.

И Василий Кузьмич как в воду бросился:

— Мы хотим отказаться от клеверов... Чивой-то с клеверами не таё...

Это уже начинался балаган. Обычный спасительный балаган. Поспелов мог выражаться грамотно, а если начинал коверкать язык, значит, уходил под покрытие, пытался заслониться мнимым невежеством. Уж Анна-то знала, как хитрит Василий Кузьмич!

— А как по плану, товарищ Поспелов? — Тарабрин сразу насторожился. — Как у вас клевер в севообороте?

— Значится, — уныло промолвил Поспелов. — Только с ним у нас чего-то не того...

— Чего не того?

— Молоденький жалко косить, а в передержке тоже не оправдывает...

— И что же вы предлагаете?

Челушкин не сводил взгляда с Василия Кузьмича. Поспелов потоптался на трибуне. Он не поднял руки, но Анна так и чувствовала, как

мысленно он скребет пятерней затылок. Поспелов боялся Тарабрина, не осмеливался идти ему поперек, а нарушить план севооборота это и значило идти поперек. С другой стороны, Поспелов не мог нарушить уговор с Челушкиным, это настроило бы против него всю молодежь и в Мазилове и в Кузовлеве.

— Мы это... решили отказаться. От клевера. Сеять овес. Вико-овсяную смесь. Только она полягает, так чтобы не полягала. Овса поболее, а вики помене. В общем на три пуда овса пуд вики. Так не полягает, Белок!

Все это Поспелов высказал на одном дыхании, чтобы, так сказать, сразу отрезать...

Но Тарабрина трудно было сбить. Он понял, что Поспелов уходит совещание в сторону.

— Какой там еще белок? — строго спросил он. — Кто это позволит вам ломать план севооборота?

Поспелов повернулся в сторону президиума, посмотрел на Анну, — она поняла его взгляд: в случае чего поддержи!

Однако Тарабрин торопил его с ответом, и больше уже не было смысла играть в невежество.

— У нас высчитывали в агрокружке, — насупившись, заявил Поспелов. — Вику с овсом в неправильной пропорции сеяли, вот вика и валит овес, никакой машиной не убрать. А ежели наоборот, овес вику держит, убирать легче, и урожай больше...

Точно выразился, не стал коверкать даже такое слово, как «пропорция». Разговор начинался серьезный, было уже не до шуток.

Тарабрин нахмурился.

— Кто же это у вас так решил?

И ведь он не против новшеств, он человек разумный, но надо же спросить, увязать, согласовать. Все должны понимать, что без няньки никуда, а нянька — аппарат, райком, райисполком, райсельхозинспекция!

Поспелов отрубил, сказал правду:

— Комсомольские звенья.

Тарабрин поднял брови.

— Даже не правление?

Поспелов заторопился, полез в карман, достал записку, загодя составленные для него «тезисы».

— Вика, Иван Степанович, с помощью обитающих на ее корнях а-зо-то-фик-си-ру-ю-щих бактерий усваивает из воздуха азот, накапливает в почве и подкармливает овес...

Это он уже не сказал, прочел, это был его самый веский научный аргумент.

Но что же будет, если каждый колхоз начнет ломать план севооборота? Что сдаст район в конце года в государственные закрома? Ослабь вожжи — и тебя захлестнет стихия...

Тарабрин встал.

— Довольно, Василий Кузьмич...

Поспелов предупредительно улыбнулся.

— Чего довольно?

— Пусть говорит, — шепнула Анна Тарабрину.

Тарабрин сделал вид, что не слышит. В этой самостоятельности повинна и Гончарова, ее послабляющее влияние.

— Довольно говорить попусту и дезориентировать людей. Здесь не агрокружок, а ответственное совещание. Никто не позволит нарушать план севооборота...

Он сгонял Поспелова с трибуны. Поспелов так это и понял и пошел вниз. Он был обучен не спорить с Тарабриным. Но неожиданно поднял руку и даже приподнялся со стула Челушкин,

— Дайте ему договорить!

— А чего, правда... Дайте!

Это покрикивали уже другие.

— Пусть расскажет, как это овес с викой!

— Это надо продумать,— веско сказал Тарабрин.

— А мы здесь и продумаем!

Всходили семена, посеянные Гончаровой!

Тарабрин поднял руку.

— Товарищи, я вам объясню. Возьмем план севооборота. Ведь для чего-то план существует...

Он произнесет сейчас речь и поставит все на свое место. Еще минута, другая, и все войдет в обычную колею.

— А вы и нам дайте поговорить! — зло, даже ожесточенно крикнул Дормидонтов, председатель «Зари». — А то все слушай да слушай...

Приходилось, видимо, подчиниться собранию.

— Говорите, Пospelов...

Пospelову не хотелось возвращаться на трибуну. Но — пришлось. Однако нового он уже не сказал ничего. Просто изложил содержание брошюры, прельстившей мазилловских комсомольцев, чей почин рьяно поддержал Челушкин.

Вслед за Пospelовым попросил слова Дормидонтов. Это был не сильный председатель не сильного колхоза. Но о колхозе он даже не заговорил. Он обрушился на райсельхозинспекцию, на райисполком, а косвенно; значит, и на райком. Он говорил, что план севооборота по району — искусственный план, надуманный, канцелярский. Говорил, что «Заря» никогда не поднимется на ноги, если все время кто-то будет за нее думать и решать. Позвольте сеять то, что нам самим нужно. Напоремся, нам же лапу сосать...

— Ну, хватит! — сказал после него Тарабрин. — Этак у нас действительно получится художественная самодеятельность. Планирование — важнейшая часть экономической политики партии. Оно предусматривает планомерное развитие всего хозяйства...

Он сказал все-таки все, что хотел сказать. Говорил правильные вещи. От общих положений перешел к частностям, сказал, что все замечания будут учтены, но план весеннего сева ломать он не позволит.

В его голосе все время что-то звенело, он не кричал, кричать он позволял себе только в кабинете и большей частью с глазу на глаз, но его предупреждающие интонации запоминались.

— Не переоценивайте себя, — произнес он с некоторой иронией и вместе с тем с явной угрозой. — Я бы никому не советовал утратить доверие райкома...

Анна тронула Тарабрина за пиджак. До чего же он любит угрожать! Тарабрин повел локтем, незаметно отстранил Анну.

— Так что учтите...

Он объявил перерыв. Надо было дать людям пообедать. Тарелка борща и бутылка пива иногда улучшают настроение.

Сам он пошел к себе в кабинет, позвал Анну.

— Анна Андреевна, хочу поговорить с вами...

Он попросил ее выступить. К голосу Анны прислушивались. Тем более что она агроном. Тарабрин хотел, чтобы Анна выступила в поддержку плана. Агрономически, так сказать, обосновала необходимость...

Анна обязана была поддержать Тарабрина. Но она не могла и предать Челушкина.

— А если я попробую рассмотреть агрономические рекомендации с некоторой перспективой...

Но ей так и не дали дотолковаться с Тарабриным. В кабинет вошло несколько председателей колхозов, Пospelов замыкал шествие.

— Ну что, пообедали, товарищи? — добродушно осведомился Тарабрин. — Еще часика два — и по домам.

— Вот что, Иван Степанович, — решительно сказал вдруг Дормидонтов, — хотим писать в обком. Не можем мы больше работать с вами. Трудно и нам и вам...

Тарабрин побледнел.

— То есть как?

— Хотим писать, — сказал Дормидонтов. — Душно.

Поспелов стоял, багровый, смущенный, из всех присутствовавших ему, кажется, больше всех было не по себе.

— Подождите, что это за заявление? — спросила Анна.

Ей вдруг стало обидно за Тарабрину. Уж кому бы говорить, но не Дормидонтову. Во всем этом разговоре было что-то непартийное, она готова была возмутиться.

— А может, не писать? — мягко возразил Тарабрин. — Поговорим на бюро. Соберем всех на бюро и обменяемся...

— Правильно, — сказал с облегчением Поспелов.

— Можно и на бюро, — мрачно согласился Дормидонтов. — Но надо как-то менять...

Он не сказал, что менять, и Анна не поняла, что он под этим подразумевает, она только с облегчением почувствовала: люди высказались, у них прорвался протест против постоянных окриков Тарабрину, и теперь они успокаиваются.

— Пойдемте, — сказал Тарабрин. — Пока что будем закругляться.

Он спокойно открыл совещание, предоставил слово очередному оратору, и вдруг Анна заметила, что он опять сильно побледнел.

— Вы не расстраивайтесь, — доброжелательно сказала она Тарабрину. — Обойдется.

— Нет, не то, — тихо ответил он. — Мне что-то нехорошо. Нездоровится...

Он посидел еще минут пять. Ему, кажется, действительно стало нехорошо.

— Вот что, — вдруг сказал он, поднимаясь, бледный до невозможности, с росинками мелкого пота на лбу. — Я пойду, Анна Андреевна. У меня, кажется, температура. Мне в самом деле нехорошо. Кончайте без меня, только не давайте тут очень распространяться.

XLIII

Анна скомкала совещание. Может быть, в присутствии Тарабрину она позволила бы себе с ним поспорить, но в его отсутствие она не могла его не поддержать, как-никак прежде всего он выражал линию райкома, он был первым секретарем...

Она коротко напутствовала людей.

— Все-таки не очень мудрите, — предупредила она руководителей колхозов. — Если что надумаете, посоветуйтесь в сельхозинспекции.

В общем получилось какое-то не доведенное до конца совещание, ни люди не выговорились, ни Анна не сказала того, что хотела сказать.

Но даже выступая с заключительным словом, она мысленно все время возвращалась к Тарабрину. Как странно сегодня все получилось. Перестали понимать друг друга. Тарабрин — людей или люди — Тарабрину? Молчали, молчали... Что-что, а молчать люди умели. Вернее, не высказывать своего недовольства. Своих подлинных мыслей. А тут вдруг прорвало. Все-таки нельзя бесконечно подогревать воду в закрытой кастрюльке. Рано или поздно сорвет крышку. Не Дормидонтов, так кто-нибудь другой бы сказал. Даже Поспелов и тот... Выходит, что Челушкин для него теперь сильнее Тарабрину.

Утром Анна хотела было позвонить Тарабрину, узнать, как он себя чувствует, однако передумала — еще заподозрит, что она не поверила в его болезнь.

Но едва решила не звонить, как к ней позвонили от Тарабрина.

— Иван Степанович просит зайти...

Она сразу пошла. Тарабрин жил недалеко от райкома. В конце узкой улочки, на взгорье, занимал отдельный особняк, построенный еще для его предшественника.

Дома у Тарабрина Анна была всего два или три раза, в гости друг к другу они не ходили, дружбы между ними не возникло.

Она позвонила, дверь открыла жена Тарабрина.

— Проходите, ждет,— встревоженно сказала она Анне.— Сейчас придет врач...

Тарабрин лежал в постели, он был еще бледнее вчерашнего.

— Кажется, заболел,— сказал он глухим голосом.— Как закончили вчера, Анна Андреевна?

— Нормально. Я предупредила всех. Как вы и говорили.

— Ох, Анна Андреевна, не проворонить бы нам сев,— почти просто-нало Тарабрин.— Не хочется отставать от людей...

Их беседу прервал врач. Анна вышла, пока он осматривал Тарабрина.

— Разве так можно? — громко заговорил врач, выйдя из комнаты после осмотра больного.— Острый аппендицит и... грелка! Беспечность...

Он вздохнул и объявил жене и Анне:

— Операцию. И чем быстрее, тем лучше... Решайте, в Пронск или у нас. Если в Пронск, везите сейчас же...

Вероятно, врачу не очень хотелось брать на себя ответственность.

— В Пронск, в Пронск,— категорически сказал Тарабрин.— Здесь я буду вмешиваться в дела, не дам никому покоя.

Отправку организовали молниеносно. Позвонили в Пронск, в обком, в городскую больницу. Вместе с Тарабриным ехали врач и жена.

Тарабрин хоть и охал, но держался спокойно, даже бодро.

— Прощайте, Анна Андреевна...— Он пожал ей руку.— Не запускайте район. Сев, сев... Свяжитесь с обкомом. Советуйтесь, помогут. Докладывайте. Не забывайте о сводках. Людей разошлите, как решено. Пусть нажимают. Звоните в обком почаще...

Неспокойно было Анне, что уезжает Тарабрин. Все-таки он умел вести район. Как еще пройдет операция! Теперь сев на ее плечах...

Страшно подумать! Она отвечает за весь район! Надо позвонить в обком, сказать, что Тарабрина увезли. Тарабрин советовал почаще звонить в обком. До чего ж он любил прикрываться обкомом! До самого последнего момента. И не вспомнил ни о ком из людей в районе...

Она пришла в райком, попросила Клашу соединить ее с Пронском. Она не осмелилась вызвать Кострова. Она побаивалась его так же, как Поспелов Тарабрина. Она попросила соединить ее с Косяченко. Со вторым секретарем всегда почему-то легче разговаривать, чем с первым.

— Георгий Денисович, мы отправили Тарабрина,— сказала она.— Как поступать дальше?

— Чего как поступать? — весело отозвался Косяченко.— Сеять!

— Но ведь Тарабрин, должно быть, надолго выбыл,— неуверенно произнесла Анна.

— А вы на что? — все так же весело произнес Косяченко.— Справитесь.

— Трудно,— сказала Анна.— Район большой...

— Справитесь,— уверенно повторил Косяченко.— Будет трудно, звоните, в обиду не дадим!

(Окончание следует)



ДОРОГА



Оленеводы из дальних селений
Уходят за тысячи километров
Со скарбом своим,
Со стадами оленей
В приморскую тундру, открытую ветру.

Там гнуса поменьше.
Там ягель богаче.
Им вновь кочевать со стадами все лето,
Жить в чуме, где север скудит по-собачьи,
Ложиться с рассветом,
Вставать до рассвета.

Вставать до рассвета и мчаться...
А впрочем,
Какой тут рассвет, если белые ночи!

Мне жизни не хватит,
Мне сердца не хватит,
Чтоб край мой, как надо, узнать и изъездить.
Но я не хочу умирать на кровати —
В дороге!
Под холодом вечным созвездий.

Да что я о смерти?
Мне жить еще много.
Зовут меня горы и чаща лесная.

Ведь жизнь-то, по сути, большая дорога
К вершинам,
К еще недоступным отрогам,
К широтам, которых пока мы не знаем.

А есть еще люди —
им дом не оставить,
Им только оседлости
тихую заводь.

ЕНИСЕЙСКИЕ КАПИТАНЫ

Уходят на пенсию капитаны,
Белоголовые ветераны,
В покое свои доживают дни.
Но только заря разорвет туманы —
Приходят на набережную они.

В кителях форменных и фуражках,
Сухие, подтянутые, как струна,
Они приходят, вздыхают тяжело,
Им не до отдыха, не до сна.

Глазами, встречавшими непогоды,
Вдаль провожают юность свою:
Белье дизель-электроходы,
Скромные грузчики-теплоходы,
На север плывущие и на юг.

И спорят до хрипоты, называя
Близкие им имена кораблей...
Это история оживает,
Твоя история, Енисей!

Мерно подрагивая от нагрузки,
Суда торопятся поутру.
Одни — на Подкаменную Тунгуску,
Другие — в Дудинку, третьи — в Туру.

На мостиках новые капитаны
Около телеграфов стоят.
Но теми ж маршрутами караваны
Уходят, как четверть века назад.

Гудки басовитые над рекою.
Пожатия рук. Прощанья печаль.
А старики не хотят покоя —
Кличет, зовет их, манит даль.

Время их списывает на берег.
Кончено! Отданы якоря.
А сердце не хочет,
Сердце не верит,
А сердце рвется туда, в моря!

Дайте же с юностью им проститься,
Дайте сказать им:
— Добро! Пока!

Весна.
Улетают на север птицы.
Солнце.
Пространственность.
Облака.



БЕЗ ПОВОДЫРЯ

РАССКАЗ

Тарпанов отодвигает похожий на знамя малиновый занавес, тянет за шнур — фрамуга скрипит и скупно приоткрывается. В кабинет врывается весенний ветерок и воробьиный щебет. Воробьи чирикают взбудораженно, что-то доказывают друг другу, одним словом — митингуют. На зернохранилище этих воробьев тьма-тьмушая, Тарпанов только на днях был там — видел. Он слышал, что китайцы уничтожают их запросто: не дают садиться, куда птички не падают в изнеможении. Мероприятие, вероятно, экономически оправдано. Однако маленьких безответных пичужек тоже жалко...

Тарпанов садится за стол, шумно втягивает в себя посвежевший воздух и начинает подписывать бумаги. Закончив эту процедуру, звонит домой — никто не отвечает. А погода за окном так и выманивает, воробьи так и зовут на двор, на солнышко. Хорошо бы сейчас на недельку катнуть в лесхозы. Последний раз Тарпанов выезжал еще зимой, с ружьем и собакой. Охота была неудачная — приволок одного тощего русачишку. Но зато директорам хвосты накрутил. Сейчас они небось пробудились от спячки — весна тормозит. Крепко тормозит... А тут, как на грех, из министерства прислали какого-то, вот-вот прийти должен. С ним, что ли, по хозяйствам поездить? Не выйдет: обком совещание созывает, надо доклад готовить...

В кабинет стучат, деликатно так... Входит не по возрасту полнеющий молодой человек в очках с позолоченной оправой, в отлично сшитом костюме модного бутылочного цвета. У самого порога он неловко задевает ногой ковровую дорожку. Смущенно покраснев, возвращается к двери, поправляет складку. А туфли у него остроносые, без шнурков. Мокасины, что ли, называются...

— Присаживайтесь,— привычно бросает Тарпанов и, машинально вертя цветной карандаш, спокойно, выжидающе смотрит на посетителя. Так вот он какой, значит... Еще один «ревизор»? Или добрый советчик? Нет, ни то ни се... С таким и ездить неинтересно — только и водить за ручку по асфальтовым дорожкам. А то, не дай бог, промочит свои мокасины, простудится — маменька в Москве самому министру пожалуется...

Молодой человек лезет во внутренний карман пиджака, достает сложенный лист, услужливо разворачивает и протягивает Тарпанову. Тот глядит без интереса — документ как документ...

— Что ж... Рад с вами познакомиться, товарищ Карпушин. Насколько я понимаю, вы бы хотели сначала побывать в хозяйствах?

— Да, конечно. Ведь без этого... Кто-нибудь поедет со мной?

— Кого-нибудь выделим, чтобы не скучно было... С машинами туговато сейчас, все в разгоне. Но поезда и автобусы, между прочим, аккуратно ходят.

— Да, понимаю,— неопределенно отвечает Карпушин.— Я сейчас не буду отвлекать вас от дел. Уж вернусь — тогда попрошу уделить мне время.

— Вам виднее.— У Тарпанова так и не возникает желания беседовать с этим никак не проявившим себя пижончиком.— А насчет сопровождающего позвоните к концу дня. Может быть, и с машиной придумаем что-нибудь.

Покидая кабинет, гость еще раз приглаживает остроносый мокасином непослушную складку ковровой дорожки.

Юлий Цезарь мог якобы сразу делать три разных дела. Тарпанов видывал старушек, читавших журнал «Юность» и одновременно вязавших варежки. Он не считает себя равным Цезарю, вовсе не умеет вязать. Но может, например, набрасывая тезисы доклада, без ущерба для дела предаваться воспоминаниям. О давнем детстве. О недавней охоте... Кого же послать с Карпушиным? Тут, видно, не просто провожатый — нянька нужна. А Тарпанов в его годы без нянек обходился. И, хотя тоже высшее образование имел, не вырядился в модные костюмчики — армейское обмундирование донашивал. Припомнился инструктаж в Совете Министров. Тарпанов сидел тогда в небольшом конференц-зале среди маститых зубров-хозяйственников, солидно покашливавших, понимавших друг друга с полуслова. Их всех отзывали на десять дней из разных учреждений, чтобы направить на места — по вопросам полезащитного лесоразведения, — каждого в одну из областей. «Проверить, совместно решить» и — было тогда в ходу такое деликатное словечко — «подсказать». Инструктаж еще не начинался, бывалые зубры многозначительно переглядывались, шептались, заранее что-то записывали.

— А это что за комсомолия? — пришипел один, кивнув в сторону Тарпанова.

— Стенографист, — убежденно ответил другой.

После инструктажа им выдали мандаты с авторитетным красочным штампом. Привычных зубров больше интересовали сумма аванса и броня на билеты, а наивный «стенографист» то и дело поглядывал украдкой на свой красивый мандат, как малыш — на свой первый пионерский галстук...

Просматривая черновики тезисов, Тарпанов то и дело листает сборник пословиц. «Спрашивай не у старого — спрашивай у бывалого»... В доклад не воткнешь — ни к чему. А вообще-то верно. И в аппарате молодняк нужен, он всегда так считал. Но что видел в жизни вот такой, в золотых очках? Школа, институт... вот и вся биография! Ну, допустим, еще на целину студентом ездил да года два стажировался где-нибудь на короткой корде. И все! А приведи в лес — отличит пихту от ели? Не говоря уже о таких переплетах, в какие попадал тогда Тарпанов...

— Товарищ Тарпанов, значит? Очень приятно. Где остановились? Как устроились? Помочь не нужно? — председатель облизполкома улыбаясь приветливо: дескать, рад вам, слушаю вас, и не просто слушаю, а — внимательно, доброжелательно и как там еще... Но хитроватые глазки говорили другое: «Черт знает что! Прислали мальчишку какого-то. Впрочем, оно и к лучшему...» Он долго и, казалось, охотно рассказывал о делах области. Тарпанов знал уже все это из местных газет,

которые успел посмотреть, но слушал терпеливо, не перебивая. Ему не нравилось толстое холерное лицо председателя, когда-то такими изображали на карикатурах всяких буржуев, банкиров и прочих классовых врагов. Но Тарпанов подавлял в себе неприязнь: не исключено было, что полнота — от болезни, и вообще надо бы рассуждать объективнее, дело серьезное, государственное... Председатель любезно пригласил его на заседание облплана и посоветовал сходить в новый кинотеатр («не хуже, чем у вас в Москве»).

— Спасибо. Но я хотел бы прежде всего побывать в районах.

— Очень хорошо! — с подозрительно подчеркнутым энтузиазмом воскликнул председатель, затем начал перечислять образцовые степные лесхозы. — Рекомендую взглянуть, рекомендую. Мы их даже иностранцам показываем. Кстати, можете взять у нас машину. — А глаза добавили: «В Москве-то у тебя, молокососа, и машины своей, наверное, нету...»

— Спасибо, но я...

— Ничего, ничего, все понимаю! Вы, товарищ Тарпанов, в нашей области не бывали раньше?

— Не приходилось. Проездом только.

— Ага... Сам-то я, к сожалению... Впрочем, не беда! Могу направить с вами своего заместителя, чтобы легче было ориентироваться.

— Благодарю. Только зачем же отрывать его от дел? Авось не заблужусь — не в тайге ведь.

— Как знаете, — обиженно пожал плечами председатель.

Не успел еще Тарпанов выйти из кабинета, а вызванная секретарша уже получала дальнейшие директивы:

— Принимать сегодня больше не буду, перенеси там соответственно... И скажи парикмахеру, что может прийти, я подожду.

Спускаясь по лестнице, этажом ниже, Тарпанов увидел вывеску парикмахерской. «Никакой субъективности! — убеждал он себя. — Никакой предвзятости! Ты выполняешь правительственное задание».

Вечером он расплатился с гостиницей за неделю вперед и с легким чемоданчиком отправился на вокзал. Пригородный поезд отошел в полночь...

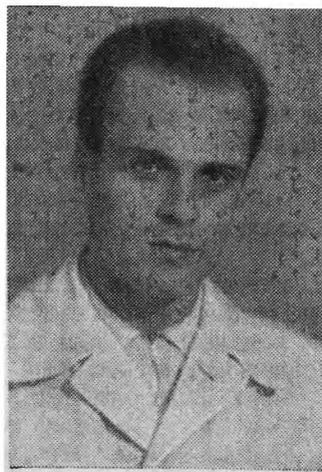
На одном из полустанков Тарпанов вышел. Последний вагон укатил в темноту, исчез где-то за поворотом мотающийся красный огонек. Порой стук колес опять нарастал — казалось, поезд забыл что-то и возвращается. Тарпанов стоял посреди пустой платформы, с чемоданчиком в руке, освещенный фонарем. За охряным деревянным навесом чернела ночная степь. Где же районный центр?

*

Борис Хотимский опубликовал свой первый рассказ в 1954 году. Прежде чем заняться литературным трудом, он работал на оборонном заводе, в МГУ, в Министерстве лесного хозяйства, был учителем, несколько лет провел в прибайкальской тайге, в степях и пустынях Казахстана.

В различных журналах и центральных газетах публиковались рассказы Бориса Хотимского. Готовится к печати его повесть «Пожарка».

*



— Километра три по грейдеру, — объяснила одна из двух, невесть откуда вынырнувших, молодлиц. — Не бойтесь с нами — доведем. Айда?

Судя по хриловатому озорному голосу, бабенка была боевая.

— Не боюсь, — усмехнулся Тарпанов и послушно зашагал за ними.

— А вы не новый агроном к нам?

— Нет. Просто к куму в гости приехал.

— А может, к куме? — И женщины звонко, на всю степь захохотали.

Словно пробудившись от этого смеха, небо вздрогнуло далекой зарницей и плеснуло в лицо путникам холодным ливнем. «Хорошо, что в сапогах поехал», — подумал Тарпанов и поднял воротник пальто. Женщины, плотно прижавшись друг к дружке, накрыли головы какой-то клеенкой и стали похожи на диковинного пришельца из других миров.

В райисполкоме Тарпанова встретил старик сторож. Он долго рассматривал красивый мандат, шевелил губами. Вернув документ, зачем-то застегнул телогрейку на все пуговицы (все — разные) и заговорил неестественно громко, будто выступал на собрании.

— Так что, положение такое... В конце нашей улицы увидите большой каменный дом, белый. С вывеской. Это Дом колхозника. Вот так.

— Ну куда я, отец, попрусь опять в дождь? Уж не гоните, пережду здесь до утра. Мешать не буду.

— Чего там мешать? — уже тише и проще сказал старик. — Уложил бы вас на диване, так сам не ложусь. Там, извиняюсь, клопов полно.

— А в Доме колхозника, думаете, меньше? Ничего, я как-нибудь на стульях. Вот сапоги бы только снять.

— Сапоги-то что! Это мы просушим, печка исправная. И пальто сюда давайте, все скидывайте...

Интересно, как повел бы себя в подобных обстоятельствах Карпуцкий? Тарпанов усмехается. Теперь не модно попадать в такие обстоятельства... Он снимает телефонную трубку, набирает номер.

— Алло! Кузьмич? Как там с заявкой на химикаты?.. Надо сегодня. А завтра придется тебе в лесхозы выехать. Тут товарищ из министерства... Что? Нет, этого надо сопровождать... Понимаю, обидно. Ну, извинись перед женой, объяснишь. Кстати, и от меня передай поздравление... Утром увидимся, а пока готовься. Если пикап еще не вернулся, возьмете мой газик.

А все же славная была та командировка с мандатом Совета Министров...

Часто фамилия никак не подходит к внешности человека. Например, Светланов может оказаться жгучим брюнетом, а Витязев — тщедушным и суетливым. Но коренастому председателю райисполкома как нельзя больше подходила его фамилия — Коротюк. Голова у него была массивная, с колючим седым ежиком.

— Как же это вы, товарищ Тарпанов? — то и дело сокрушался он. — Надо было хоть предупредить, мы бы встретили... Нехорошо!

— Не беда, не думайте об этом. Лучше дайте мне таксационные книги, что принесли из лесничества.

— Да вы разберетесь ли в этой филькиной грамоте? — недоверчиво покосился Коротюк.

— Попробую.

Тарпанов долго молча листал увесистый фолиант, затем спросил:

— В шести кварталах дубы липой вытесняются?

— Верно! — председатель как-то странно, будто впервые разглядев, посмотрел на гостя. — Лесничество старается восстанавливать, да уж очень много лесей развелось. С севера, что ли, заходят? Стрелять их нельзя, а дубки страдают. План по лесокультурам никак не вытягиваем.

— Никак, говорите? Но разве сохатый только дубки объедает?

— Именно! Самая лакомая для него порода. Вот кабы ученые к другому дереву приучили...

— К осинке, например?.. Вы в Восточной Сибири бывали?

— Служил там.— Коротюк насторожился.— А что?

— Лосей там много водится?

— Слава богу!

— А дуб в тайге растет?

Председатель наморщил лоб, соображая. Покачал большой головой.

— Ну и хитрый же вы человек, товарищ Тарпанов! Такой молодой, а такой хитрющий. Надо будет мне своего лесничего так же обратять, как вы меня.

— Вы мне лучше дайте его в провожатые, вашего лесничего. Хочу на лесополосу взглянуть.

— Взгляните, это полезно будет. Увидите, что так называемая гослесополоса — всего-навсего остатки старых естественных массивов. Там бы просветы заполнить, и только. А область требует: гони всю полосу, цифры спущены! Вот и пашем и сажаем вдоль готового леса. План!.. А что изменится?

— Председателю облисполкома говорили об этом?

— Говорили, товарищ Тарпанов. И писали. Ему бы самому взглянуть, куда средства летят. Не по карте да по отчетам, а в натуре. Да приехать бы не со свитой на показуху любоваться, а — как вы вот...

Следующим утром Тарпанов и лесничий выехали в поле. По акварельному голубому небу мчались наперегонки обрывки облаков, будто удирали остатки разбитого войска. Порывы холодного ветра то и дело покрывали рябью зеркальные пятна луж. Размокшая земля налипла на сапогах толстыми тяжелыми подошвами.

На круглом лице лесничего круглели детские очки. Глаза из-за толстых стекол казались маленькими. Звали лесничего «просто Лида».

— Вы не устали? — учтиво осведомился Тарпанов.— А то ведь я загонять могу.

— Кто кого загоняет! — засмеялась она и серьезно добавила: — Вот тут, где мы стоим, когда-нибудь будет дубрава.

— Огрехов-то сколько,— проворчал Тарпанов, счищая хворостиной прилипшую к сапогам грязь. «Просто Лида», не успев сдержаться, подетски беспомощно поскуливая, зевнула. Откуда-то, грохоча и лязгая, надвинулся огромный, будто двухэтажный, трактор. От полированных гусениц отваливались коричневые плитки суглинка, пронзенные остатками стерни,— раньше здесь были хлеба.

— Эй, посторонись! — крикнул тракторист, насмешливо поглядывая сверху. Парень-красавец, о таких и поют девчата в частушках.

— Ну-ка, притормози! — приказал ему Тарпанов и легко вскочил на едва заметную ступеньку.— Без прицеппика работаешь?

— Прицепщик болеет. А что,— тракторист усмехнулся,— наняться хочешь?

— Можно бы. Да тебя жалко.

— Чего?

— А того, что я бы тебе так плуг опустил — с места бы не сдвинулся. За нормой гонишься? Ты же не пашешь — только землю царапаешь.

— Послушай, ты! — На побагровевшем лице тракториста глаза словно побелели.— Не знаю, кто ты есть... Языком-то пахать легче!

— Это верно. Что ж... Пусти-ка, я на твоё место сяду. Не бойся, на мою ответственность...

Закончив гон, Тарпанов улыбнулся растерявшемуся трактористу:

— Так-то, приятель! Делов больше вчерашнего... Дальше сам поведешь, работать за тебя не собираюсь. Своей хватает.

Соскочив с машины, он подтянул осевшие голенища и зашагал по дымящейся вспоротой земле туда, где одиноким столбиком маячила «просто Лида»...

Вечером, провожая гостя, Коротюк сказал:

— И охота вам опять — на ночь глядя? Выигрыш времени, конечно, понимаю... Но моего соседа вам не удастся застать врасплох, как меня. Я уже звонил ему, предупредил. Вас встретит бричка, назовете свою фамилию...

И снова Тарпанов вышел на ночной перрон, снова чернела степь и хлестал дождь. Под полуоблетевшей кроной единственного дерева прятался какой-то возок. Гладкие, потемневшие от воды лошади терпеливо вздыхали. На козлах, накрыв голову мешком, сучала монументальная фигура.

— Это исполкомовские кони?

Фигура даже не оглянулась.

— Я Тарпанов, из Москвы.

Величественную фигуру будто ветром сдуло с облучка, теперь была видна уникальная белая борода.

— Сейчас, товарищ Тарпанов, сейчас... Погодка-то, говорю!.. Эта соломка посуше будет. Вот сюда прошу.

Подошел, пошатываясь, какой-то парень в бушлате. Расклеванные брюки — в грязи, промокшие плечи зябко подняты, руки — в карманах, кепчонка — не больше тубетейки.

— Подвезите до района, братишечки.

— Какой я тебе братишечка? — бородоед замахнулся кнутом. — Брысь, говорю!

— Отчего же? — вмешался Тарпанов. — Места хватит.

— А я что говорю? — заворковал дед. — И я то же говорю. Всем хватит места, всем. К коммунизму идем! Садитесь, товарищ матрос, вот здесь соломка посуше...

Бричка трясла, конские копыта неутомимо долбили раскисшую дорогу, дождь однообразно стучал по козырьку кепки. Тарпанову хотелось спать. Попутчик, дыша кислым перегаром, говорил что-то, куда-то приглашал...

— Прие-е-хали! — объявил дед. — Тпр-р-р! Стой, говорю, сатана! Здесь наш Дом колхозника, вас там ждут, товарищ Тарпанов, предупреждены насчет вас. Отдыхайте, а утречком милости просим к нам в исполком. Счастливо вам... Н-но! Пошел, говорю, штиляга!..

В Доме колхозника было темно. Тарпанов толкнул было дверь — заперта. Постучал — ни звука в ответ. А вода лилась и лилась — с неба, с крыши, с кепки. Лилась за ворот, за голенища сапог. Он снова постучал. Выскочила откуда-то вздорная собачонка, захлебнулась простуженным лаем. Наконец заскрежетали засовы, дверь отворилась. На пороге стоял человек в пижаме и валенках, со свечой в руках. Ненадежный огонек освещал заспанное лицо.

— Мест нет, ищите хату.

Тарпанов решительно переступил порог. Здесь хоть не лило. Хозяин недовольно поглядел на стекавшую с ночного гостя воду.

— Я же вам сказал, гражданин! Не по-турецки, а по-русски: мест нету, ищите какую-нибудь хату.

Тарпанов чувствовал, что сейчас вот так, стоя, заснет. А ведь предстояло еще колесить и колесить.

— Вас не предупреждали? Я Тарпанов.

Огонек метнулся, едва не погас. Человек в пижаме почему-то заговорил шепотом.

Минут через десять Тарпанов крепко спал в уютном отдельном номере...

За окнами уже темно, в их стеклах отражается кабинет. Не митингуют больше воробьи, устали. Веет зябкой сыростью.

Тарпанов откладывает тезисы. Допивает воду в графине. Еще раз звонит домой. Теперь отвечают — сын.

— Юрка, ты? Мама не приходила еще?.. Опять педсовет? Вот про- заседавшиеся! А ты уроки приготовил?.. Ну давай, действуй. И не забудь вскипятить чайник к маминому приходу.

Положив трубку, он, кряхтя, потягивается — в левом плече глухо хрустит. Пожалуй, можно и домой собираться. Что-то Карпушин молчит. Обиделся? Может, бестактно было сразу же гнать гостя в хозяйства, не пригласив ни на совещание, ни на чашку чая? А может, гость уже где-нибудь в автобусе, в поезде? Либо сейчас позвонит и скажет: спасибо, дескать, не беспокойтесь, авось не заблужусь... Нет, не скажет так, не тот случай...

Порывом ветра в кабинет заносит запах каких-то цветов, которые пахнут лишь ночью. Где-то, карабкаясь на седьмое небо, натужно гудит самолет... Тарпанов закрывает фрамугу, запирает ящики стола, гасит свет. Уже за дверьми, вставляя ключ в замочную скважину, слышит настойчивый зов телефона...

Сняв трубку, он удивленно поднимает брови. Долго слушает, наворачивает шнур на палец, сам почти не говорит, то и дело откашливается: першит в горле. Простыл, что ли?..

Закончив разговор, Тарпанов с минуту думает, распрямляет пере- крученный шнур. Смотрит на часы, берет со стола телефонный справоч- ник. Почему-то служебные телефоны он помнит все до одного, а домаш- ние — ни в какую. Кроме собственного, конечно...

— Алло! Кузьмич? Извини, что поздно потревожил. Можешь ничего не говорить жене... Сказал уже? Ну, так обрадуй ее: никуда ты завтра не поедешь... Нет, ничего такого не стряслось. Просто... как бы тебе ска- зать... в общем, без нас обошлись...



ТВОИ РУКИ

В

от говорят: Россия!
Реченьки да березки...
А я твои руки вижу,
узловатые руки, жесткие.
Руки от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые...
Отдохнуть бы — да нет привычки

им лежать на коленях праздно.
Я куплю тебе рукавички,
хочешь синие, хочешь красные.
Не говори: «Не надо!»
Мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
застуженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осила,
добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
Матерь моя, Россия!

УТРО

Все очень легко и странно,
знакомо и незнакомо.
Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкой брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.
Торжественный и спокойный
звук наполняет дом,
словно дальний звон
колокольный:

Дон!.. Дон!.. Дон!..
Гремит печная заслонка,
трещит береста в огне,
стучат торопливо, ломко
ходики на стене.
Лежу, ни о чем не думая,
слушаю, как легки
старческие, бесшумные
войлочные шаги.
Страшно пошевелиться мне:
слушаю, не дыша,—
поскрипывает половицами
дома душа.

* * *

Опять утрами лучезарный иней
на грядках,
на перилах,
на траве.
Оцепененье. Воздух дымно-синий.
Ни ласточки, ни тучки в синеве.
Сияющая обнаженность рощи,

лиловых листьев плотные пласты...
Наверно, нет
пронзительнее, проще
и одухотворенней
красоты.
...Все чаще думается мне с тоскою,

что впереди не так уж много дней.
Я прежде не любила Подмосковья.
Кого винить мне
в бедности моей?
А это все существовало. Было.
Лес. Первый иней. Талая вода.

Шел дождь.
Шиповник цвел.
Метель трубила.
...Я и тебя когда-то не любила.
Где я была?
Кто я была тогда?

* * *

Сутки с тобою,
месяцы врозь.
Спервоначалу
так повелось.
Уходишь, приходишь
и снова прощаешься,
и снова то в слезы,
то в сны превращаешься,
и снова я жду,
как во веки веков
из плавannya
женщины ждут моряков.

Жду утром, и в полдень,
и ночью сырой,
и вот ты однажды стучишься:
«Открой!»
Тепла, тяжела дорогая рука...
А годы летят,
как летят облака,
летят-пролетают,
как листья, как снег...
Мы вместе — навек.
В разлуке — навек.



Владимир Ханжин

ВСЕГО СЕБЯ — ЛЮДЯМ

ОЧЕРК

Когда он говорит, худощавое лицо его полно движения: лоб то собирается в складки, делается словно уже, то расправляется, сходятся и расходятся брови; острый подбородок то задиристо выдвигается вперед, то вместе с упрямым наклоном головы уходит вниз, едва не упирается в грудь. Все это стремительно, непрерывно — на всем протяжении речи. И руки его тоже не знают покоя, размашистые, резкие движения их столь же энергичны и выразительны, как и лицо.

Я не знаю, какого цвета были у него в молодости глаза. Как и у большинства пожилых людей, они поглубели с годами, будто ледочек лег под седоватые брови. Но они, как и все в этом человеке, словно открытая книга — что на сердце, то и в глазах, острых, живых, переменчивых: то лукавых, то сердитых, то растроганных.

Ростом он невысок, довольно коренаст, для своих семидесяти лет завидно строен.



Константин Викторович Горячев — маляр. В Перове — это на окраине Москвы, — на вагоноремонтном заводе, а с недавних пор заводе по ремонту электроподвижного состава, есть цех, в котором окрашивают вагоны. В этом цехе и работал Константин Викторович.

На вагоноремонтный Горячев пришел в 1909 году. В семнадцатом вступил в Коммунистическую партию, тогда же — в Красную гвардию. Вся жизнь его связана с заводом, с его людьми.

Рассказ пойдет о некоторых эпизодах этой необычной и вместе с тем обычной для таких, как он, людей жизни.

Не помню, в какую по счету нашу встречу состоялся разговор, с которого я хочу начать, но к тому времени я уже немало знал о Константине Викторовиче.

«Как тогда...»

Он умеет и любит рассказывать, но в тот день — я пришел к Константину Викторовичу домой — мы побыли вместе недолго.

— Придется прерваться. Прошу извинить... Завтра у нас в Перове памятник открывается — жертвам революции 1905 года. Надо мне своих товарищей известить, когда точно прийти.

На открытие памятника — это было в канун сорокалетия Октября — приглашались все старые коммунисты-перовцы.

— Как же вы их оповестите, Константин Викторович? Неужели всех обходить будете?

— Что вы! Разве они только в Перове живут? И в Москве, и в Люберцах, и в Ухтомской.

— Так как же?

Мы уже миновали двор. Захлопнув за собой легонькую дощатую калитку, Горячев щелкнул задвижкой. Обернувшись ко мне, сказал серьезно и не без гордости:

— По цепочке оповещу. Как тогда...

Как тогда...

Мне представляется комнатка в бревенчатом домишке, схожем с десятками

других кособоких, вросших в землю двух-трехоконных строений, из которых главным образом и состояло Перово, именовавшееся тогда селом. В комнатке живут четверо — молодая семья.

Глубокая ночь. Все спят. Малыши-близнецы с матерью: по одну сторону девочка, по другую мальчик, уткнулись носами в материнскую грудь.

Обстановка убогая. И как ни мала комната, она кажется голой. Вот почему сразу бросается в глаза винтовка, приставленная к стене, у кровати, на которой спит глава семьи.

На улице чьи-то одинокие шаги, тяжелые и торопливые. Идет, видимо, кто-то очень рослый и сильный. Спешит. Вот он возле дома и сразу же, еще не остановившись, стучит в окно.

— Костя! Костя! — слышится голос.

Горячев вскакивает.

— Костя, с винтовкой — на станцию Перово! Слышишь?

Горячев еще сонным голосом отвечает:

— Слышу, Илья...

Он знает, что это Илья, не только потому, что узнает его голос, но и потому, что по заведенному и строго соблюдаемому в красногвардейском отряде порядку поднимать его, Горячева, в случае тревоги должен именно Илья — Илья Новиков, тоже рабочий вагоноремонтного завода.

В тишине ночи еще слышны шаги удаляющегося Новикова, а Горячев уже одет. Не глядя на жену — она проснулась и лежит молча, — взял винтовку, сдернул с гвоздя шапку, надвинул ее молодцевато набекрень, расправил под ремнем складки суконной, защитного цвета тужурки, присанился, шагнул к двери и только тогда, уже с порога, обернулся к жене.

Она знает все: если тревога, значит, где-то в округе зашевелились контрреволюционеры; отряд выступит, возможно, будет бой и, возможно...

Возможно все.

Молодая женщина покосилась на малышей — сначала на одного, потом на другого, подняла тоскливый взгляд на мужа.

Приглушая в себе вспыхнувшее чувство, Горячев молодцевато одергивает тужурку, круче надвигает шапку, улыбается как можно веселее. Но долго еще после того, как он закрывает за собой дверь, глаза жены стоят перед ним.

Прощаясь взглядом с женой, он лишь на мгновение задержался у порога, а ему кажется, что простоял долго, непростительно долго. И он ускоряет шаг. Ему надо не просто явиться к месту сбора отряда, а еще оповестить Василия Рыженкова. А Рыженков оповестит следующего красногвардейца. Так, по цепочке, будет поднят весь рабочий отряд.

Это было в 1917 году.

И вот в 1957 году, в канун сорокалетия Октября, он говорит мне:

— По цепочке оповещу. Как тогда...

— С кого же вы начнете?

— Да все так же, к Рыженкову пойду,

к Василию Андреевичу. А он Ивана Васильевича Певчева известит. Певчев, как положено, в Москву позвонит Василию Андреевичу Сорокину...

Дом 9-а

Узенький проулок вывел нас на широкую, как поле, улицу Ухтомского. Здесь мы простились. Глядя вслед Горячеву, я снова мысленно отмечаю, как на редкость прям он и крепок для своих лет, как твердо и широко шагает, как идут к его собранной коренастой фигуре черная суконная куртка и черная поношенная кепка.

Потом оборачиваюсь назад, смотрю на дом, в котором живет Константин Викторович с детьми и внуками.

Дом 9-а. Крутая железная крыша, рубленые стены; по обе стороны — застекленные веранды.

Дом этот далеко не нов, я знаю — ему уже под сорок.

После революции, в двадцатом году, рабочие решили: старое Перово с его лацугами, кривыми, грязными улочками ломать, на его месте строить новое. Организовали рабочий кооператив.

Первые дома нового, советского Перова заложил на окраине села, там, где стоял высокий, густой лес и куда перовцы ходили по грибы.

Строительством домов руководил подрядчик из частников, рабочие были незнакомые, приезжие, нужно было иметь на стройке свой глаз. Партачейка поставила комиссаром при подрядчике Константина Горячева.

На стройке было много неполадок, и Горячев старался вникать в каждую деталь. И не только на стройке. Вокруг — свежие следы войны, разрухи. Всюду ему хотелось приложить свои силы, помочь. Случалось, вмешивался в дело, в котором очень мало или даже вовсе не разбирался, а удержаться не мог — кипело сердце.

К четвертой годовщине Октябрьской революции был готов первенец стройки — четырехкомнатный дом. На собрании кооператива единодушно решили поселить в нем маляра Горячева, «высокоосознательного рабочего, красногвардейца, одного из организаторов первых коммунистических субботников на заводе».

Утром 7 ноября 1921 года в лесу, на строительной площадке возле железнодорожной ветки, сооруженной перовцами специально для новостройки, состоялся митинг: рабочая власть вручала рабочей семье ключи от первого дома. На фасаде дома повесили лозунги, на углах и вокруг окон — гирлянды из хвои. На стене прибили доску с надписью: «Открыт в честь четвертой годовщины Октябрьской революции». Многие годы потом висела эта доска, напоминая о том, что именно здесь берет свое начало новое Перово.

В лесу выростали дома. Рабочие семьи покидали лачуги, бараки, подвалы. А ком-

мунисты уже зажглись новой идеей — задумали электрифицировать рабочие жилища.

Подстанцию строили силами заводского коллектива. В день открытия на ее здании алело полотнище с крупной цифрой «500». Она означала число электрических лампочек, которые должны были загореться в домах. По тем временам это был немалый масштаб. Но не в числе суть. Свет пятисот лампочек, зажженных энтузиазмом рабочих-коммунистов, был светом социализма в домах трудового Перова.

На открытии подстанции говорили жаркие речи о коренном переустройстве быта: на очереди были фабрика-кухня, дворец культуры, парки. И те, кто выступал, и те, кто слушал ораторов, твердо знали: это будет.

Револьвер о двадцати зарядах

Я заметил: рассказывая о себе, Константин Викторович более всего боится выглядеть личностью особенной. И хотя за свою беспокойную жизнь Горячев сверх меры хватил тягот, он умалчивает о них. Он любит рассказывать занятные, интересные эпизоды, особенно такие, в которых есть над чем посмеяться. Сам же он при этом не смеется, но хитро щурит живые, веселые глаза.

Так вот, с юмором рассказал он мне однажды историю своей дружбы с крестьянином Иваном Петровым.

Началось почти так же, как в рассказе Чехова «Пересолил». Разница в том, что у чеховского героя, землемера, никакого оружия не было, а Горячев его имел. Ну и по характеру своему, конечно, герои разные.

Ночь. Пустынная, молчаливая дорога. Она ведет от станции к отдаленным деревням, в дикую лесную глушь.

С тех пор, как Горячев в числе многих сотен московских коммунистов выехал на село, он во второй раз проделывал путь от ближайшей к районному центру железнодорожной станции до безвестной, затерявшейся среди лесов убогой, нищей деревеньки.

Возница жил на пути к ней, ближе верст на шесть-семь. Эти шесть-семь верст Горячеву предстояло одолеть пешком.

Пофыркивая, неторопливо бредет лошадь. Колеса постукивают о потвердевшую землю — весна, снег уже стоял, но к вечеру слегка подморозило. Возница — широкоплечий, рукастый детина лет тридцати — Горячеву не нравятся: неразговорчив, поглядывает исподлобья. «Не из кулаков ли?» А время особенное — коллективизация: кулачье озлоблено. Надо быть начеку.

Улучив момент, Горячев переложил револьвер из кармана брюк в полушубок, за пазуху. Возница увидел револьвер. Остановил лошадь, слез с телеги. Косясь на седока, вытянул из-под сена мешок, из

мешка — топор. Демонстративно потрогал лезвие пальцем. Снова сел на передок телеги, положил топор рядом. Еще раз покопался на седока и дернул вожжками.

Деревня встретила их темными окнами и собачьим лаем. Возле второго с краю двора возница остановил лошадь, повесилел.

— Ну, я дома. А ты куда теперь?

— Пойду в Чернуху.

— Один. В эту-то пору?

Горячев покосился на избу — нет, вроде не похожа на кулацкую. Перевел глаза на возницу, окинул его настороженным взглядом. Тот, в свою очередь, примерно таким же взглядом прощупал Горячева.

В избе вспыхнул желтый свет керосиновой лампы.

— Может, пустишь переночевать, — нерешительно попросил Горячев.

— Что ж... заходи, — последовал столь же нерешительный ответ.

Хозяйка встретила приехавших на пороге. Молодая, ладная, быстрая — уже и причесться успела и самовар разогреть поставила. С печи сползли двое ребятишек — мальчики лет четырех и шести. Константин Викторович раскрыл старый, истрепанный чемоданишко, высыпал на стол конфеты, печенье, баранки — в районном центре получил посылку из дома. Ребятишки обомлели, стоят — не дышат. Родители переглянулись.

— Ты кто хоть будешь-то? — спросил хозяин.

Горячев показал удостоверение. Хозяин прочел, лицо его осветилось виноватой, доброй улыбкой.

— Я тебя, слышь, за грабителя было принял.

За чаем познакомились ближе.

— Дивлюсь я тебе, — раздумчиво говорил Иван. — Из Москвы и к нам, в леса. Да деревню-то какую выбрал! Хуже, поди, во всей области нет. Одно слово — Чернуха.

Жили в Чернухе углежогии — люди сумрачные, злые на свою судьбу. На изрытых оспой лицах — перенесли болезнь в четырнадцатом или пятнадцатом году — несмываемые, ввевшиеся в кожу следы копоты. Избы у всех с земляным полом, а кой у кого и не избы, а скорее землянки. Спали люди вповалку, на полу, только солому подстилали. По утрам деревня окутывалась дымом — жгли уголь; не видно было солнца, леса, что стоял окрест.

— Ночь-полночь в дороге, — рассуждал Иван. — Трясешься на подводах. А в Чернуху придешь, шей путных не похлебашь. Разве что дыму одного. Какой тебе расчет, не пойму?

— Приказ небось, — заметила осторожно жена. — Коли партийный, должен приказу подчиняться.

— Приказ не приказ, а задание от партии, — пояснил, улыбаясь, Горячев. — А ведь в партию-то я по своей доброй воле вступил.

— Расчет-то какой? — не унимался хозяин.

— Расчет простой: хочу, чтобы не было у нас в России таких вот Чернух, чтобы повсюду люди по-человечески жили...

Так завязалась их дружба. Много раз по дороге в район и обратно останавливался Горячев у Ивана. Принимали его радушно, как своего.

Горячев приехал в Чернуху на весенний сев. Убеждал посеять выгодные и крестьянам и государству культуры. Одновременно выполнял и главную свою задачу — подготавливал условия для создания колхоза. Действовал неторопливо, осмотрительно — очень уж темный народ. Да и материальной базы для колхоза не было, требовалась помощь из города.

И вот что случилось однажды.

Горячев возвращался из районного центра, Ивана дома не застал. Был поздний вечер. Хозяйка рассказала:

— В селе с утра — собрание. Наверно, насчет колхоза разговор идет. Иван не знает, к какой стороне примкнуть. Коли скажет за колхоз, родня не простит — вся родня у него зажиточная; Иван недавно от отца отделился.

Уступив гостю кровать, хозяйка постелила себе напротив, на широкой лавке возле окон. Задула лампу, разделась, притихла под одеялом.

Константину Викторовичу не спалось: что решит Иван? С чем придет с собрания?

На стене пощелкивали ходики. Сладко сопели на печи ребятишки.

Вдруг хозяйка тихонько соскользнула с постели на пол, поползла к кровати, Константин Викторович опешил: «Ах ты, чертова бабенка! Иван там жизнь свою решает, а у ней вон что на уме!»

Хозяйка ближе. Вот она возле кровати. Шепчет:

— Константин Викторович!

«Ну погоди, я тебя так отошью, будешь помнить». Горячев сделал вид, что просыпается:

— А? Что?

— Константин Викторович, там стоят...

— Кто стоит?

— Мужики. Кажись, Иванов брат, кум да еще кто-то. В простенках стоят. Караулят. Не знаю, кого, может, вас, может, Ивана.

«Вон оно что! А я-то! Придет же в лову!» Горячев едва не расхохотался.

— Ладно, возвращайся потихоньку, — шепнул он. — Сейчас что-нибудь придумаем. Боишься?..

— Господи, а как же!

— Ничего, сейчас мы их шуганем...

Вот что, я буду громко разговаривать, а ты мне отвечай.

Когда женщина добралась до своей постели, Горячев заговорил, да так, чтобы за окнами услышали:

— Не спишь?

— Какой уж тут сон! Никак Ивана не дождусь.

— Говоришь, многие в деревне обозлены?

— Обозлены, Константин Викторович.

— Эх, люди, люди! Ведь сказано, что

перегибы были. А теперь никого силком в колхоз загонять не станем. Пусть те идут, кто сумел понять, какой мы, большевики, для трудового крестьянства жизни хотим... А за меня ты не бойся.

— Страшно, чай. Один вы всегда.

— А ты пушку у меня видела?

— Видела.

— А сколько в ней зарядов, знаешь?

— Не знаю.

Хозяйка говорила правду — она не знала, сколько в револьвере Горячева патронов. А было их два из семи возможных.

— Двадцать. Если что, ни один заряд не пропадет. Я еще в восемнадцатом году эту науку прошел. Сам никого, конечно, не трону, но если кто сунется, пусть заранее себе заупокой читает... Ты спи. Я, пожалуй, пойду на крылечке посижу, подышу свежим воздухом.

Когда Горячев, одевшись, подошел к окну, хозяйка обрадованно сказала:

— Сбежали. Как ветром сдуло...

Потом в тревоге прижала руки к груди:

— Ой, чего же Ивана-то нет и нет!

— А где собрание?

— В сельсовете, кажись.

— Одна останешься, не побоишься?

— Ничего. Запрусь покрепче.

Едва Горячев ступил за ворота, увидел — неподалеку от дома остановились трое. Молчат. Константин Викторович взгляделся — в полумраке обрисовалась знакомая фигура.

— Иван, ты?

— Ну я.— В голосе слышались и страх и угроза.— Кто это?

Горячев ответил. Сошлись. Иван вытер рукавом пот с лица.

— Не узнал, извините...

— А тебя, похоже, тут и в самом деле подкарауливали.

— Уж как пить дать. Ведь что было, Константин Викторович! — Голос Ивана дрогнул.— Я же за колхоз слово сказал. Теперь с провожатыми вот иду, одного-то того и гляди... Кум пригрозил.

Когда простились с провожатыми — они повернули назад, к центру села, — сумрак ночи уже редел на востоке, прокричал ранний петух.

...Осенью был создан колхоз и в Чернухе. Хоть и бедный, но устойчивый, с будущим.

«Спаси,

и никаких гвоздей!»

На заводе гремела слава бригады рабочих малярного цеха, первой ударной бригады в Перове. Возглавлял ее Константин Викторович Горячев — член бюро Ухтомского райкома партии.

Однажды вызывает Константина Викторовича секретарь райкома.

— Ты за снятие заведующего райздравотделом голосовал?

— Голосовал.

— Так вот, есть мнение, чтоб ты принял у него дела.

— Я?! Вы что?.. Да я ж в медицине ни уха, ни рыла!

— Мы тебя не диагнозы ставить посылаем, а политику партии проводить. Сам знаешь, не хватает людей. Конечно, хорошо бы коммуниста из врачей, так ведь нет... В общем, выношу вопрос на бюро.

Каждое медицинское учреждение, независимо какое — большое или маленькое, больницу или фельдшерский пункт, — в райздравотделе называли «точкой». В ведение Горячева поступила семьдесят одна точка. Закрывшись в кабинете, Константин Викторович несколько дней подряд изучал документы: отчеты, заключения, истории болезней. Установил, что чаще всего в районе выводит людей из строя язва желудка.

Что это за недуг — Горячев понятия не имел, как, впрочем, и о большинстве болезней, обнаруженных в медицинских отчетах. Вызвал заведующего районной больницей.

— Покажите мне эту самую язву!

— Для этого надо вам присутствовать на операции.

— Хорошо, как будет операция, позвоните.

Константин Викторович был на сессии райсовета, когда его вызвал к телефону хирург.

— Вот сейчас как раз назначено удаление язвы, товарищ Горячев.

— Тьфу черт, как не вовремя! Не могу же я с сессии уйти... Вы вот что... Когда вырежете язву, сразу привезите ее сюда, в райсовет, растолкуйте, что и как.

Хирург приехал, объяснил, как мог.

Но вскоре состоялось первое серьезное вторжение нового заведующего райздравотделом в область медицинской практики.

Является к Горячеву мужчина — косая сажень в плечах. Протянул ручищу, отрекомендовался:

— Литейщик Люберецкого завода сельхозмашин Королев. — Опустился на стул, пригладил ладонью волосы.

— Язва у меня, товарищ заведующий. Предлагают операцию.

— Что ж, надо соглашаться.

— Боюсь...

— Как не совестно! Такой здоровяк...

— Мало ли что — здоровяк! Кабы знать, что все хорошо пойдет. Если бы уверенным быть. Вот я и хотел просить вас, товарищ заведующий, сделайте сами!

— Что?.. Что сделать?

— Ну, операцию эту. Очень уж в больнице хирург молодой. А вы старше, у вас, значит, навык.

— Навык! Да ты знаешь, кто я?

— Известно кто, врач.

— Такой же врач, как и ты. Рабочий я. Ты литейщик, а я маляр.

— Ну-у!..

— Вот тебе и ну-у!

— Постой, это что же! Значит, тебя над всей медициной поставили. Поручили, значит?

— Поручили, сам видишь.

Королев просиял:

— Так это же хорошо! Это очень здорово даже! Так ты считаешь, можно ложиться на операцию?

— Можно.

— Ну и точка. Прежнему заведующему я не верил, чувствовал, понимаешь, бюрократ он, не лежала у него душа к нашему брату. А теперь, коли наш рабочий человек во главе, — точка! Только ты уж сам проследи, побудь там на операции.

— Побуду, будь спокоен.

Горячев сдержал слово, присутствовал при операции; когда литейщик ложился на стол, ободряюще кивнул ему.

Операция прошла успешно. Конечно, это была заслуга хирурга, хотя душевное состояние больного тоже вещь немаловажная.

Окрепнув, Королев снова явился к заведующему здравотделом. Обнял его.

— Спасибо, спас ты меня. Теперь повсюду стану говорить, какой у нас человек над врачами поставлен.

Но и врачам полюбился новый заведующий. Полюбили за то, что не щадил себя, старался всюду поспеть, вникнуть в каждую мелочь. Снабжение больниц и поликлиник, ремонт их, строительство новых «точек» — во всем сразу почувствовалась твердая хозяйская рука.

Впрочем, продолжались вторжения Горячева и в лечебную область.

Шло собрание медицинских работников в Краскове. Вдруг дежурная сестра из больницы сообщила: из дальнего колхоза привезли в очень тяжелом состоянии роженицу. Дежурный акушер считает, что нормальные роды невозможны; чтобы спасти женщину, нужна операция.

Константин Викторович объявил:

— Собрание прерывается на время операции.

Кое-кто возмутился:

— Что же теперь всем ждать? Сколько народу собралось...

— Ну и что? Погода стоит превосходная. Погуляйте пока. Фиалки вон расцвели. Хорошо бы для больных букеты набрать — по букету на тумбочку.

Вместе с двумя хирургами и медсестрой заведующий райздравотделом встал возле стола, на котором лежала больная. Врачи и сестра надели предохранительные маски.

— Вы тоже наденьте, Константин Викторович, — предложил один из хирургов. — Операция будет долгая, а с хлороформом шутки плохи.

— Ладно, ладно, — отмахнулся Горячев. — Я маляр, всю жизнь красками дышу, у них иной раз дух похлеще вашего хлороформа.

Константин Викторович переоценил себя, в середине операции потерял сознание. Очнулся в больничном коридоре, и опять — в операционную. Хирург уже снимал перчатки. Он устал до крайности. Казалось, дунь на него — свалится.

— Как? — спросил Горячев.

— Все в порядке, будет жить женщина.

— А ребеночек?

— Что ребеночек?
— Ребеночка-то спасли или нет?
— Да что вы, Константин Викторович! Такой тяжелый случай. Куда хотите!
— Спасайте ребенка!
— Товарищ Горячев, один шанс из тысячи...
— Ну и подавайте мне этот шанс! Спасите, и никаких гвоздей!..

Врачи и сестры бросились к младенцу. Принялись проделывать разные манипуляции. Трудно сказать, сколько провозились с ним — Горячев не запомнил этого; очевидно, долго. Но одно он запомнил хорошо, на всю жизнь — малыша спасли.

И все-таки Константин Викторович вздохнул с облегчением, когда ему прислали наконец замену — коммуниста с высшим медицинским образованием.

Снова заводская проходная, знакомые улыбки, дорожка в цех — в дом родной.

Комиссаром будет москвич

...Пронеслись годы. Именно пронеслись. Пожалуй, только по детям своим и замечал Горячев, как стремительно течет время. Давно ли они, ровесники Октября, были школьниками, а вот уже и школа позади, вот уже у дочери своя семья, а сын заканчивает техникум.

За эти несколько лет в жизни, в работе особых перемен не было — с завода никуда не отлучался. Жена радовалась: ведь не молод уже, можно и побереечь себя. Надеялась, что и дальше так пойдет. Но случилось иначе.

1941 год. Горячев уехал из Перова в ноябре. Все, что подлежало эвакуации с завода, было уже отправлено на Урал, в Свердловск или погружено. Начальником последнего эшелона был Горячев.

В Свердловске не успел оглядеться — вызывают к секретарю обкома. Оказалось, обком посылает группу свердловцев в глубинные районы организовать закупку и отправку картошки для города.

Закончив объяснение задачи, секретарь обкома сообщил:

— А комиссаром у вас будет москвич, человек, который революцию делал... Константин Викторович, сколько вам нужно времени на сборы?

— Повидаюсь с женой, и готов...

И не раз еще после этого выезжал он по заданию обкома на село. Одна такая командировка состоялась зимой, когда хлебоборобы обычно уже готовятся к весеннему севу. Обычно... Однако это было в необычную, военную, грозную зиму — враг вышел к Волге — и в необычной деревне. Все деревни терпели нужду в людях — мужчины на фронте, дома женщины да старики, — но в этой деревне дела шли совсем худо. Именно так и сказали Горячеву в райкоме: «Худо». Деревня дальняя, не-

большая, погоду в районе не делала, к тому же в райкоме людей тоже не хватало — вот и не доходили до всего руки.

Тридцать пять — сорок домов спрятались за сугробами. Окон почти не видно — снежные шапки низко свесились с крыши. Неподалеку от деревни, среди белых полей, тянулось неширокой впадиной заснеженное ложе реки.

Горячев и его бригада — все рабочие-перовцы, эвакуированные вместе с заводом, — приехали в деревню на подводе. Задание: помочь колхозу в подготовке к весеннему севу.

Председатель колхоза, болезненного вида мужчина лет тридцати, пригласил для начала к себе, погреться у самовара. Сахару и чаю не обещал, но самоваром похвастался с печальной улыбкой: «Полутораведерный».

Засиживаться в гостях перовцы не стали. И не только потому, что время не ждало: надоело слушать грустный перечень нехваток, которые испытывал колхоз.

— Ладно, с чего начинать? — прервал председателя Горячев.

Тот, несколько озадаченный, потер влажный, бледный лоб.

— Да вот плуги бы надо в порядок привести.

— Где они?

— В сарае... Пойдемте, покажу.

Сарай — за деревней, на отлете, стоит, со всех сторон подпертый сугробами.

— А бороны там же? — бросил Горячев председателю.

— Бороны-то... — Председатель обернулся к стоявшему на дороге старику, который был, очевидно, вроде завхоза. — Где у нас бороны-то?

— А там они... в поле, на яру. — Старик кивнул в сторону реки и, вздохнув, добавил уныло: — Там небось снегу по самую шею.

Горячев ничего не сказал в ответ. Хотел было зашагать к сараю, но взгляд его задержался на строениях скотного двора, расположенного между рекой и деревней. Возле коровника, еще добротного, хотя и не нового, стоял сарайчик, к которому подошла женщина с коромыслом. Эта женщина и заинтересовала Константина Викторовича. Поставив ведра, женщина обеими руками рванула дверь так, будто вход в сарайчик был забит гвоздями.

— Что у вас там? — спросил Горячев.

— Водогрейка. Для телят.

Шагая по глубокому снегу, Константин Викторович с недоумением и ожесточенностью думал: «Бороны в поле брошены. А дверь эта! Экая сложность ее поправить! Что тут у них творится! Отчего руки опустили?»

Все разъяснилось на другой день утром.

Еще накануне, провозившись допоздна с плугами, перовцы по дороге на ночлег заглянули в водогрейку и за каких-нибудь пятнадцать минут вернули двери ее нормальное положение. Утром шли опять мимо скотного двора и, заметив, что телят-

ница подходит к водогрейке с коромыслом на плечах, задержались. Сначала все повторилось: ведра поставлены у входа, руки женщины привычно, механически тянутся к двери. Рывок... Но дверь открылась легко, как бы сама собой. Оторопело поглядела женщина на дверь, на приезжего начальника — так окрестили в деревне Горячева, когда заметили, что у него под полушубком, на груди, ордена (на самом деле это были два знака «Почетному железнодорожнику»), — потом перевела глаза на смеющихся рабочих и, все поняв, сдержанно улыбнулась.

— Эх, бабоньки, бабоньки! — покачал головой Константин Викторович. — Неужели сами не могли починить? Плевое же дело.

Женщина потупилась и тихо произнесла:

— А-а... все равно...

— Как так? Что значит все равно?

— Война...

Константин Викторович удивленно посмотрел на женщину.

— Что вы? Все так настроены?

— Все не все, а дела... надо хуже, да нельзя...

К полудню перовцы вытащили из-под снега и перевезли к сараю бороны, но за ремонт пока решили не браться. Снова отправились на скотный двор.

Увидев здесь, как и всюду, запущенность, на виду у колхозников сняли пальто и полушубки, принялись за работу.

И побежал по деревне слух: «Приезжие-то скотный двор чистят. Сам начальник с вилами в навоз полез. Коли, говорит, не убрать вам тут, не доживете вы до нашей победы над гитлеровцами, утонете в грязи».

Вечером, растопив печь в правлении колхоза, перовцы присели было отдохнуть и подвести итоги дня. Оказалось, однако, что до отдыха еще далеко. Жители деревни, те, что посмелее и побеспокойнее, потянулись к правлению колхоза. До ночи засиделись колхозники в гостях у гостей, все толковали о делах. Когда прощались, Горячев спросил без всякого тайного умысла:

— А как у вас в домах? Может, тоже от нас какая помощь требуется?

Колхозники загудели: нет, мол, не требуется ничего, не тревожьтесь.

Вконец усталые, так и не успев подвести итоги дня, повалились перовцы спать.

А итоги выяснились сами собой. Утром к перовцам прибежал председатель колхоза и сообщил возбужденно:

— В деревне прямо чудеса творятся! Ночью кто-то слух пустил: москвичи завтра проверять пойдут, как в домах насчет чистоты. Сейчас кругом уборка, мойка — как есть перед праздником.

— Вот это замечательно! — воскликнул Горячев, еще не оценивший до конца значение новости, но от души обрадованный. — Когда человек в чистоте живет, у него и настроение совсем иное.

— Так настроение-то, Константин Викторович, и без того совсем иное. Ожил народ-то, повеселел...

А вскоре — Горячев к тому времени уже вернулся в Свердловск — радио принесло радостную весть: бои на Волге закончились нашей великой победой.

На Урале Константин Викторович не раз ездил по заданию в сельские районы. Но последняя поездка кончилась для него скверно. На маленькой станции — полевой, как говорят железнодорожники, — он спрыгнул с поезда, проходившего эту станцию без остановки. Возможно, кто-нибудь другой не стал бы рисковать, и был бы по своему прав. Но Горячев прыгнул — задание было срочное, да и характер сказался.

Его подняли с междупутья дежурный по станции и еще кто-то из железнодорожников. Сам встать не мог, не позволила адская боль в ноге. Срочно вызванный фельдшер снял с пострадавшего валенок, разрезал штанину и увидел явственно обрисовавшийся перелом.

Ревком

и цветочные клумбы

В один из весенних дней 1943 года в кабинете начальника Перовского завода шел разговор на тему, в ту пору чрезвычайно жгучую: как поддержать существование заводской столовой? Весна была трудная. Случалось, что официантки столовой с корзинами в руках отправлялись на ближние к заводу пустыри — повар посылал рвать молодую крапиву и прочую съедобную траву, что могла пойти в котел.

Правда, заводу — он только-только начинал становиться на ноги после возвращения из эвакуации — определили место для подсобного хозяйства в Рузе, под Москвой, но определили слишком поздно, орсовцы не успели запастись рассадой.

Проблема рассады среди всех проблем организации общественного питания особенно заботила собравшихся в кабинете начальника. Вдруг кто-то вспомнил:

— А этот, хромой... ну, что с костылями, он ведь выручает рабочих рассадой.

Начальник отмахнулся:

— Что там у него — крохи!

Но другие ухватились:

— Нет, отчего же. Он даже объявление повесил.

— Наскребем у него хоть что-то. Все лучше, чем ничего.

— Ладно, — согласился начальник. — Сходите к нему поскорее.

И вот Константин Викторович, постукивая костылями, явился в кабинет. Передвигался он уже довольно быстро — привык, да и нога подживала.

Он мало знал собравшихся, и собравшиеся мало знали о нем. За войну сильно обновилась заводские кадры.

— Говорят, у вас рассада есть? — спросил начальник.

— Есть. А какая вас интересует?
— Ну, капуста, например.
— Есть и капуста... Разная есть.
— Сколько? Корней пятьдесят хоть найдется?
— И побольше найдется.
— Сколько же? — повеселел начальник.

— А сколько вам надо?
Начальник повернулся к представителю орска. Тот покосился на Горячева с надеждой и недоверием вместе.
— Да ведь нам надо бы тысячи две.
— Дадите хоть четверть этого? — спросил начальник.
— Зачем же четверть, все две тысячи дам.

Начальник даже ахнул:
— Где вы сумели вырастить столько?
А вырастил Константин Викторович столько рассады возле самого завода, там, где стояла полуразвалившаяся оранжерея. В мирное время в ней разводили цветы. В войну садовник умер, и вернувшегося из эвакуации Горячева определили на его место. А возможно, и не на его место, возможно, в штатном расписании уже не было должности садовника и кадровики, желая помочь ветерану, воспользовались какой-нибудь иной вакансией. Приняв в штат, послали заведовать оранжереей для профформы — ну, какой спрос с инвалида! Послали, и как-то забыли о нем.

Горячев и сам не предвидел, какую службу сослужит заводу. Посеяв семена овощей во всех ящиках и на всех полках оранжереи, тешил себя скромной надеждой снабдить рассадой рабочих — тогда, как известно, каждый старался обзавестись хоть каким-нибудь огородиком.

Когда всходы окрепли, Константин Викторович пересадил их в открытый грунт вокруг оранжереи. Тысячи и тысячи корней. Как ухитрился справиться он с этой, явно непосильной для него, работой?

И вот — разговор в кабинете начальника, богатый, ошеломляюще неожиданный подарок заводу. Не карликовым перовским огородам, а обширным овощным полям подсобного хозяйства суждено было плодоносить благодаря возвращенной к жизни старой оранжерее.

...Пришел счастливейший сорок пятый год — год возвращения победителей. Гром оркестров на перронах; из широких дверей товарных вагонов выбегают, прыгают навстречу объятьям солдаты; слезы счастья, и сбивчивые речи, и песни, и плясовой круг. И цветы — великое множество цветов. Цветы в ликующих толпах, цветы на импровизированных трибунах, цветы на фронтонах вокзалов...

Но и потом, когда уже стали солдаты к станкам, необыкновенно велик был спрос на цветы. Люди тянулись к яркому, радостному, красивому: еще трудна жизнь, еще не хватает хлеба, так пусть будет вдоволь цветов.

И в старой оранжерее на Перовском заводе Горячев стал выращивать уже не овощную рассаду, а цветы. Возле цехов

появились первые клумбы. Первые и пока еще мало приметные. Они терялись среди всяческого хлама, загроздившего проходы между цехами и вообще всю территорию завода. Хлам накапливался годами — война уродует землю, безобразит жизнь.

На одном из совещаний у начальника завода Горячев сказал: надо очистить территорию от завали.

— Пока не до этого, — отрезал начальник.

Горячев вскипел:
— А я считаю, сейчас самое время о людях подумать. Об условиях труда, о здоровье. Насадим скверы, устроим фонтаны, не завод будет, а сад.

Многие из собравшихся лишь грустно улыбнулись.

— Ну что ты выдумываешь, чудак-человек! — покачал головой начальник. — Одного только металла надо убрать тысячи тонн. Кто это сделает? Какая сила?

— Есть такая сила.

— Где же?

— Она еще в восемнадцатом году открыта. Про коммунистические субботники забыли? А я помню, участвовал.

Присутствовавший на совещании начальник треста склонился к начальнику завода.

— Надо поддержать.

— Утопия. Устают люди за смену. Питание, сам знаешь, какое. Не выйдут, вот увидишь.

— А ты не загадывай.

Вышли, и немало — сорок человек. А начальник завода был сорок первым. Горячев перед самым началом субботника явился к нему и убедил его встать в ряды энтузиастов.

Там, где участники субботника растаскивали свалку сработанных колесных пар и всяких отходов производства, снимали ненужный железнодорожный путь, убирали мусор, грязь, ныне шумят высоченные тополя, раскинулся сквер — с цветниками, с фонтаном, со скамейками. И этот сквер — не единственный зеленый остров на заводской территории. Усилиями перовцев вся заводская земля — от проходной до дальних складских уголков — украшена деревьями и цветами. Мечты Константина Викторовича о заводе-саде принесли богатые всходы.

Однажды погожим летним днем я прошел через весь завод, угадывая места, о которых рассказывал мне Константин Викторович. Вот склад колесных пар — несколько параллельных рельсовых путей. И на всем их протяжении дружными шеренгами выстроились деревья. Склад утонул в зелени.

Деревья эти посадил Горячев.

Вот сквер возле домика заводского партийного комитета.

Когда для этого сквера расчистили площадку, кое-кто из руководителей вознамерился было возвести здесь цех. Горячев не уступил, убедил строить цех в другом месте.

А вот сквер, история которого полна особого смысла. Когда-то давно здесь стояло здание столовой. Потом столовую перевели в другое, новое помещение. Старое здание сломали — решили отвести это место под какую-то производственную постройку. Дело, однако, затянулось, подошла осень, а на месте снесенного здания продолжала чернеть залитая дождями земля. Константин Викторович не выдержал, взял да и посадил на этой земле тополя. Собственно, поначалу даже не очень было заметно, что здесь произведены посадки: торчат из земли обрубленные голые черенки — ничего общего с саженцами. Вскоре черенки засыпало снегом, и про них вовсе забыли.

А по весне случилось чудо — площадка закудрявилась юной зеленью: черенки отлично принялись. Надо было начинать стройку, а с земли глядели на людей молоденькие, веселые крепыши. Ну, разве поднимется рука вырывать их, так хорошо, так упрямо и дружно начавших жизнь. Стройке отвели другое место.

Миновали годы. Многие из нынешних рабочих-перовцев и не знают, что там, где теперь зеленеет самая тенистая на заводе, столь привычная и столь любимая рощица, стояло обветшалое здание заводской столовой. И уж совсем мало кто знает, что когда-то в чердачном помещении этого здания собирался заводской революционный комитет, а несколько позднее здесь находился штаб Красной гвардии.

Снесено старое здание; взращенные красногвардейцем Горячевым, поднялись тополя...

И любуясь ими, я повторил про себя мудрые слова Горячева: «Нет людей более заботящихся о жизни, о будущем, чем те, что сажают деревья...»

Записки Ильичу

Как-то мы договорились с Константином Викторовичем встретиться в редакции, поговорить о теперешних его делах — он член различных комиссий, у него полно поручений от парторганизации, от местного Совета депутатов трудящихся.

Но разговор сложился по-иному...

— Шел сейчас мимо Колонного зала... — начал Константин Викторович. Он сделал паузу, задумался о чем-то, потирая подбородок, и вдруг спросил: — Я вам не рассказывал, как мне посчастливилось

Ильича слушать? Нет?.. В Колонном зале это было. Зимой. Зал не отапливался. Колонны, помню, все инеем покрылись... Я был тогда секретарем партячейки на заводе. Перед началом совещания слух прошел: возможно, Ильич придет. Но совещание открылось, а Ильича нет. Расстроились мы. Эх, думаем, угрозидило же кого-то напрасно душу растревожить. Вдруг в президиуме заволновались, зашептались, назад стали оглядываться... И вдруг из-за сцены вышел Ильич. В руках часы с цепочкой, она на ладонь намотана. Сразу же извинился за опоздание, на ходу снял пальто, шапку. А как шапку снял, от головы парок пошел. Торопился, видимо, Владимир Ильич, а в зале-то холодина. Начал речь. Я так ряды в десяток сидел, близко. Слушаю, забыл все. Вдруг чувствую меня кто-то дергает сзади. Оборачиваюсь. А мне записку суют — дескать, передай в президиум. Передал. Только начал слушать, опять дергают за плечо, опять записка. Гляжу, и справа и слева от меня по залу записки передают. Бумагой шелестят, вырывают листки из тетрадок, друг у друга шепотом карандаш спрашивают. Я прямо растерялся. Ильич только речь начал — и вдруг эти записки. Да и вообще, какие могут быть вопросы или неясности, когда Ильич говорит! Он все так скажет, что на десять лет вперед видишь. А тут записки к нему, да еще в самом начале. Уж не грозит ли ему что? Не случилось ли что? Тревожно сделалось. У председателя этих записок целая горка. И он, вижу, тоже нервничает: то встанет, то снова сядет, с товарищами, которые в президиуме сидят, совещается. Наконец не выдержал, прерывает Ильича. Извините, говорит, Владимир Ильич, но вам тут из зала пишут, просят вас надеть шапку. Взял несколько записок и начал читать: «Ильич, в зале холодно, наденьте шапку». «Скажите, пожалуйста, Владимиру Ильичу, чтобы надел шапку», «Пожалуйста, попросите Владимира Ильича надеть шапку»... Ленин улыбнулся: ничего, ничего, говорит, товарищи, я совсем не замерз, спасибо. И продолжал речь...

Константин Викторович замолчал, в сильном волнении прошелся по комнате, вытер глаза быстрой своей рукой...

...Заканчиваю очерк и просматриваю записки об этой встрече с Горячевым. На одном листке читаю записанные мною слова Константина Викторовича: «Коммунист. Великая удача, великое счастье быть ленинцем. Всего себя — людям»...

ПРИГЛАШЕНИЕ В ДЕНЬ



День засмеян буйным светом:
Весь насолнчен,
День усеян разноцветом
Неумолчным,

До макушки нежным жаром
Промедвянен,
Горьковатым хмелем ярим
Отуманен,

Обцелован и обшарен
Ветром рыжим,
Продублен, насквозь пропарен,
Вымыт, выжат...

Словно тружеников плечи,
День огромен,
Как заботы человечьи,
Неуемен!

Бережлив, как наши руки,
И проворен:
Сколько к полдню у излуки
Скопит зерен!

Сколько песен сложит за день,
Сладит прясел!..
Он, как песня, прост и складен,
Ладен, ясен.

День доверчив, как ребенок.
Росной ранью
Он криклив, как сто бабенок
На собрание!
День, как ворон, недоверчив,—
Зоркий, хмурый.
Сладкий пыл его подперчен
Пылью бурой.

Он, как матери усмешка,
Человечен.
Он спешит, не может мешкать —
Он не вечен.

Труден день, как со злосчастной
Объяснение,
Весел он, как в день ненастный
Прояснение.

День, как доброта людская,
Необъятен,
Он, как совесть (есть такая),
Беспощаден!

В нем — и праздничный угар,
И праздник буден...
Выбирайте: дар? удар?
Входите, люди!



Г. Менделевич,

научный сотрудник Института
мировой литературы имени
А. М. Горького

РЕПОРТАЖ

Город ГОРЬКОВСКОЙ мечты

...11 мая 1917 года. Большой театр. Торжественное собрание, посвященное родившейся в первые месяцы после падения самодержавия «Ассоциации для развития и распространения положительных наук».

Зал восторженно встречает Алексея Максимовича Горького, по чьей инициативе русские ученые создали эту научно-просветительную организацию.

— Позвольте мне фантазировать, — говорит писатель, — я делаю это с глубокой уверенностью в том, что нет фантазии, которую воля и разум людей не могли бы превратить в действительность.

Мне рисуется учреждение, которое я назвал бы «Городом Науки», это ряд храмов, где каждый ученый является жрецом, независимо служащим своему богу. Это ряд прекрасно обставленных технических лабораторий, клиник, библиотек и музеев, где изо дня в день зоркие, бесстрашные глаза ученого заглядывают во тьму грозных тайн, окружающих нашу планету. Это — кузницы и мастерские, где люди точного знания, кузнецы и ювелиры, куют,

гранят весь опыт мира, превращая его в рабочие гипотезы, в орудия для дальнейших поисков истины.

В этом «Городе Науки» ученого окружает атмосфера свободы и независимости, — атмосфера, возбуждающая творчество, и работа его создает в стране атмосферу любви к разуму, вызывает в людях гордое любованье его силой, его красотой.

Вот фантазия, которую может осуществить только наука; вот чудо, которое способна сотворить только она, ибо нет чудес, кроме тех, которые создают наука и действительность...

Перечитав недавно эту малоизвестную речь Горького, я подумал: «Да, ведь все это прямо относится к Сибирскому отделению Академии наук! Ведь горьковская фантазия уже осуществляется, и именно в том крае, о котором писатель говорил: «Сибирь — страна с большими горизонтами».

Захотелось своими глазами посмотреть на это...

На берегу Обского моря

Прежде чем отправиться в путь, я зашел в Ленинскую библиотеку. Хотелось посмотреть газету коллектива Сибирского отделения Академии наук «За науку в Сибири», узнать, чем живут ученые сегодня.

Многотиражка только-только выходит из младенческого возраста — в июле ей исполнился год, — но она уже имеет свое лицо. Недавно газета провела дискуссию «Об облике ученого нового типа», сейчас ведет дискуссию «За коммунистический труд в науке». В одном из номеров опубликован проект новых программ для средних школ, который еще нигде не печатался. По этим экспериментальным программам будут вначале учиться школьники «Города Науки», а затем, вероятно, и других городов страны. В каждом номере газеты печатается аншлаг: до открытия ННЦ столько-то дней. ННЦ — это

Новосибирский научный центр, официальное открытие которого приурочено к празднованию сорокапятилетию Советской власти.

...Три тысячи километров до Новосибирска самолет «ТУ-104» преодолевает за четыре летных часа. Прилетев в Новосибирск, я тут же выехал к Обскому морю. Двадцать пять километров, — и вот он, раскинувшийся на берегу моря Новосибирский научный центр! Здесь все молодо: дома, люди, даже море — новорожденное Обское море, и всюду масса детей, преимущественно колясочного возраста, — вот первое впечатление, которое производит на приезжего академический городок.

В городе нет транспортной проблемы — радиус его всего два километра, а радиусы микрорайонов — пятьсот метров. Каждый микрорайон имеет свои магазины, школу, детсад, ясли. На главной

улице скоро вырастут торговый центр, десятиэтажная гостиница, главный почтамт, широкоэкранный кинотеатр, Дом ученых с большим залом для конгрессов и совещаний. Предполагается, что очередной (после Стокгольмского) международный математический конгресс будет проходить здесь.

Ученый нового типа

Первым, кого я увидел в Доме ученых, был академик Сергей Львович Соболев.

На протяжении многих лет мне доводилось встречаться с этим талантливым ученым. В 1937 году на предвыборном митинге в Московском университете я — студент первого курса — впервые увидел С. Л. Соболева — кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, двадцативосьмилетнего члена-корреспондента Академии наук. В 1947 году на стрельке Москвыреки спортклуб Академии наук отбирал гребцов для «академических» четверок. Как же я был приятно удивлен, когда моим соседом по лодке оказался Сергей Львович. Он с одинаковым увлечением занимался греблей и плаванием. Часто уже после того, как лодку вытаскивали на берег, он подолгу плавал, отрабатывая «кроль».

В последующие годы я видел Сергея Львовича на различных собраниях.

В 1957 году академики М. А. Лаврентьев, С. А. Христианович, С. Л. Соболев и другие виднейшие ученые Москвы решили работать в Сибири, создать там новый научный центр. Я знал, что академик Соболев возглавит Институт математики «Сибирской академии». И вот — встреча под Новосибирском, встреча совершенно неожиданная. В Москве мне сказали, что Соболев в отпуске, и я думал, что он отдыхает где-нибудь на юге. А он, оказывается, дома...

Разговор начался с кибернетической дискуссии, потом мы заговорили о напечатанной в «Юности» статье академика

Научно-исследовательские институты построены в стороне от жилых зданий. Между ними и жилыми кварталами сохранена лесозащитная зона. Даже названия улиц в юном городе и те необычны: Проспект Науки, Аллея великих открытий, Золотая долина...

«Аксиомы и парадоксы» — о подготовке научной смены.

— Я считаю, — сказал Сергей Львович, — что всякий отбор в институты является лишь временной мерой, пока нет возможности принять всех, стремящихся туда поступить. В дальнейшем каждый желающий учиться в том или ином вузе будет принят. Вопрос же о том, выйдет ли из студента специалист или нет, будет ясен после первых экзаменационных сессий. Для средних школ нужно разработать новые программы. Особенно устарели они по математике и физике. Наши ученые как раз сейчас и разработали новый проект таких программ для школ городка.

Недавно я выступил на дискуссии «Об облике ученого нового типа». Одна из черт такого ученого — коллективизм в работе.

И Сергей Львович увлеченно заговорил о коллективном творчестве.

— Решать проблемы современной науки, а тем более науки будущего непосильно одному, двум, трем и даже десятку самых талантливых людей. На каком-то этапе деятельности ученый должен перестать смотреть на свой труд как на нечто лично ему принадлежащее. Мне, например, пришлось пятнадцать лет работать в большом коллективе, который решал одну научную проблему. За все эти пятнадцать лет никто из нас, ученых, никогда не думал, что лично ему даст эта работа. Успех каждого оценивался точно так же, как свой, самый большой успех. Такой коллектив имеет огромное организующее влияние.

МАТРОС С КРЕЙСЕРА

«АВРОРА»

Однажды в Коломенском Дворце пионеров между ребятами разгорелся спор: боевыми или холостым снарядам стреляла «Аврора» по Зимнему дворцу. Кое-кого из старших вопрос поставил в тупик. И тогда они прибежали к Василию Ивановичу Широкову.

— Конечно, холостым, — улыбаясь, ответил тот. — Зачем же было портить народное имущество! Временное правительство испугалось и холостого выстрела.

В здании сразу погасли огни.

Василий Иванович знает это точно. Не по книгам.

...19 октября 1917 года. С утра судовой комитет «Авроры» начал выдавать личному составу новые удостоверения. Первым был вызван матрос Широков.

— Вручаем вам удостоверение номер один, — заявил комиссар «Авроры» Александр Викторович Бельшев. — Дорожите этой честью. Вы должны служить примером товарищам.

— Есть служить примером!

И только 25 октября Василий Иванович узнал,

что имел в виду комиссар: ему вместе с другими товарищами из экипажа было поручено произвести исторический выстрел. В корабельном журнале в ту ночь было записано: «25 октября в 9 часов 40 минут вечера крейсер «Аврора», согласно приказу Военно-революционного комитета, произвел условный выстрел по Зимнему дворцу для того, чтобы заставить Временное правительство сдать власть Советам».

А потом Василий Иванович охранял Смольный, где много раз видел В. И. Ленина.

...В 1918 году началась

Наш разговор продолжался в «Волге», за руль которой сел академик.

— С работами каких институтов (их в Сибирском отделении — двадцать один) следовало бы мне в первую очередь познакомиться? — спросил я.

— Сейчас много говорят о большой перспективности поисковых работ на стыках наук, — ответил Сергей Львович. — И это верно. Такие работы ведутся и у нас в математико-экономическом отделе и в группе машинного перевода. Обязательно познакомьтесь также с летней физико-математической школой — там много интересного. По всей Сибири ученые нашего отделения ведут широкий поиск талантов. Это очень трудная задача. Научная одаренность редко выражается однозначно, как, скажем, склонность к музыке или рисованию. Талант — это уравнение со многими неиз-

вестными. Летняя школа — питомник таких талантов.

Машина, въехав в микрорайон «В», резко затормозила у дома, где живут Соболевы.

Академик поселился в одной из квартир дома № 17 по Академической улице. От отдельного коттеджа в Золотой долине он отказался.

— Отсюда и мне и жене до институтов рукой подать, — говорит ученый.

Кстати, о происхождении поэтического названия «Золотая долина». В 1958 году в районе будущих коттеджей для ученых стояла «избушка лесника» — деревянный домик, в котором жил академик Лаврентьев.

Домик этот стоял в одетом багрянцем осеннем лесу — отсюда и пошла «Золотая долина»...

В недрах клетки

Сергей Львович знакомит меня со своей женой Ариадной Дмитриевной. Биография этой еще молодой и очень энергичной женщины необычна. Она поступила в медицинский институт, будучи матерью шестерых детей, седьмой родился после окончания института. Дети не помешали ей успешно защитить кандидатскую диссертацию. Сейчас она — старший научный сотрудник Института экспериментальной биологии и медицины.

Над какими проблемами работает институт?

— Об этом лучше рассказал бы директор, лауреат Ленинской премии Евгений Николаевич Мешалкин, — сказала Ариадна Дмитриевна, — но сейчас он в отъезде. Попробую рассказать я, конечно, в самых общих чертах. Проблема номер один — изучение сердечно-сосудистой системы. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания самые распространенные, от них

погибает каждый третий человек. Об операциях на сердце, аорте и сосудах, методика которых успешно разработана у нас, вы, вероятно, знаете, об этом очень много писалось. Часть этой же темы — изучение атеросклероза, но это уже «ведомство» заведующего лабораторией гистохимии, с которым я вам советую обязательно поговорить.

— Проблема номер два, — продолжала Ариадна Дмитриевна, — это бластоматозный рост, а попросту проблема опухолей. Чтобы проследить за изменениями, которые происходят в клетке, ученые применяют радиоактивные изотопы. Институт ведет исследования по регенерации — восстановлению и трансплантации — пересадке тканей и органов. Основное препятствие к трансплантации — биологическая несовместимость тканей реципиента и донора. Мы пытаемся гасить эту несовместимость радиоактивным излучением кобальтовой

национализация водного транспорта. Из армии были отозваны специалисты-речники.

Вернулся домой в Колмну и встал за штурвал буксирного парохода и Василий Иванович. Сорок лет водил он по Оке и Москвере караваны. Сотни тысяч тонн зерна, овощей, песка, камня, сена, нефти, дров перевез он за эти годы.

Недавно Широков вышел на пенсию. Но он не расстается со своим коллективом. Ранней весной, когда суда уходят из затона, Василий Иванович приходит сюда и провожает их

в путь, желает успехов.

Опытнейший штурман помогает молодым судоводителям рассказами о капризах Оки, о ее перекатах и извилинах, о том, как лучше провести пароход в межень. А нередко и сам, тряхнув стариной, становится за штурвал...

И дома персональный пенсионер Широков не сидит сложа руки, выступает с воспоминаниями о великих днях Октября перед комсомольцами и пионерами, перед работниками совхоза, названного именем флагамена революции.

В день своего шестидесятилетия Широков получил

поздравление от первого комиссара «Авроры» А. В. Бельшева. Министр речного флота в этот день отметил его заслуги почетной грамотой и денежной премией.

Свято хранит Василий Иванович удостоверение № 1 «Авроры» — дорогую реликвию грозных дней Великого Октября.

В. Голоскер,
подполковник запаса

Московский
КАЛЕЙДОСКОП

лушки. Объекты наших экспериментов — животные.

Работаем в самом тесном контакте с другими институтами: математики, физики, химии, автоматки и электроники. Эти институты помогают разрабатывать новую медицинскую электронную аппаратуру. Например, совместно с Институтом математики создавали мы диагностическую машину. Машинная обработка электрокардиограмм и энцефалограмм (запись биотоков мозга) помогает правильно установить диагноз.

На другой день я познакомился с Борисом Борисовичем Фуком. Этот тридцатипятилетний ученый два года назад защитил докторскую диссертацию. Он как раз заведует лабораторией гистохимии — одной из ведущих в Институте.

— Середина двадцатого века, — говорит Борис Борисович, — стала порой необычно быстрого развития химии и физики, которые смело вторглись в биологию и медицину. Возникли новые смежные науки — цитохимия и биофизика клетки. В прошлом году мне довелось присутствовать на заседаниях международного биохимического конгресса в Москве. Почти из всех стран мира съехалось более шести тысяч ученых. После конгресса, который подвел итог



Так выглядела будущая Академическая улица в 1959 году...

развития биохимии за последние годы, стало ясно, что решить коренные вопросы медицины нельзя без развития молекулярной биологии. Основные медицинские проблемы будут решаться и уже решаются на клеточно-молекулярном уровне. Вас интересует, какое отношение имеет все это к атеросклерозу? Самое прямое. Атеросклероз — заболевание организма, вызванное неправильным обменом внутри клетки. В результате жировое вещество — холестерин выпадает и откладывается на стенки сосудов, которые сужаются и делаются хрупкими.

Организм человека ведет борьбу с атеросклерозом. Он выделяет фермент, разрушающий холестерин. Следовательно, можно лечить склероз и искусственно, вводя в организм этот фермент. Мы и работаем над изучением свойств фермента, разрушающего холестерин.

Я заинтересовался: ведутся ли работы по совершенствованию протезов сосудов?

— Да, наша лаборатория работает и над этим. Пока что протезы сосудов изготавливаются из пластмасс, но они, по нашему мнению, канцерогенны. Успешно работаем над проблемой создания биологических протезов — протезов из тканей организма.

— А удалось ли вам погасить при этом биологическую несовместимость тканей?

— Нам удалось ее уменьшить, — ответил Фукс. — Во всяком случае, собаки, над которыми мы экспериментировали, преспокойно живут.

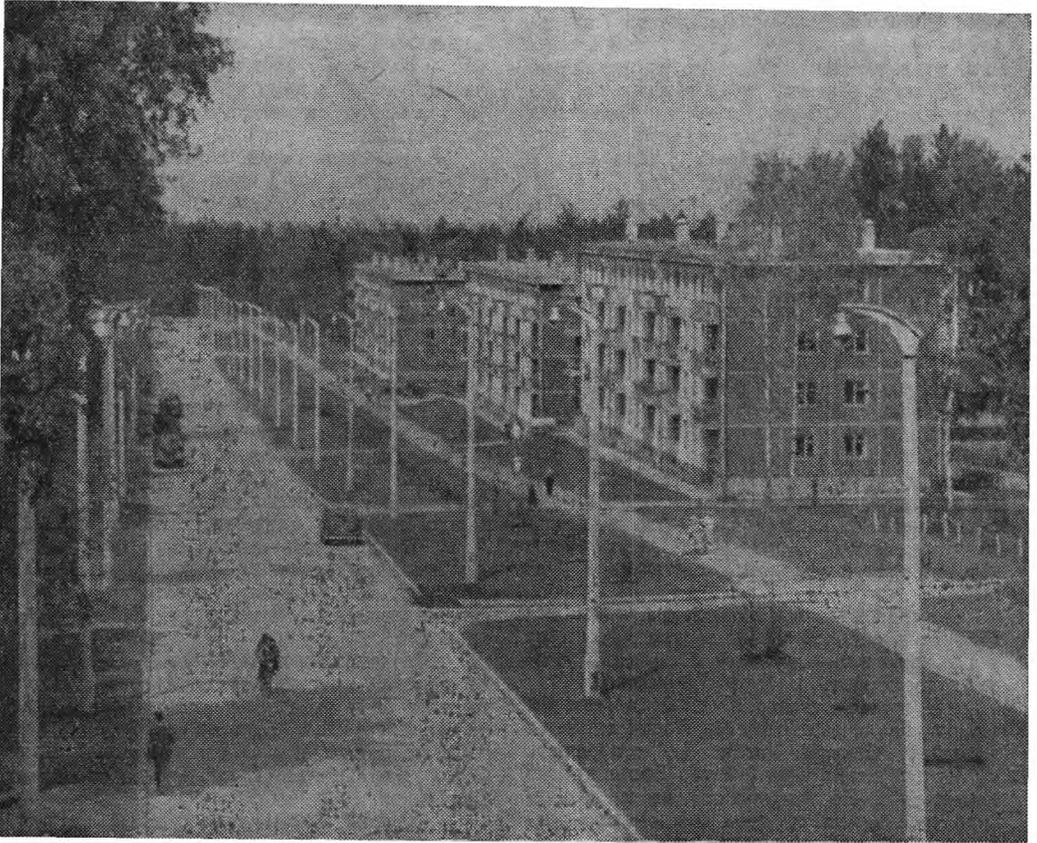
И словно догадавшись о моих сомнениях, Борис Борисович добавил:

— Некоторые данные об этой работе опубликованы в «Докладах Академии наук СССР». Кстати, мы поддерживаем тесный контакт не только с физико-математическими институтами. У нас прочные творческие связи и с родственным нам институтом цитологии и генетики. С этим институтом вам тоже интересно будет ознакомиться.

В 1959 году в «Москве» был напечатан репортаж «Город большой науки». Автор этого репортажа определял тогда лаборатории и институты Сибирского отделения Академии наук СССР по листочкам бумаги, прикрепленным на дверях одного из зданий в Новосибирске. Так он набрел и на лабораторию генетики животных, в которой было всего четыре сотрудника.

Бумажные таблички на дверях уже давно исчезли. Выросли красивые, светлые здания институтов в академическом городке. Бывший заведующий лабораторией генетики животных Дмитрий Константинович Беляев теперь возглавляет Институт цитологии и генетики, в котором более трехсот научных сотрудников.

Институт занят разработкой широкого круга проблем. Это и теоретические — такие, как расшифровка кода генетической информации. Исследуются вопросы управления наследственностью и наследственной изменчивостью. Производится опытное рентгеновское облучение растений и семян. Среди сугубо практических проблем — выведе-



...Так выглядит Академическая улица сейчас.

Фото А. Ахметова

ние новых гибридных сортов кукурузы для Сибири и другие.

Искусственно добиваясь увеличения числа хромосом в клетках (полиплоидия), ученые повышают сахаристость свеклы. И количество сахара в новых сортах свеклы уже увеличилось на пятнадцать процентов по сравнению с контролем. Выведены но-

вые сорта пшеницы, устойчивой против полегания, новые формы тополя и сирени. Разработана система разведения ценных пушных зверей — цветных норок, она рекомендована звероводческим совхозам.

Таковы результаты только некоторых работ этого Института.

Поиски новых Ломоносовых

На другой день секретарь комитета комсомола Борис Мокроусов пригласил меня принять участие в экскурсии по Оби и Обскому морю, организованной летней физико-математической школой. Я охотно принял это приглашение.

Нельзя сказать, что я ничего не знал о летней школе. Газеты сообщали, что для школьников — участников Всесибирской физико-математической олимпиады, успешно выдержавших два первых тура, — в Золотой долине организован летний сбор. Ребята слушают лекции виднейших ученых, решают задачи по физике и математике и отдыхают,купаются в море.

Первое знакомство с учениками и воспитателями летней школы состоялось на борту теплохода «Михаил Глинка». Любуясь берегами Оби, слушаю восторженный рассказ «начальника штаба» школы —

старшего воспитателя Людмилы Глебовны Борисовой.

Не лишена интереса история появления здесь этой женщины. Прочитав в «Известиях» статью академика Лаврентьева и членов-корреспондентов Будкера и Ширкова об организации летней физико-математической школы, педагог Борисова взяла отпуск и тут же вылетела из Ленинграда в Новосибирск. Людмила Глебовна, как и все преподаватели, воспитатели, научные сотрудники институтов и студенты университета, работала в школе на общественных началах.

В школе 250 детей. Здесь собрались ребята со всех уголков Сибири. В ходе летнего сбора 65 десятиклассников успешно сдали экзамены в Новосибирский государственный университет. Финалом летнего сбора был третий тур олимпиады. Победи-

тели были приняты на юношеский факультет — так называется физико-математическое училище Новосибирского университета.

Лучшие решения представили: по физике — Боря Козлов (поселок Тальменка Алтайского края), по математике — десятиклассники Сергей Федоров (Алма-Ата) и Боря Дрибинский (Москва).

Московский школьник — победитель Сибирской олимпиады?

О том, как Боря Дрибинский попал в Новосибирск и стал победителем олимпиады, он рассказывает:

— Правильно поступил журнал «Наука и жизнь», когда напечатал задачи заочного тура. Этим он помог тому, что в олимпиаде смогли участвовать и школьники. Из Москвы в Новосибирск поехал семь ребят. Шестеро прошли также и второй тур. Москвич Игорь Гальперин уже учится на физическом факультете Новосибирского университета. Я решил в третьем туре из десяти задач по математике шесть и вышел на второе место. Сейчас мы ждем вызова в Новосибирское физико-математическое училище.

...Когда писались эти строки, почта доставила очередной номер газеты «За науку в Сибири» с телеграммой, посланной ребятами космонавту майору Николаеву:

«О третьем фантастическом полете мы узнали на вечере защиты фантастических проектов. Сейчас, когда вы совершаете четвертый виток, идет 3-й тур Всесибирской олимпиады. Ее математические и физические задачи помогут нам очень скоро рассчитать новые космические трассы.

С радостью отдаем вам Красную грамоту абсолютного призера олимпиады.

Мысленно летим с вами.

Ждем скорой встречи на планете Земля.

Учащиеся летней физико-математической школы».

Ребята правы. Дорога в космос начинается со школы. Эту мысль предельно ярко выразили сами космонавты.

«Далек и труден путь человека к иным мирам, и он начинается на школьной скамье. Мы, космонавты,— пишет четверка «небесных братьев»,— горячо благодарны школе за то, что она открыла перед нами в детстве чудесный мир знаний, пробудила стремление к высоким целям, учила всегда и везде быть полезными людям, своей стране».

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ПОТОМКАМ

В октябрьские дни 1917 года на улицах и площадях Москвы шли жаркие бои. Особенной силы они достигали в центре.

В ходе боев красногвардейцы заняли Большой театр. По пожарным лестницам поднялись вверх.

— Мне было тогда лет двадцать пять,— рассказы-

вает Михаил Иосифович Златоверов, бывший военрук краснопресненского отряда.— До тех пор я никогда не бывал в Большом театре. И, как видите, мое первое знакомство с ним началось с чердака. Валы, лебедки, тросы— я попал в царство механизмов и удивился сложности театральной техники. Выбрались на портик и устроились за всем известными конями—

...Произошел взрыв! Почти мгновенно выделилось колоссальное количество энергии. Мощность, развиваемая тротильной шашкой весом в один килограмм при взрыве, превышает мощность крупнейшей электростанции.

Много веков взрыв служил делу войны и разрушения, но ученые нашли способы энергию взрыва использовать для блага человека. Укрощенный взрыв теперь строит тоннели, меняет русла рек, добывает из-под земли полезные ископаемые.

Ребята, затаив дыхание, слушают рассказ вице-президента Академии наук Михаила Алексеевича Лаврентьева, автора теории направленного взрыва.

Каждый вечер во дворе школы, у фонтана, ученые проводили с ребятами лекции-беседы. Назовем некоторые из них: «Математика и современное естествознание» — академик С. Л. Соболев; «Современная физика» и «Уравнения Максвелла» — член-корреспондент Академии наук СССР А. М. Будкер; «Математическая индукция» и «Программирование» — профессор А. А. Ляпунов; «Колебания и волны» — доктор физико-математических наук В. Л. Покровский.

...Теплоход прошел шлюз и вырвался на морской простор. Ветер крепчал, стало заметно покачивать. У меня завязалась беседа с группой подростков. Нравится ли ребятам в школе? — поинтересовался я у Саши Карбаинова из Александровска-на Сахалине.

— Очень! Знаменитые ученые читают нам лекции, просто и понятно рассказывают о сложных проблемах.

К разговору присоединился восьмиклассник Валерий Фатьянов.

— Вот раньше мне нравилась математика, а физику как-то не любил. А здесь стал смотреть на нее совсем другими глазами.

Некоторые ребята всю дорогу не выпускали из рук задачник. Не расставались они с книгами и на пляже.

...Теплоход причалил к берегу недалеко от Новосибирской ГЭС, мы расселись по автобусам и поехали домой — в школу.

Около школы я встретил одного из инициаторов ее создания — профессора А. А. Ляпунова. Еще издали узнал я его по стремительной походке и черной, как смоль, окладистой бороде.

Алексей Андреевич поделился со мной

отсюда отлично просматривалось расположение белих. Произвели несколько ориентировочных выстрелов. В ответ две мины разорвались перед самым театром. Тут мы поняли, что, если будем вести огонь отсюда, замечательное здание сильно пострадает. Наш совет был недолгим: решили оставить эту выгоднейшую позицию. Спустились вниз и построили баррикаду из

любопытной новостью. Американские математики, с которыми беседовал профессор, рассказали, что у молодежи США усилилось стремление к изучению точных наук. По мнению американских ученых, это вызвано феноменальными успехами СССР в области точных наук и новой техники.

Физико-математическая школа — только звено в системе подготовки кадров, разрабатываемой учеными ННЦ. Учатся школьники — учатся и учителя. Сибирское отделение Академии наук совместно с областным институтом усовершенствования учителей организовало летние курсы повышения квалификации. Восемьдесят преподавателей математики, физики, химии Новосибирской области слушают лекции академиков Векуа, Мальцева, Соболева,

членов-корреспондентов Академии наук СССР Воеводского, Николаева и других ученых. Учителя знакомятся с работой научных институтов и вычислительного центра, получают представление о новых проблемах и методах исследования в области преподаваемых ими наук. «Нет ученых без учеников», — этот лозунг, выдвинутый М. А. Лаврентьевым, стал крылатым в Сибири.

...Казалось, с летней школой все было ясно. Все же я решил встретиться с Андреем Михайловичем Будкером, членом-корреспондентом Академии наук СССР, председателем оргкомитета олимпиады и одним из главных организаторов летней школы.

Сделал это я не без умысла.

На стыках наук

Пройдя по Академической улице до автобусной остановки с табличкой «И. я. физики», я свернул направо и тут убедился, что изречение — к науке ведет не широкая столбовая дорога, а узкая каменистая тропинка — подчас можно понимать и в прямом смысле. Лавируя между штабелями досок и кирпича, добрался я до здания, где работает А. М. Будкер.

Перечисляя звания и должности Андрея Михайловича, я не назвал еще одной, самой главной, — создатель новых типов ускорителей; он возглавляет один из крупнейших научных центров ядерной физики.

Самый молодой в стране ядерный институт, возникший из лаборатории Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Академии наук СССР, состоит из комплекса корпусов: лабораторного, энергетического, инженерного и производственного, соединенных между собой подземно-транспортной переходной галереей. Институту придан также опытный завод.

Кабинет директора по-деловому скромный. На маленьком столике — портрет Игоря Васильевича Курчатова. На стене — доска, которая подчас становится ареной ожесточенных научных схваток. Именно у этой, испещренной формулами доски, — такой снимок мне показали, — сфотографированы А. М. Будкер и его гость — директор лаборатории ядерных проблем в Дубне профессор В. П. Джелепов.

Селектор на письменном столе позволяет ученому «прощупывать наполнение

пульса» в институте. То и дело, отрываясь от беседы, директор выслушивает короткие доклады, отдает распоряжения.

Беседа с А. М. Будкером началась с разговора на общие темы, зашла речь и о фильме «Девять дней одного года», с постановочной группой которого недавно встречались сотрудники института.

— В картине физики показаны как лирики в своей области. Хорошо отражена специфика работы ядерщиков, но в фильме есть и неправда. Физики — люди больших и глубоких чувств, и «союз трех» для них невозможен, — сказал ученый и над чем-то задумался.

Я попросил Андрея Михайловича показать институт.

...Минуем холл. Направо и налево — лаборатории, за ними большие машинные залы. Всюду защитные стены внушительной толщины. В одном из залов шел монтаж мощного ускорителя заряженных частиц. Почти рядом стоял уже работающий ускоритель на четыреста миллионов электроновольт. На этой действующей модели прошла проверку принципиально новая конструкция ускорителей. На вопрос о проектной мощности большого ускорителя Будкер ответил:

— Если бы он сооружался по схемам, разработанным для обычных ускорителей типа циклотронов и синхротронов, то диаметр магнита пришлось бы сделать по величине равным диаметру Земли.

Сравнение говорило само за себя.

дров, камней и земли между театром Незлобина (сейчас Центральный детский) и Большим. И продолжали бой...

Михаил Иосифович вспоминает еще один примечательный случай.

— Знаете, у Никитских ворот, напротив улицы Алексея Толстого, стоит церковь? Белые сильно укрепили ее, поставили пулеметы. Мы уже подтянули

три орудия, чтобы разбить белогвардейский узел обороны прямой наводкой. Но тут ко мне подполз Анатолий Попов, сын писателя А. С. Серафимовича, и передал приказ: церковь не громить. «Что за черт, — думаю, — мало в Москве церквей, что ли? Как-никак сорок сороков!» Но Попов объяснил: оказывается, церковь — историческая ценность, в ней венчался А. С.

Пушкин. Много было трудностей с перегруппировкой сил, но церковь мы все же сохранили, взяв ее обходным маневром.

Так старались московские рабочие, ведя жаркие бои, сохранить исторические ценности. Для народа. Для потомков.

В. Ерофеева

Московский
КАЛЕЙДОСКОП

Внезапно Андрея Михайловича отозвали в сторону. Предоставленный самому себе, я еще раз внимательно оглядел весь зал. Он был таких размеров, что только теперь я заметил в дальнем его углу пяти-тонный грузовик. Общая панорама напоминала кадры из фильма, о котором мы только что говорили. Впечатление усиливалось треском молотков, шипением электросварочных аппаратов, двигавшимися во всех направлениях кранами.

Почти все сотрудники, которых мы встречали, были молоды. Самым «старым» был директор, ему уже... сорок четыре года. Средний возраст заведующих лабораториями — тридцать два года, ведущих научных сотрудников — двадцать восемь.

Даже беглое знакомство с этим ядерным гигантом заняло целый день. Уже было темно, когда я вышел на улицу.

Назавтра предстояли новые встречи и беседы. Надо было выполнить «рекомендательную программу» С. Л. Соболева и обязательно побывать хотя бы в названных им отделах математического института.

После организации Института математики ННЦ превратился также и в один из крупнейших центров математической науки. Кроме директора — С. Л. Соболева, в институте работают академики И. Н. Векуа, А. И. Мальцев, члены-корреспонденты Академии наук СССР А. В. Бицадзе, Л. В. Канторович, большая группа докторов и кандидатов физико-математических наук.

При институте создан вычислительный центр, оснащенный новейшими моделями электронно-вычислительных машин. Двадцать тысяч операций в секунду — еще не предел скорости для этих машин. Услугами вычислительного центра пользуются многие институты Новосибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирский совнархоз. Со всех концов страны приезжают сюда на практику математики. Недавно сотрудники вычислительного центра сконструировали специальную приставку к электронно-вычислительным машинам. Она позволяет принимать по телетайпу из других городов запрограммированные задания.

Знакомясь с комплексными работами «Сибирской академии», понимаешь, почему здесь уделяют такое внимание изучению математики. Ведь люди с математической подготовкой — это не только будущие математики и физики, но также экономисты и лингвисты. Математика приходит на помощь и этим, казалось бы, далеким от нее наукам.

В математико-экономическом отделе института разрабатывают математические методы экономики и планирования, называемые линейным программированием. Используя методы математического анализа, здесь превращают экономику в точную науку. Как же это делается? Допустим, надо выбрать самый выгодный, оптимальный вариант изготовления пяти типов деталей на восьми станках или разработать кратчайшие маршруты снабжения восьми

городов пятью видами изделий. Для расчета любой из этих задач методами классической математики пришлось бы решить более миллиарда систем линейных уравнений с двенадцатью неизвестными. Даже если предположить, что уравнения будут решаться на самой современной электронно-вычислительной машине, то и в этом случае решение задачи потребует нескольких десятков лет.

Изучая уравнения подобного рода, Л. В. Канторович еще в 1939 году разработал принципиально новый эффективный метод их решения — метод разрешающих множителей.

Сейчас оптимальное планирование экспериментально внедряют в промышленность. Например, на Московском заводе малолитражных автомобилей этим методом рассчитан раскрой металла для кузова. В результате получена значительная экономия.

Подсчитано, что в ближайшие годы потребуется десять тысяч экономистов, имеющих специальную математическую подготовку. С нынешнего учебного года таких специалистов для Сибири будет готовить Новосибирский университет на механико-математическом факультете и на экономическом отделении.

...Из «запрограммированных» для меня задач оставалось решить последнюю — ознакомиться с работами по машинному переводу. И вот я у руководителя группы машинного перевода, сотрудника Института математики Алексея Всеволодовича Гладких.

— Надеюсь, вы не ждете, что я вам сейчас покажу перевод последнего романа Анны Зегерс, сделанный машиной. Авторы некоторых «сенсационных» статей о электронно-вычислительных «переводчиках» выдают желаемое за действительное, — начал свой рассказ Алексей Всеволодович. — Машинный перевод делает еще только первые шаги, перед нами стоят очень серьезные проблемы. Основная трудность — в разработке точного подхода к явлениям языка. Для того, чтобы сделать возможным машинный перевод, надо превратить лингвистику в точную науку. А это не так-то легко... Пока еще переводим с одного языка на другой только математические и химические тексты. Наша группа разрабатывает алгоритм перевода с немецкого на русский. Вот пока все, чем я могу вас порадовать, — резюмировал А. В. Гладких.

Замечательные достижения «Города Науки» продолжали раскрываться передо мною. Всюду теория и практика здесь идут рука об руку.

...Человек у орудия тщательно прицелился. Выстрел, и бетонная стена толщиной в пять метров превратилась в бесформенную груду обломков. Это орудие — гидронушка — стреляет только по мирным целям. Ее конструктор и командир — доктор технических наук Богдан Вячеславович Войцеховский. В стенах Института гидродинамики под руководством Михаила

Алексеевича Лаврентьева родилась эта удивительная машина.

С того времени, как раздались первые выстрелы гидропушки, не прошло и года, но сколько труда вложили ученые в ее модернизацию и дальнейшее совершенствование! Пожалуй, неизменным остался только ее внешний вид. Ударная мощность импульсного водомета увеличилась в десять раз. Теперь она достигла пятидесяти тысяч атмосфер. И не только этим могут гордиться ученые. Пушка стала стрелять автоматически. Импульсная струя успешно заменяет буровзрывные работы, сможет добывать она и уголь. Применение гидропушки позволит намного ускорить добычу руды, облегчить труд горняков, сэкономить много народных денег. Сейчас ее испытывают на особо твердых — скальных грунтах. Вскоре гидравлическая артиллерия займет свои позиции в карьерах.

Представляете ли вы себе параметры парового котла современной теплоэлектростанции? Это громоздкое сооружение пятидесятиметровой высоты. Общая длина труб котла достигает сотен километров. Вокруг него надо возводить огромное здание.

Как избавиться от котлов-гигантов? Ученые Института теоретической и прикладной механики, возглавляемого академиком Сергеем Алексеевичем Христиановичем, в содружестве с Ленинградским металлическим заводом разработали новый тип парогазовой силовой установки. Этот «гибрид» парового котла и газовой турбины не унаследовал от своих «родителей» ни громоздкого парового котла, ни огромных компрессоров, применяемых в газовых турбинах. Недалек день, когда все строящиеся теплоэлектростанции будут работать

на парогазовых турбинах. Электроэнергия станет дешевле на двадцать процентов.

А сколько еще примеров того, как, претворяя в жизнь Программу партии, ученые координируют свою работу с народнохозяйственным планом!

В работе научных коллективов «Сибирской академии» ощущается большая оперативность. Для решения важнейших комплексных задач здесь даже создаются временные лаборатории.

«Город Науки» строит вся страна. Сотни фабрик и заводов посылают сюда все необходимое, начиная от новейших электронных машин и кончая гвоздями.

Вместе с городом растет и дружная семья ученых. Инициативу москвичей — работать и жить в Сибири — подхватили ученые Ленинграда, Харькова, Риги, Львова, Таллина и многих других городов. И все они с гордостью называют себя сибиряками.

Дважды — в 1959 и в 1961 годах — в «Сибирскую академию» приезжал Никита Сергеевич Хрущев. Он подробно знакомился со строительством, обстоятельно беседовал с учеными, интересовался их работой и бытом, тут же на месте разрешал неотложные вопросы.

Открытие Новосибирского научного центра — большой праздник. Это еще один вклад советских людей в великое дело строительства коммунизма в нашей стране.

«Я с восторгом приветствовал бы построение города химиков и физиков, биологов и геологов, — говорил А. М. Горький. — Деятели науки — вот кто нуждается в тесном единении, и если б это единение организовалось — наука Союза Советов пошла бы вперед гигантскими шагами...»

В наши дни, когда советская наука творит чудеса на земле и в космосе, мечта великого писателя воплотилась в жизнь.

МЫ С ВАМИ

Говорят мастера культуры

День ото дня все больше и больше у Москвы зарубежных друзей. Из разных стран, со всех континентов едут они к нам, чтобы воочию увидеть город, который стал глашатаем свободы, мира и дружбы между народами. Для многих из них Москва — как бы второй родной дом.

Видные представители культуры, ученые, общественные деятели находят в нашей гостеприимной столице источник вдохновения и творческой радости. Всем добрым, честным людям открыты сердца москвичей. Советские люди искренне рады встречам с друзьями и бескорыстно дарят им свою дружбу и любовь.

Корреспонденты журнала «Москва» Евгений Лидин и Сергей Разгонов встретились с видными деятелями искусства, посетившими недавно Москву. Публикуем беседы с знаменитым американским пианистом Ваном Клиберном, итальянским режиссером, актером и драматургом Эдуардо де Филиппо, французским писателем и философом Жаном-Полем Сартром, американским художником и писателем Роквеллом Кентом и чилийской поэтессой Ниной Вила.

Частица моего сердца — в Москве

Ван Клиберн, американский пианист

Вана Клиберна любят у нас не только потому, что он выдающийся пианист. Его любят как друга нашей страны.

«Мне будет недоставать России...» В этих словах Клиберна не было позы. Он произнес их после конкурса имени П. И. Чайковского.

В памяти москвичей надолго остался вечер 1958 года, когда, закончив концерт, Клиберн впервые сыграл «Подмосковные вечера». С тех пор он неизменно заканчивал все свои выступления этой мелодией.

Мы встретились с Ваном Клиберном в номере гостиницы «Националь» после триумфального концерта в консерватории.



— Счастливы вновь увидеть Москву, москвичей.— Ван Клиберн улыбнулся своей обаятельной улыбкой.— Я видел много городов мира, но никакая экзотика не могла устоять перед натиском впечатлений, которые вновь окружили меня здесь.

Прямо из Шереметьева, где меня встречал мой дорогой друг дирижер Кирилл

Кондрашин, я, несмотря на поздний час, отправился на Красную площадь, которую очень люблю. Мне кажется, что детство мое прошло здесь, возле фантастического храма Василия Блаженного, на камнях мостовой, среди голубей.

Я навсегда полюбил вашу страну и привязался к ней. Отеческие объятия гос-

подина Хрущева, когда он был в Нью-Йорке, растрогали меня до глубины души. Было приятно и радостно видеть на моем концерте 14 июня в консерватории членов Советского правительства во главе с премьером Хрущевым. Эту высокую честь я отношу не лично к своей персоне, а ко всему американскому народу, воспринимаю как знак уважения к нему советских людей, их стремления жить в мире и добром сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Музыка соединяет народы, ее язык понятен всем, она помогает постичь духовный склад нации. Люди, уважающие культуру друг друга, никогда не захотят воевать ради целей каких-то сомнительных личностей. Важно сохранить непреходящее — нашу цивилизацию, в которой искусство играет не последнюю роль.

В Советском Союзе я повсюду видел стремление к миру. Это я понял после первого же своего концерта: люди, которые так принимают музыку, не могут хотеть разрушения и гибели всего того, чем мы с детства привыкли дорожить.

У вас действительно очень тонко понимают музыку и любят ее. Я могу судить об этом совершенно определенно, так как на себе испытал эту любовь. С эстрады я видел тысячи молодых людей, которые жили вместе со мной музыкальными образами. Не удивительно поэтому, что советская музыкальная школа дала миру столько блестящих исполнителей.

В области пианизма русские превзошли всех. Рояль, можно сказать, стал вашим национальным инструментом. Я с наслаждением и восторгом слушал Рихтера, Льва Оборина, Гилельса.

Мне не удалось приехать в Москву на Второй конкурс имени моего любимого Чайковского. Импрессарио увез меня в Мексику — контракт, ничего не поделаешь! Но я внимательно следил за соревнованиями.

Несмотря на усталость, я с удовольствием принял приглашение поехать на фестиваль современной музыки в город Горький.

Однажды, когда я стоял за кулисами и смотрел в зал, — это было во дворце Горьковского автозавода, — мне пришлось испытать минуты редкой радости. Я видел лица людей, которые понимают каждое движение музыкальной фразы, малейшую интонацию. Я узнал, что в зале было много рабочих, и мне захотелось играть для них. Я не мыслю творчества без аудитории.

В Советском Союзе у меня очень много друзей, и я чрезвычайно горд этим. Хотелось бы всех их обнять, но даже моими длинными руками не сделаешь этого...

Я уверен, что скоро приеду в Советский Союз. Мне всегда хочется ехать к вам: частица моего сердца, где бы я ни странствовал, остается в Москве.

Главное — интерес к человеку

*Эдуардо де Филиппо, итальянский драматург,
актер, режиссер*

Советские зрители, вероятно, помнят чудакватого бедного старика — неаполитанского трамвайщика Дженнаро. Эдуардо де Филиппо создал образ остро-социальный, волнующий предельной трагической простотой. На фоне могучего Везувия — жалкие лачуги бедняков, увековеченная несправедливость, подавление слабого сильным...

Именно за большую правду полюбили в Советском Союзе Эдуардо де Филиппо и его театр. Пьесы, написанные им, пользуются огромной популярностью. Пятьдесят пять театров нашей страны поставили «Филумену Мартуруано», шестнадцать театров — «Мою семью», многие театры — пьесы «Призраки», «Де Преторе Винченцо» («Никто»), «Ложь на длинных ногах».

Минувшей весной Эдуардо де Филиппо посетил Москву и Ленинград. Вместе с ним приехали труппа «Сан Фердинандо» и сын Эдуардо — Лукино — итальянский пионер, который мечтает о театральной карьере.

Мы узнали, что итальянский актер будет выступать в Центральном Доме актера на вечере, посвященном Международному дню театра. В перерыве мы провели с ним беседу.

Спектакли, увиденные мной на советской сцене, вселили в меня бодрость и желание снова взяться за перо. Я еду играть своих героев в Москву, в Варшаву, в Бу-



дапешт так же, как поехал бы в Неаполь, Турин, Рим.

Я всегда пристально следил за развитием первой в мире страны социализма.

В дни, когда Европа томилась в душной мгле фашистской ночи, я верил, что солнце свободы непременно придет с Востока. Мне радостно сознавать, что именно Советский Союз идет в первой шеренге борцов за мир.

Я не политик, но считаю, что театр, если он хочет служить человеку, не может обойтись без политических идей. Поэтому я очень высоко ценю реалистические тенденции советского театра, его общественную направленность, имеющую разнообразные формы художественного выражения.

Советский театр находится в очень хороших условиях — его поддерживает государство и уважает зритель. Тончайшая театральная культура советского зрителя поначалу удивляла меня, но потом я понял, что имею дело с людьми, которым, как нигде, доступны плоды духовной цивилизации.

Я слышал, как молодые инженеры спорили о проблемах театра. Скажу без преувеличения, они говорили профессиональным языком, в каждом их слове я чувствовал понимание специфики театра. Приятно и в то же время страшно выходить на сцену перед таким зрителем...

Советское общество благотворно влияет на человека — оно открывает простор совершенствованию интеллекта и развитию истинно человеческой морали.

Театр, как и другие виды искусства, — барометр общества. Классические традиции театра с развитием общества выветриваются. Изменяется техника, принципы режиссуры, декоративного оформления, но одно остается неизменным: интерес к человеку.

Система Константина Станиславского, великого преобразователя театра, выдержала соревнование, несмотря на все нападки со стороны модернизма, потому что она сохранила интерес к человеку. Как всякая классическая система, — а система Станиславского стала классикой, — она может иметь какие-то недостатки, видимые с позиций нового времени. Но принципы ее остаются важнейшим правилом каждого художника. Я считаю себя последователем великого русского актера и режиссера. «Максимум внутреннего и минимум внешнего» — это главное, что наш театр «Сан Фердинандо» взял на вооружение у Станиславского.

Я смотрел в Москве и Ленинграде много пьес, в том числе и свои. Впервые я видел собственное сочинение со стороны. И должен сказать, «Филумена Мартурано» в театре имени Евгения Вахтангова оставила у меня неизгладимое впечатление. Я понял, что драматург — слуга актера и режиссера. Но и режиссер, если он стремится к правде изображения, должен служить драматургу: досконально изучить литературный материал, ощутить скрытый механизм конфликтов, уловить мотивы поступков действующих лиц — и только тогда с чистой совестью, выполнив свой долг перед автором пьесы, начинать фантазировать. Мне в этом смысле гораздо легче, так

как я почти всегда выступаю как режиссер и драматург одновременно. Поэтому обидеть я могу только самого себя и спорить с самим собой.

В театре имени Маяковского я видел пьесу Арбузова «Иркутская история» в постановке Николая Охлопкова. Замечательный, современный спектакль! Я давно слежу за творчеством Охлопкова. Мне радостно видеть расцвет этого замечательного мастера. Спектакль решен элементарными средствами, главное его достоинство — простота. С поразительной силой разворачивается личная драма людей со всей сложностью их раздумий.

Увидев этот спектакль, я понял, как фальшивят иные театральные западные комментаторы, обвиняя пьесы советских драматургов в отсутствии психологизма, в схематичности конфликтов. Я увидел, как сцена становится отражением многообразной жизни советского народа и глашатаем добрых идей.

Итальянцы хотя и больше и больше знают о Советском Союзе. Поэтому такой огромный интерес вызвала у широкого круга читателей драма Арбузова «Иркутская история», напечатанная в журнале «Сипарио». Я ознакомился с текстом, но советские актеры превратили мир слов в мир действия, доставив мне своим мастерством редкое чувство удовлетворения.

Советская артистическая культура стоит на очень высоком уровне. В этом меня убедил спектакль «Никто» в молодом московском театре «Современник», который развивается по пути смелого экспериментирования. Детально продуманные мизансцены, не исключающие, однако, широкой интерпретации, эмоциональность и честность игры отмечают этот отличный коллектив.

Очень важно, что в Советском Союзе поощряется развитие национальных культур, каждая из которых вносит что-то интересное и своеобразное в единый ансамбль советской культуры.

Очень интересен с этой точки зрения цыганский театр «Ромэн». Я видел в фойе много людей, — едва ли среди них было много цыган, — и всем им было интересно видеть национальное искусство. Такова его специфика, оно становится мостом между берегами различных культур. Спектакли «Цыганка Аза», «Горячая кровь» понятны всем.

Я рад знакомствам, которые зародились у меня в московских и ленинградских театрах, — с большими режиссерами Николаем Охлопковым и Рубеном Симоновым, с талантливыми актерами Цецилией Мансуровой и Андреем Поповым, Юрием Толубеевым и бывшей таборной певицей, актрисой театра «Ромэн» Марией Скворцовой.

Необходимо поддерживать и всесторонне развивать формы культурного обмена между нашими странами. Хотелось бы больше видеть советских фильмов на экранах Италии. Советские картины «Летят журавли», «Дон-Кихот», «Баллада о солдате» получили огромную популярность в моей

стране. Этот интерес объясняется высоким качеством лент и стремлением итальянцев знать больше о жизни советского народа и его искусстве.

Я был счастлив посетить вашу чудесную столицу, ваш изумительный Ленинград, который олицетворяет для меня начало новой эры человечества.

Теплота и радушие советских людей вселили в мое сердце веру и надежду. Я верю, что дружба и мир, а не распри и война,— верная дорога, по которой пойдут народы. Смысл моего искусства — в служении этой цели.

Идеалы высокого гуманизма

Жан-Поль Сартр, французский писатель

...Он сидел в глубоком кресле и курил. Вечерний свет падал на его лицо. Блеск стекол очков скрывал взгляд писателя. Но когда он поворачивал голову, были видны его глаза — большие, глубокие глаза.

По приглашению Союза советских писателей Жан-Поль Сартр со своей супругой — писательницей Симоной де Бовуар — больше месяца находился в СССР.

Вот что рассказал известный французский писатель.



— Я не в первый раз приезжаю в вашу страну. Но прежние поездки были кратковременны, и только теперь удалось ближе познакомиться с многообразием жизни советского народа.

Я посетил Ленинград, Киев, Ростов-Ярославский. Разумеется, значительную часть времени отдал изучению Москвы. Я хотел познакомиться с различными сторонами советской культуры, так как культура — великое средство объединения людей.

Советские города подобны кипящему рою. Наиболее характерная черта их пейзажа — силуэты строящихся домов. Во Франции тоже строят, но дух этого строительства там совсем иной.

С давних пор я интересуюсь архитектурой. И мне было чрезвычайно интересно увидеть в Ростове-Ярославском единственные в своем роде памятники древнего русского зодчества, сохранившие обаяние глубокой старины. Было радостно от того, что на большинстве таких памятников — мраморные доски с надписью: «Охраняется государством». Я видел в Москве и других городах старинные храмы в строительных лесах. В моем сознании слились воедино интенсивное строительство жилых домов и реставрация культурного наследия ушедших поколений. В Советском Союзе тщательно сохраняются культурные национальные традиции. Социалистическое общество, как я увидел, не только создает своеобразные формы культурной жизни, но и сохраняет реликвии прошлого.

Москва украсилась новыми архитектурными сооружениями. Кремлевский Дворец съездов, Дворец пионеров, здание гостиницы «Юность» — эти ансамбли выполнены легко и изящно. Бетон и сталь обрели в руках советских архитекторов новые пластические свойства.

Киев, стоящий на берегу Днепра, подобен прибою великой украинской реки. Я знал, что этот город был искалечен войной, что берега Днепра были опутаны паутиной колючей проволоки, изрыты могилами траншей. Народ, который за несколько лет после окончания войны превратил изуродованную землю в цветущий сад, имеет право на счастливую жизнь!

Ленинград поразил меня единством духа и многообразием архитектурных форм, подчиненных, однако, строгости монолитного ансамбля. Это очень важно — увидеть город по возможности глубоко, понять механизм его жизни. Жизнь каждого города — это для меня всегда новое знание.

Многие туристы смотрят на города из окон комфортабельных автобусов, стремясь запечатлеть на лентах кинокамер ставшие хрестоматийными памятники. Я предпочел не быть таким туристом и полностью воспользовался вашим гостеприимством.

Меня поразил уровень вашей материальной культуры. Экономическая статистика оглушает, но не всегда убеждает. А я воочию убедился в том, что темпы ваши поистине фантастические. Мысленно я за-

давал себе вопрос: откуда столько энергии?

Как писателя, меня, естественно, очень интересовала духовная жизнь советского народа. Гигантские скачки вашей духовной цивилизации поразили меня. В конце концов построить домны и проложить железные дороги легче, чем преобразовать человека, внушить ему идеалы высокого гуманизма и веру в будущее. Я понимаю, что одно от другого неотделимо. Ибо только такие люди могут так настойчиво изменять облик земли.

Общий интеллектуальный уровень советского общества весьма высок. Я присутствовал на одной читательской конференции, и это заставило мое сердце биться от волнения. Обсуждали поэзию Андрея Вознесенского. Сам факт такого обсуждения достаточно удивил меня. Люди разных возрастов собираются и — трудно поверить! — говорят о поэзии.

Французские поэты фактически неизвестны нашему обществу; счастливое исключение из этого правила — широкая популярность Превера и Арагона. Свою известность они завоевали успешными выступлениями в различных жанрах литературы. Превьер работал как сценарист, Арагон — как прозаик.

Стихи французского поэта в силу многих причин не могут стать предметом широкого обсуждения. Его творчество «подпольно». В лучшем случае оно известно лишь в кругу собратьев по перу, которые замыкаются в своеобразные поэтические цеха. Периодически устраиваемые вечера поэзии напоминают скорее мистические сеансы спиритизма. В литературоведении это принято называть «искусством для искусства».

Во Франции читатель общается с писателем только через страницы книги. Поэзия в вашей стране играет совсем другую роль. Она, по выражению поэта Вознесенского, «вслух читаема».

На читательской конференции, о которой шла речь, меня больше всего заинтересовали выступления людей, которые, не будучи профессионалами в литературе, говорили вещи, достойные иных ученых-филологов. Их заинтересованность и способность понимать поэзию не оставили у меня ни тени сомнения. Эти люди спорили о том, о чем уже давно спорят профессиональные литераторы и критики: какой должна быть современная поэзия и чему она призвана служить. Выступавшие высказывали различные мнения, но главным в них было одно: поэзия должна доставлять читателю не только радость, а заставлять его мыслить, развиваться духовно, поэзия должна быть эмоциональной. Таково и мое личное мнение, и мне было очень приятно находиться среди людей, которые с каким-то яростным азартом спорили о поэтическом труде, возбужденно выражая свое одобрение или несогласие. беру на себя смелость сказать, что французская молодежь в подобной ситуации осталась бы неподвижной и молчаливой, хотя она спо-

собна проявлять неумеренные эмоции на концертах модных певиц из варьете или при какофонических аккордах рок-н-ролла.

Я пришел к выводу, что в вашей стране поэзия, как и вся литература вообще, имеет общественный смысл и ее цель — человеческое благо.

Советская литература приобрела по истине всеобъемлющее значение. Я уже не говорю о тиражах изданий советских и зарубежных писателей, о широкой сети издательств, о пропаганде литературы через журналы, по радио и телевидению.

За время своего пребывания в Советском Союзе я видел два фильма. Они как бы дополнили картину духовного процветания вашего народа. Эти фильмы — «Иваново детство» Андрея Тарковского и «Баня» Сергея Юткевича — были самого высокого класса. Тарковский создал незабываемую киноповесть, главное действующее лицо которой — душа ребенка, испытывающего ненависть. Это рассказ о поколении, преждевременно узнавшем горечь потерь и разлук, до времени состарившемся на дорогах войны. Фильм эмоционально насыщен, режиссер сумел заменить сухую логику повествования поэтическим рассказом. Картины Тарковского и Юткевича доставили мне большое эстетическое наслаждение. Франция непременно должна увидеть эти ленты.

В театре имени Моссовета я видел четырехсютый спектакль «Лиззи Мак-Кей». Игра Любови Орловой и тонкая режиссура Анисимовой-Вульф по-новому открыли для меня мою собственную пьесу. Я испытал чувство зрителя, который впервые приходит в театр.

За последнее время во Франции появилось немало интересных книг, главным образом повествующих о войне в Алжире, ибо писать о современной Франции и не писать об Алжире — невозможно. Это нужно понять. Алжир живет в сознании каждого француза, который понял смысл грязной, проклятой войны.

Известная книга Анри Аллега «Допрос под пыткой» — это взгляд честного француза на события в Алжире. Книга эта не претендует на тонкий литературный вкус, но я очень высоко оцениваю ее. Автор, рассказывая о своем удивительном подвиге, избежал в одинаковой степени неестественной скромности и мистического пафоса человека, которому удалось вырваться из ада. Все у него получилось просто и потому — почти гениально.

Что касается моей собственной работы, то об этом говорить труднее, чем о работе других писателей. Работаю над книгой о Флобере, которая, надеюсь, поможет мне понять творчество величайшего французского писателя. Все остальное — лишь планы, и я предпочитаю не говорить о них.

Мне хотелось бы верить в счастливое будущее моей страны и всех народов земли.

Мир, как никогда, близок к осуществлению своих лучших идеалов, но он также будет далек от них, если атомная война

разразится над нашими головами. Прошедший в Москве Конгресс за всеобщее разоружение и мир значительно содействовал сохранению мира. Правительство Соединенных Штатов, игнорируя волю народов, проводит свои бесчеловечные, унижающие человека и угрожающие его жизни испытания новых видов атомного оружия на большой высоте. Американцы уже совершили тяжкое преступление против человечества, когда в августе 1945 года алюминиевая птица с красивым названием «Энола Гей», как библейское проклятие,

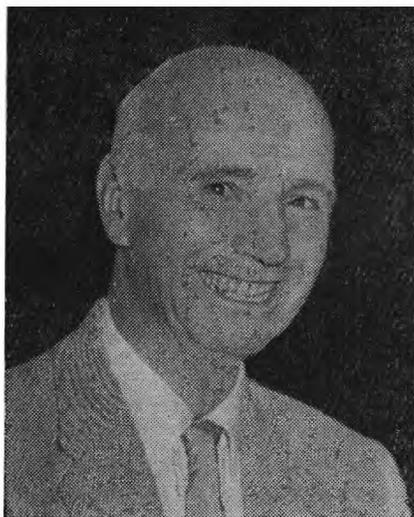
появилась над Хиросимой. С тех пор в мире не умолкает стон погибших.

Немного воображения, и можно представить себе земной шар, объятый пламенем ядерной войны. Ветер разнесет пепел нашей цивилизации, города обратятся в прах, первобытная дикость возродится среди остатков культурных народов.

Нужно иметь мужество, чтобы смотреть опасности в глаза. Я верю, что возможная опасность никогда не станет действительностью. Об этом я думаю, к этому стремлюсь.

Светлый мир

Рокуэлл Кент, американский художник



В день восьмидесятилетия Рокуэлла Кента московские почтальоны непрерывно несли замечательному американскому художнику письма и телеграммы. Советские люди поздравляли нашего друга, мужественного борца за мир, с днем рождения, желали ему доброго здоровья и новых творческих успехов. И символично, что Рокуэлл Кент отмечал свой юбилей в Москве, в Доме дружбы с народами зарубежных стран, среди своих друзей.

В нашей стране он обрел свою вторую родину. Многие советские люди хорошо знают Рокуэлла Кента, его творчество, пронизанное любовью к человеку.

Мы повстречались с Рокуэллом Кентом в номере гостиницы. Художник охотно согласился побеседовать с нами, поделиться своими новыми впечатлениями о советской столице, своими мыслями об искусстве, его роли в борьбе за мир и дружбу между народами.

— Искусство должно принадлежать тем, кто любит его больше всех,— сказал Рокуэлл Кент.— И я убежден, что поступил правильно, передав свою коллекцию народам Советского Союза, где мои картины привлекли такое внимание, какого никогда не удавалось произведения кого-либо из американских художников в их собственной стране.

Снова и снова я перелетаю через океан, а в восемьдесят лет это не так-то легко! Мои поездки в Советский Союз — очищение души. Когда я покидаю пределы Америки, мое дыхание становится легче, и взору открывается светлый мир вашей страны. Я еще не ступил на вашу землю, но уже ощущаю во всей полноте радость встречи с моими многочисленными друзьями. Так повторяется каждый раз.

Есть две Америки, одну я люблю, дру-

гую — ненавижу. Одна — Америка простых людей, о которых пели Уитмен и Сэндберг, людей, чьими руками создавались и создаются материальные блага. Другая Америка — страна магнатов, промышленных и финансовых королей, людей, которые в погоне за корыстью оскорбили своими гнусными поступками совесть человечества и принесли непоправимый вред стране Линкольна и Вашингтона.

Я старый человек, Республика Советов рождалась на моих глазах. Помню, как ее хотели проглотить и растоптать воротилы Антанты. Тогда я еще не все понимал. Сквозь плену лжи и клеветы, сквозь толщу предрассудков и неверия шел свет правды вашей революции к народам Запада и Востока. И те, кому открылась эта правда, узнали истину.

Прошло сорок пять лет с тех пор, как

мир был потрясен величайшим переворотом в истории — Октябрем 1917 года. Страна, которая родилась в огне войны, среди нищеты и болезней, голода и тревог, а ныне стала величайшей державой мира, страна, чьи руки поднялись до вершин космоса, доказала всему миру правоту своих идей.

Но и сегодня человеку западного мира нелегко прорваться к истине через рой лживых газетных утверждений. Страшно подумать, как иногда фальшивят и прямотаки бессовестно лгут некоторые «солидные» издания, не говоря уже о бульварной прессе. К счастью, становится все меньше людей, которые верят этой развязной болтовне. И я убежден: будет день, когда простой народ Америки отстранится от людей, спекулирующих на национальном самосознании американцев. И тогда правда станет достоянием всех.

А правда эта прекрасна. Она сама заявляет о себе всякому непредубежденному иностранцу, вступающему на землю СССР. Подъемные краны, устремленные к небу, корпуса заводов, могучее напряжение труда, которое чувствуется в каждом городе, — все это говорит о великом стремлении советского народа к миру и прогрессу.

Народ, познавший, что такое разрывы бомб и смерть близких, такой народ не хочет снова слышать страшных слов: «воздушная тревога».

В Советском Союзе я видел самых различных людей: ленинградских рабочих, отдыхающих в Сочи, московских художников, детей из алма-атинского детского сада... Все это очень добрые, хорошие люди. Советский народ проявляет по отношению к своим гостям необыкновенную теплоту и гостеприимство.

Я чрезвычайно счастлив быть его гостем и надеюсь заслужить высокий титул друга советского народа.

Я не был в Москве всего два года, но даже за этот короткий срок здесь произошли удивительные вещи. Я имею в виду прежде всего Дворец пионеров. Это великолепно, что такие дворцы строятся для детей. Социалистическое общество необыкновенно чутко относится к детям и прилагает немало усилий для воспитания личности. Дети, которые воспитываются в залах этого светлого Дворца, будут способны служить идеалам гуманизма.

Американский ребенок, живущий в стране, где непрерывно растет преступность, не имеет таких перспектив. Государство, славословящее по поводу демократических свобод и одновременно развращающее молодежь, само совершает преступление против будущего человечества.

В светлом здании Дворца съездов со-

ветские коммунисты провозгласили планы дальнейшего могучего развития экономических сил страны. Я восхищен этими дерзновенными планами. Я верю, что советский народ добьется замечательных успехов на этом пути.

Я увидел в вашей стране рост не только материальных благ, но и яркий расцвет духовной культуры. В этом смысле Советский Союз уже давно завоевал мировое первенство. Ни в одном государстве мира нет такого стремления к знаниям.

Я встречался в Советском Союзе с художниками и писателями, а также с людьми, казалось бы, далекими по своей профессии от искусства. Должен сказать, что мне было очень интересно говорить об искусстве и с теми и с другими.

Творчество советского художника весьма благородно. Если его труд отвечает интересам народа, он может быть уверенным в признании. В советском изобразительном искусстве нет места уродливым искажениям действительности, уходу в иррациональное, подсознательное, бегству от действительности. А иной американский художник, чтоб достичь славы, обращается за помощью к обезьяне, и, конечно, она ему помогает: он получает доллары и восторженные хвалы слюноточивых искусствоведов. Антисоциальный смысл такого «искусства» очевиден. Буржуазное общество разлагает личность, доводит ее до маразма, толкает в бездну мрачного индивидуализма.

В мастерских советских художников и скульпторов я видел бурное биение жизни, стремление красками изобразить темп и диалектику событий. Западная критика отчаянно пытается опорочить советского живописца, утверждая, будто советским художникам диктуются не только сюжеты картин, но даже и форма изображения. Разумеется, это ложь. Советское искусство служит высоким гуманистическим идеалам, оно демократично в самой своей основе. Если кому-то это не нравится, то пусть при помощи обезьян они создают свою «художественную школу», чтобы доставить минуту веселья и смеха потомкам. Лично я готов смеяться над ними уже сегодня.

Искусство не смеет уходить от судеб народных, забывать об опасностях нашего времени. В противном случае оно не имеет права на существование. Оно обязано стать на защиту мира и со всей эмоциональностью, с публицистической страстностью воздействовать на людей. Голубь Пикассо, облетевший мир, — образец такого искусства!

Я искренне счастлив, что плоды моего творчества, моих странствий и размышлений, сомнений и надежд принадлежат вашей стране. Отдать свое искусство, выражающее мое я, — это отдать себя, свою душу народу.

Продолжение поэмы

Нина Вила, чилийская поэтесса

*

Среди членов чилийской делегации, представлявших народ Чили на Конгрессе за всеобщее разоружение и мир, была поэтесса, профессор колледжа Нина Вила.

Мы попросили ее поделиться своими впечатлениями о Москве.

*



Скажу откровенно, в течение нескольких дней Москва перевернула многие мои представления. Если учесть, что я уже немолода, можно понять, какое сильное впечатление произвела на меня ваша столица.

Я приехала сюда не одна — со своей семьей. Все мы давно хотели увидеть вашу страну. Мы часто спорили дома о Советском Союзе, о жизни его народа. С интересом изучали историю страны, ее искусство. Но все же многого не могли знать.

Мне бывает горько и тягостно оттого, что чилийцы не имеют правдивой информации о великом Советском Союзе. Народы Латинской Америки фактически давно оторваны от мира.

Первый же день пребывания на русской земле стал для нас истинным открытием. Мы увидели энергичных, жизнерадостных, добрых и гостеприимных людей, увидели город, улицы которого кипят полнокровной жизнью, магазины, в которых люди покупают самые разнообразные товары. Особенно поразили нас московские театры — они переполнены. Я поинтересовалась, кто посещает театры, и убедилась, что это самые разнообразные зрители. Значительную часть их составляют люди, работающие на заводах и фабриках. Для латиноамериканца — это таинственная загадка и почти неосуществимая мечта. В лучшем случае латиноамериканский рабочий может убить время в дешевом кабаре.

Я сделала для себя еще одно важное открытие. Живя в Чили, я, как и все чилийцы, постоянно испытывала воздействие западной пропаганды, лживо утверждающей, что Советский Союз имеет далеко идущие захватнические планы в Западном

полушарии. Прежде всего имелась в виду Кубинская республика. Но когда я приехала в Советский Союз, то увидела миролюбие советских людей, их стремление жить в братстве со всеми народами Земли. Кубинская революция не есть, разумеется, переворот, инспирированный коммунистами.

Пропагандисты Запада забывают о том, что терпение народа, чаша его горя не бездонны. Приходит день, когда угнетенные разгибают спины, — и тогда пылают дворцы угнетателей. Именно это произошло в стране, задавленной режимом Батисты. Бесспорно, пример Кубы слишком притягивает к себе взоры народов Латинской Америки. И нельзя поручиться за то, что в других странах Южной и Центральной Америки не произойдет то же самое.

В дни, когда работал Конгресс за всеобщее разоружение и мир, я ощущала бурный прилив энергии. Идеи этого великого форума пронесли молнией между континентами и зажгли в сердцах человечества надежду на спасение мира.

Выступление Никиты Хрущева особенно меня взволновало. Я впервые слышала, как государственный деятель великой державы так прямо, со всей ответственностью говорил о судьбах мира и путях предотвращения войны. В каждом слове этого человека звучала страстная забота о миллионах людей земного шара. После конгресса моя вера в мир стала еще тверже, я поняла, что Советский Союз стоит первым в фаланге борцов за мир.

Меня восхитила ваша система образования. Сужу о ней с чисто профессиональной точки зрения. Я живу в стране, где до сих пор неграмотность доминирует над гра-

мотностью, где школы часто помещаются в лачугах, а высшее образование доступно лишь избранным. Школьная программа не включает того широкого круга естественных и гуманитарных дисциплин, каким может гордиться советская средняя школа. В одном из статистических обзоров я читала, что лишь ничтожное количество американцев в состоянии сдать выпускные экзамены на аттестат зрелости, а в Советском Союзе их ежегодно сдают сотни тысяч.

Я не только педагог. Значительную часть своего времени я отдаю поэзии. Еще в ранней молодости я начала писать сентиментально-элегические стихи. Постоянным предметом их была луна, безразличная к любовным переживаниям юной героини. Впоследствии луна сошла с горизонта моей поэзии. Перед глазами встала обездоленная, нищая, безграмотная, забытая страна, ее талантливые люди, которые любят музыку и солнце, но лишены подлинных демократических свобод. Я начала писать

о моем народе. Это стало главной темой моего поэтического труда. Ложно понятая идея современности литературы уводит в сторону формализма. Истинная современность — писать о проблемах и нуждах своего времени, защищать интересы народа и жить его радостями и печальями.

Писательский труд в Советском Союзе высоко ценится. Читательские конференции, обсуждения, споры, широкая гласность работы писателя, критические издания, литературные передачи по радио и телевидению — все это позволяет сделать литературу достоянием всех. В Чили же предпочитают рекламировать североамериканские холодильники или жевательную резинку.

По возвращении на родину я расскажу своим ученикам и читателям правду о вашей стране. Недавно я закончила поэму, посвященную Советской России. Она была написана до моего приезда в Москву. Я знаю: эта поэма будет иметь большое продолжение...

18 ТЫСЯЧ УЛЫБОК

Заметки о фестивале в Хельсинки

В этом году исполнилось пятнадцать лет с того дня, как флаг первого Всемирного фестиваля молодежи взвился над Прагой. С тех пор земной шар привык к этому доброму и веселому празднику, в котором все устремлено в будущее. Он в какой-то степени прообраз завтрашнего мира.

С 1959 года фестивали вышли за рубеж социалистического лагеря, сначала — в Вену, а в этом году — в Хельсинки.

Советские люди видели фестиваль в Хельсинки по телевидению, слышали по радио, читали о нем в газетах и журналах. Я не хочу повторяться. Это просто заметки о некоторых моих личных встречах и личных впечатлениях, о тех улыбках, которые я видел сам. Но прежде чем перейти к ним, сейчас, когда фестиваль позади, нельзя не сказать несколько слов о его 18 тысячах улыбок. Может быть, достаточно привести слова одного африканского парня, который, широко улыбаясь, сказал по-русски:

— Это было здорово!

И действительно, это было здорово. А что было? Просто на десять дней в северный город собрались восемнадцать тысяч молодых людей из 137 стран и 1500 молодежных организаций.

Много это или мало? Это на 25 стран и на 300 организаций больше, чем было в Вене. И дело тут не только в цифрах. Что это за новые организации? Скажем, Национальный союз студентов Франции. Или молодежная секция Индийского Национального конгресса. Или национальные делегации Гвинеи, Мали, Сенегала...

С большой японской делегацией прибыли представители почти всех групп и организаций, в том числе консервативной, входившей в так называемую Всемирную ассоциацию молодежи — «ВАМ», не участвующую в фестивале. Входят в «ВАМ», а приехали к нам!

А французы были настолько представительны, что с ними прибыли даже господа генеральные советники департамента Сены Курьерль и Сибо, которые никогда не обвинялись в симпатиях к коммунистам. Кстати, наивный тезис о том, что фестиваль — это дело «чисто коммунистическое», больше ни-

кого не пугает. Об этом хорошо сказал на одной из пресс-конференций руководитель нашей делегации С. П. Павлов.

— Среди нас есть коммунисты. И нам льстит, что самую массовую встречу молодежи так называют. Но справедливость требует отметить, что фестиваль — это совместные усилия очень многих и очень разных молодежных организаций.

* *
*

А для меня фестиваль, как для многих русских и французов, грузин и венгров, немцев и вьетнамцев, — не только общий праздник, но и свой, глубоко личный, связанный с множеством дум, надежд и понсков.

Помню всякую малость,
И улыбки, и песни.
Жизнь моя поднималась
С фестивалями вместе.

Будапешт, Берлин, Москва... А подступает Вена, подкатываются Хельсинки, — и никак не усидишь на месте.

Вот ты ходишь по белу свету,
Пишешь песни, статьи в газету.
Где мы только не побывали
С вечной ручкою и блокнотом?
Сколько видел я фестивалей?
У меня это пятый по счету.
Все могло немного приесться —
Людно, шумно, слегка поже.
А года не стоят на месте.
Ну и что же?
Каждый раз в этой сложной радости,
Узнавая, сердясь, надеясь,
Устаешь, пожалуй, дней на десять,
И лет на десять молодеешь.
Ярче песен и глубже сказок...
Если это такое для нас —
Что ж сказать о тех, круглоглазых,
Для которых все —
в первый раз.

* *
*

Началось все с трудного.

Как в Вену, стянулись в Хельсинки антифестивальные силы. Никто их не звал сюда. Говоря так, я подразумеваю фестивальный комитет. Может быть, это была чья-нибудь «частная инициатива», ска-

жем, кого-нибудь из слишком ретивых помощников господина Таннера? Так или иначе, появились и некие господа резиденты, в том числе — господин Липпман из ФРГ, знакомый нам еще по Вене. Появились кругленькие суммы денег на оплату всякого рода «стихийных» действий. «Совершенно случайно», как рассказал нам директор «американской программы» Алекс Гарвин, на все время фестиваля раскинула свди «этюды на тему скрученного железа» американская выставка. Так же «совершенно случайно» в распоряжении господина директора оказалось пять джаз-оркестров, а сам он и многие его помощники прекрасно говорили по-русски. Немало было и всякого другого «случайного».

И в ночь на 29 июля — день открытия фестиваля — центр города взревел толпами пьяных голосов, взрывами петард под окнами школ, где разместились делегаты. Пьяные полезли на шатер нашего информационного центра «Спутник» в парке Кайсаниеми. Зачем? Видимо, некие господа за кулисами рассчитывали запугать участников фестиваля, превратить праздник в панихиду. Смешно! Разве можно остановить ракету, получившую космическую скорость? А именно такой космической ракетой является фестиваль молодежи.

Первые фестивали происходили в социалистических странах. Здесь не было безобразий.

Но и в Вене и в Хельсинки против врагов фестиваля встали песня и улыбка и, конечно, победы. Разве можно людям внушить, что эти танцоры и гимнасты, эти блестящие спортсмены и незабываемые певцы — что все они враги города? Народ всегда станет на сторону фестиваля. Так было в Вене, так было в Хельсинки.

А всякое противодействие только сблизает, еще больше сплачивает те пятнадцать или восемнадцать тысяч творцов этого удивительного праздника, только доказывает всему миру их правоту.

Откуда же те несколько десятков финнов, которые поначалу так воинственно кричали и размахивали всякими режущими предметами, а при малейшем отпоре трусливо разбежались по дворам? Странно, ведь финны не трусливый народ, они умеют отстаивать свои убеждения. Два хельсинкских мальчика — Пекка Юхани Костамо и Пентти Тапио Уужипя — дали в полиции точный ответ на этот вопрос. Они рассказали, что за каждое «разовое буйство» им платили по 1000 финских марок (2 рубля 81 копейка на наши деньги), — невысокая цена за «убеждения»!

Немудрено, что уже через три дня фестиваля об «анти» перестали говорить всерьез. Что осталось от всех этих «анти»? Молодой бразильский мим Родриго Бадейра за день до отъезда под общий хохот в школе, где помещалась бразильская делегация, показывал нам этого «хельсинкского террориста». Он поднимал кулаки, бешено вращал глазами, и вдруг плечи его съезживались, а руки, постепенно опускаясь, начинали дрожать мелкой, трусливой дрожью. Такой «образ» антифестивальщика увезли с собой

участники фестиваля. Таким его запомнят жители Хельсинки.

Врагам фестиваля мешали не только все его участники, не только правительство Финляндии, осудившее хулиганство, не только полиция. Мешали все жители Хельсинки, все нормальные люди. И «антифестиваль» ушел в подполье. Он перестал собирать люмпен-мальчиков с ножиками и кидать бомбочки-пластик. Поняв, что одна из особенностей восьмого фестиваля — дискуссионность, — он решил кинуться в дискуссии.

Одной из форм этих «дискуссий» было появление в нашем «Спутнике» и «Дружбе» молодых американцев иногда русского или украинского происхождения. Они приходили каждый от себя лично и проникновенными голосами задавали вопросы. Вопросы были неглупые, более или менее острые. Задавались они обычно громко, в присутствии самых разных людей. И те из наших ребят, кто оказывался в «Спутнике» или «Дружбе», обстоятельно и как можно душевнее старались на них ответить. Но на пятом американце вдруг мы установили, что вопросы задаются одни и те же и примерно в том же порядке — словно это были не люди, а кибернетические машины, программированные одинаково и одной и той же рукой.

Я сказал об этом однажды некоему господину Питеру Ли, которого мы не без основания считали одним из организаторов этой деятельности. Он постарался переменить разговор.

Часто в этих спорах принимали участие люди разных национальностей. С одним из таких гостей схватился незнакомый нам молодой англичанин. Он вмешался неожиданно, когда гость из-за океана начал нас упрекать в проведении ядерных испытаний.

— Не вам бы это говорить, — закричал англичанин. — А что им делать, подставлять вторую щеку, как в библии? Они не верят в бога. — Это было точно. Англичанин закончил неожиданно тихо: — Они же должны не только о себе думать.

Он хорошо передал то чувство, которым все мы, советские люди, полны за рубежом. Я не говорю о встречах с господами из госдепартамента одной державы — эти господа однообразны. Но как часто в так называемом свободном мире сталкивались мы с людьми, до удивительности непонимающими, что происходит в мире. Это были и австрийцы, и финны, и французы, и норвежцы. Они исповедовали то позицию страуса, прячущего голову от опасности, то позицию суслика, подглядывающего с любопытством из норки, — а что будет? А кого еще проглотят господа империалисты? Покатится земной шарик ко всем чертям или еще поживет?

Нелегко быть великой державой
И за судьбы земли отвечать.
Если суд совершится неправый —
Не молчать, не молчать, не молчать.
В дальний путь снаряжать космонавта,
И отказывать снова себе —
То во имя высокого «завтра».
То затем, чтоб не сгнить в борьбе.

Может, легче, давая ответ,
Не воюя полтысячи лет,
Скажем, жить, как швейцарцы и шведы,

Словно мира за окнами нет.
Только мы так не можем с тобою —
Слишком любим полет корабля,
Слишком долго была ты рабаю,
Истрадавшаяся земля.

И не станем мы так, как иные, —
Меж монетами души дробя,
Поворачивать дали земные
Для себя, для себя, для себя.
Им видней, как грехи им замаливать.
Наше дело — на общем пути
Ту венгерскую девушку Марику,
Ту вьетнамку веселую, маленькую,
Этих финских мальчишек спасти.

* *

*

Я видел Хельсинки до фестиваля. В половине одиннадцатого он уже затихал и ложился спать. В половине одиннадцатого он заснул, этот уютный и размеренный город, со своей архитектурой, со своими привычками. «Тихота», — как сказал один финн. И эта случайная языковая неточность необыкновенно подходит к Хельсинки. Можно ли разбудить эту «тихоту»?

Хельсинки, Хельсинки, Хельсинки —
Тысячи глаз — цвета озер,
Тихих улиц твоих
Так хорош разговор...

И вдруг взвились над городом фестивальные флаги. За один день в парке Кайсаниemi встал шатер из алюминиевых штанг и пластика — наш информационный центр «Спутник». Пришли теплоходы «Грузия», польская «Мазовша». Зашумели школы, в которых жили делегации — десятки отдельных маленьких эпицентров фестиваля.

Даже сам «антифестиваль» с его яркими трамваями, рекламными американской выставки, с его пьяными танцальками и уличным хулиганством — как это ни парадоксально — сыграл свою роль. В финской столице не было ни одного человека, который бы сумел не заметить фестиваля. А когда заметили, люди невольно начали сравнивать. Кому же придется по сердцу пьяная злобная рожа, мешающая слушать концерт из произведений Сибелиуса!

Неудивительно, что Хельсинки принял фестиваль, всем сердцем полюбил его еще больше, чем Вена, стал его участником.

Генеральный секретарь фестивального комитета Жан Гарсия подчитал, что на все концерты и программы фестиваля было продано и роздано полмиллиона билетов. А население Хельсинки — 450 тысяч человек. Любопытно? Это при том, что в Вене количество билетов составило одну треть количества населения города.

Хельсинки, Хельсинки, Хельсинки...
Двое друзей, трое друзей,
Сразу столько друзей,
Сколько в окнах огней...

От хельсинкской «тихоты» не осталось и воспоминаний. И странное дело. Как будто и архитектурой Хельсинки стал неуловимо похожим на Вену, и Варшаву, и Будапешт. Хельсинки стал городом фестиваля.

— Господи, за что нам такое счастье! — Это сказала старушка в Кайвопуйсто на закрытии фестиваля, хотя ее едва не задавили.

А одним из первых посетителей нашего

«Спутника» был старик, опирающийся на палочку. Ему восемьдесят два года. Это бывший русский эмигрант, регент церковного хора Петр Яковлевич Шаповалов-Гаврик. Он приходил сюда каждый день и проводил в «Спутнике» по многу часов, слушая лекции, смотря кино, беседуя с нашими ребятами или бешено споря с антифестивальщиками.

Чем был наш «Спутник»? Это большая площадка парка Кайсаниemi, на которой встал чудо-шатер со сценой и веселыми скамейками зала на восемьсот мест. И внутри и снаружи стены украшены множеством фотографий, диаграмм, плакатов, рассказывающих о нашем житье-бытье. Здесь каждый день, утром и вечером, происходили встречи делегаций, концерты, беседы на всевозможные темы, вечера вопросов и ответов. Тут побывали чуть ли не все наши коллективы и солисты, поэты и художники, кинорежиссер Сергей Бондарчук и академик Сергей Мергелян. Был тут однажды и Юрий Гагарин.

— Понимаете, — улыбался руководитель нашего шатра Геннадий Коваленко, — космонавт в «Спутнике»!

А за сотню метров, немного наискосок от шатра, развернулся огромный экран, где каждый вечер шли советские кинофильмы. И это тоже был «Спутник».

А все пространство между шатром и экраном — огромный дискуссионный клуб, куда с утра до вечера не прекращалось паломничество разноязычного народа. И особенно много финнов, молодых и старых, мужчин и женщин, стариков и детей. Первыми открыли для себя «Спутник» финские дети. Они приходили сюда с утра и уходили поздно вечером.

Ежедневно бывало в «Спутнике» семь-восемь тысяч человек. Говорят, что женщина в ларке у входа в Кайсаниemi, продающая «горячую собаку» (сосиски), за время фестиваля разбогатела.

Был у нас и второй клуб — «Дружба», которым руководил тоже старый фестивальщик Василий Захарченко. Это был совсем другой клуб. Помещался он в небольшом особняке — школе, где учатся дети советской колонии. Там тоже были выставки и тематические комнаты. Там тоже проводились интересные встречи.

Для нас «Грузия», «Дружба», «Спутник» были островками родины. И я каждый день обязательно, хоть ненадолго, заглядывал сюда.

Вы видали этот шатер
В старом парке Кайсаниemi?
Он как будто границы стер
Между нами и между всеми.
Чтобы люди понять могли,
Как живем мы на белом свете, —
Он летит посреди земли,
Бортовыми огнями светит.

* *

*

А что было с нашей артистической молодежью?

Опять наши хлопцы и девушки забрали чуть ли не все золотые медали на художе-

ственных конкурсах. С успехом выступали отдельные исполнители и ансамбли.

Но я здесь хочу остановиться только на одном нашем выступлении. Я говорю о балете «Сампо». Этот балет, созданный по мотивам «Калевалы» композитором Синисало и сценаристом-балетмейстером режиссером Игорем Смирновым, был как бы художественной вершиной одной из самых главных тем фестиваля — темы братства народов.

Талантливый Гельмер Синисало сумел написать музыку глубоко народную и в то же время очень современную, нашел свои музыкальные характеристики для каждого персонажа, создал чудесный светлый мир народа Калевы и темный мир царства Похьёлы.

Нельзя не сказать об отличной работе художника Д. Шелковникова, о талантливом артисте Юрии Сидорове, нарисовавшем правдивый и волнующий образ Леминкяйнена, о В. Мельникове-Ильмаринене, о многих и многих исполнителях больших и малых партий. Но я хочу назвать имена заслуженной артистки Светланы Степановой и особенно ее младшей подруги, недавней выпускницы Ленинграда — Екатерины Павловой.

Эти две балерины — Похьёла и ее дочь, олицетворяющие темное царство, едины в своем танцевальном языке и в то же время ни в чем не повторяют друг друга. Вот прошло уже столько времени, я видел спектакль один раз, среди многих других впечатлений, а в памяти по-прежнему Катя Павлова — гибкая, легкая, острая. Прелестная, и оттачивающаяся, и незабываемая Павлова! Эта фамилия некогда уже прославила русский балет на весь мир. Что ж, посмотрим, может быть, новая молодость сумеет и фамилии и балету придать новый блеск.

За свою уже длинную фестивальную жизнь и в различные зарубежные поездки я много раз наблюдал удивительную способность искусства сближать людей, раздвигать рамки национальной ограниченности, облегчать понимание того, что еще только что казалось понять невозможно.

За два дня до открытия фестиваля я

был в нашем цирке, который привез в Хельсинки молодежную программу. Это совершенно особое чувство — сидеть в чужом зале с чужими людьми рядом и смотреть своих, переживая за них больше, чем они сами...

Чужая, чужая сторонка
За пологом дождевым.
И кружится наша девчонка
Под куполом цирковым.
Почти невесомо взлетела,
Раскинула руки,
и вот
Прекрасное стройное тело
Вокруг перекладины вьвет.
И вдруг обрываются вальсы,
И словно весь цирк неживой,—
Ты видишь —

на кончиках пальцев
Висит она вниз головой.
Усталый, скупой или грубой,
А каждый не чувствует ног.
И шепчут тревожные губы:
«Я так никогда бы не смог»
И все же у каждого в зале
Все мускулы напряжены.
Как будто с артисткой связали
Вас десять секунд тишины.
Как будто бы мышцы тугие
В полет посылаешь ты сам...
...Артистку сменяют другие.
Ползет холодок к волосам.
То запросто носит подругу
По проволоке человек,
То лошади мчатся по кругу,
То царствует веший Олег.
Но чья бы звезда ни блестела
В причудах огня своего,—
Здесь легкость послушного тела,
Неробкой души мастерство.
И зритель гремит, провожая,
Встречая, глядит, не дыша.
И эта сторонка чужая,
Как будто не так уж чужа...
Сосед мой неведомый, прав ты!
Он шепчет среди тишины:
— Так вот почему космонавты
Впервые у вас рождены.

Эта же способность искусства сближать людей проявилась и на фестивале. Многие радовало, и иногда неожиданно. Нельзя было не заметить, как удивительно, от фестиваля к фестивалю, растет молодое международное искусство. Пусть хотя бы в «консервах» — на кино и телеэкранах, по радио — москвичи и вообще все люди послушают и посмотрят концерты таких стран, как Куба, Мали, Индонезия.

И СЛЫШНО И ВИДНО

Не один писатель-фантаст прошлого поражал воображение читателей описанием видеотелефона. Но вот мы уже отмечаем первый юбилей видеотелефонного переговорного пункта, открытого год назад в Москве.

В уютной студии вы садитесь за стол и ровно в назначенное время видите на экране телевизора знакомое лицо родственника или друга. Непринужденная беседа с ним идет эмоционально и живо. Здесь все отлично слышно и видно,

хотя ваш абонент находится за сотни километров от столицы у подобного же телевизионного экрана.

Видеотелефон — чрезвычайно удобный современный вид междугородной связи. Им пользуются инженеры для обсуждения чертежей, врачи для срочных консультаций, студенты, рационализаторы, академики.

Пока видеотелефон связывает Москву с Киевом и Ленинградом. Скоро его линии пойдут на Ригу, Львов, Минск, Харьков. Затем протянутся на Урал, в Сибирь, в курортную зону Черноморья. Видеотелефон

станет цветным, и отдыхающий сможет продемонстрировать друзьям свой шоколадный загар.

В недалеком будущем все советские города получат эту удобную и совершенную связь с Москвой, потом линии перешагнут в Европу, и москвичи смогут обмениваться улыбками со своими друзьями в Праге, Берлине, Варшаве, Будапеште, Софии. Москва спокойно будет принимать сигналы из Лондона, Сиднея, Нью-Йорка. Видеотелефон станет интернациональным видом связи. Это время не за горами!

Видеотелефон базируется

Многие страны Африки, Латинской Америки привезли большие концертные программы. О необыкновенном желании показать свое искусство говорит любопытный случай, который произошел на заключительном вечере фестиваля. Никто из режиссеров не отбрал для этого вечера нигерийский танец. Но нигерийцы заранее собрались позади сцены в роли зрителей, которым не осталось других мест. И вдруг, воспользовавшись буквально секундной паузой, они достали приготовленные головные уборы из перьев и кинулись на сцену. Довольно долго заставили они всех собравшихся смотреть свои танцы. Так велик был на фестивале дух творческого соревнования!

А китайцы, венгры, чехи, румыны, болгары, немцы — с ними потягаться было не просто!

Помню первого секретаря нашего посольства В. А. Бондаря, только что вернувшегося с корейского национального концерта. Этот, обычно уравновешенный, спокойный и выдержанный человек, захлебываясь, рассказывал о необыкновенной удаче корейцев. Особенно его поразило то, как корейцы сумели поставить такие, казалось бы, «несущественные» номера, как производственные танцы, в частности — танец сталеваров. Корейский концерт был действительно одним из самых популярных на фестивале.

И я невольно вспомнил 1950 год, когда весь мир тревожно ловил сообщения из Пхеньяна, когда кровь лилась по улицам городов и сел Кореи, но маленькая страна, познавшая свободу, не сдавалась преступникам большого бизнеса.

Я писал тогда:

Мы встретимся опять в свободных странах
Под мирным небом у родных костров.
Танцующих счастливых корейцев
Засыплет мир букетами цветов.

* *
*

Вообще нам, участникам многих фестивалей, некуда деться от воспоминаний. Вот мы идем на встречу французам и алжирцам. А я вспоминаю французам на прошлых фестива-

лях. И не только французам. На каждом фестивале было свое самое острое, свои главные герои.

Разве забудешь когда-нибудь встречу американцев и греков на будапештском фестивале в 1949 году? Греков-партизан, приехавших прямо из огня со скал Граммоса. Это там, в Будапеште, юноша грек протянул американцу осколок от снаряда, извлеченный из его раны.

Американец взял сухой металл,
И, вспыхнув весь до выжженных бровей,
Среди следов от крови прочитал
Три буквы, имя родины своей...

А на берлинский фестиваль корейцы привезли из окопов письма, адресованные американским сверстникам и их матерям. Разве забудешь, как читались эти письма во время той грязной войны в Индо-Китае, так похожей на недавнюю войну в Алжире...

Конечно, и то не были столкновения врагов. Лучшие французы и американцы никогда не исповедовали войну. Но то были горькие часы, полные драматизма и печали. Встреча французам и алжирцев в Хельсинки — первая после получения Алжиром независимости — была полна радости. Словно тяжесть упала с плеч. Это были люди, которые пришли друг к другу, чтобы начать свои отношения заново.

Экспансивность французам и алжирцев сделала этот хельсинкский полдень особенно звонким, и уж совсем нельзя было измерить количество рукоплесканий и возгласов, когда на маленькой сцене появился Жак Брель. Жак Брель после его победы во Франции на конкурсе граммофонных записей — сейчас едва ли не самый популярный певец французской молодежи.

— Я родился в Бельгии, — рассказывал мне Жак Брель, — но десять лет живу во Франции. Для Бельгии я слишком революционер.

Жак смеется, весело поблескивая зубами. Ему тридцать три года. Он пишет свои песни сам — и стихи и музыку.

— Я и покою и сам — только потому, что никто другой не соглашается.

сейчас на кабельных линиях. Но московские специалисты упорно работают над тем, чтобы перевести его на беспроволочные радиоволновые линии. И тут на помощь могут прийти специальные искусственные спутники Земли. Они станут как бы летающими антеннами. И когда это случится, мы сможем хоть каждый день беседовать с полярниками на плавучих льдинах в Арктике, видеть их лица, «лично» передать новогодние поздравления участникам научных станций в Антарктиде.

Видеотелефон перейдет из специальных перегово-

рых пунктов в квартиры москвичей. К обычным телевизорам будут присоединены специальные портативные приставки с кнопками и клавишами. Эти приспособления появятся в широкой продаже.

В субботний вечер, скажем, жителю Новых Черемушек захочется позвонить на другой конец города, скажем, в «Колизей» или «Форум». Там идет фильм, который вы еще не смотрели или не прочь просмотреть вторично. Диспетчеру кинотеатра достаточно будет подключить штекер оригинального устройства к каналу вашего телефона,

и то, что идет в кинотеатре, появится на экране вашего домашнего телевизора, одновременно соединенного с телефоном. Таким же образом москвичи смогут по выбору «посещать» театры.

Прогресс советской радиоэлектроники, чудесно доказанный передачами изображения с кораблей «Восток-3» и «Восток-4», позволяет думать о том, что это случится в ближайшие годы.

Г. Малиничев

Московский
КАЛЕЙДОСКОП

Снова поблескивают зубы у него и у всех, кто окружает в эту минуту своего любимца.

О чем поет Брель? О котенке, который ходит маленькими шагками. Эта песенка с трудом поддается переводу, но она полна такой тонкой игры, что каждый куплет встречался аплодисментами.

Он поет о Мадлен, которую он любит и ждет и никак не дожидается...

О буржуа, который всегда был свиньей, но смолodu иногда болтал о свободе. А чем старше становится, тем все больше начинает походить на кусок дерма. Некоторая «непарламентность» припева нисколько не смущает собравшихся. Если тем песенкам они аплодируют, то эту поют хором, вслед за Жаком, каждый раз словно с трудом дождавшись припева.

И думается, что пение Жака Бреля сыграло в этот вечер для дружбы молодежи обих народов не меньшую роль, чем самые звонкие речи. Оно прикоснулось к душам собравшихся волшебной палочкой искусства.

* *
*

Отношения людей в мире бесконечно осложнились и в то же время сделались необыкновенно просты, проверяясь на нескольких генеральных вопросах времени. По фестивалям заметно, насколько лучше из года в год молодежь знает языки и насколько проще объясняется друг с другом, даже не зная языка.

На костре дружбы, который был зажжен на острове Сеураса-ари, я вдруг услышал великолепный баритон, который пел по-русски «Калинка, малинка моя...» Пел с небольшим акцентом, но удивительно точно по сути, пел, перекрывая весь импровизированный разноязыкий хор.

Кто он? Как зовут его? Клаус. Клаус Кетенбах. Он кузнец из Золингена. Огромный парень с чудесными ясными глазами. Санта-Клаус из сказки. А рядом с ним Кристхен из Дюссельдорфа. Когда он поет, она не может отвести от него глаз.

— Вы из Москвы, — восклицает она, — смотрите! — И Кристхен показывает платок. Платок этот недавно привезла ей в подарок мать, вернувшаяся из Москвы с Конгресса мира. Это немцы из Западной Германии, из той самой Западной Германии, откуда прибыл на фестиваль и господин Липпман с несколькими сотнями фашиствующих молодчиков. А веселый певучий кузнец Санта-Клаус не боится Липпмана и его молодчиков. Он привез сюда свою правду, рабочую. Но и ему, конечно, бывает трудно, так же трудно, как многим настоящим ребятам в США и в других странах.

Большинство участников фестиваля — люди, жаждущие правды и мира.

Кроме молодых, как всегда, приехали и старшие. Испанский поэт Маркос Ана, просидевший двадцать три года во франкистской тюрьме, старый борец за мир болгарин Георгий Пиринский, венгерский профессор

Вальтапфель, знаменитый датский художник Херлуф Бидstrup.

На дискуссии «Поэзия и космос» (или иначе «Искусство и прогресс») у нас в клубе «Дружба» шла речь о кибернетических машинах, которые уже начали писать стихи и сочинять музыку. Многих волнует эта опасность — сведение искусства к кибернетике.

А Бидstrup сказал, что его больше беспокоит другое.

— Сейчас в мире есть машины, которые могут любить, рожать детей и за деньги готовы совершить все, что угодно, любую мерзость. Мы, художники, — сказал Бидstrup, — должны сделать все, чтобы люди не превращались в машины.

А в другой дискуссии шла речь о живописи. Одна забавная вещь выяснилась в выступлении наших американских друзей.

Чарльз Буррад, отстаивая абстракционизм, развил не очень новую мысль: художник должен прежде всего отражать свой внутренний мир, и поэтому искусство не может укладываться в рамки одной идеологии. А как бы в противовес ему другой американец Л. Саймон показывал свои глубоко реалистические и действительно прекрасные фотографии. Или абстракция, или фотография? Оказалось, что на Западе это довольно распространенная точка зрения. Как будто все другие пути живописи и скульптуры перестали существовать!

Им чудесно ответил молодой кубинец Рене де ла Ниезе. Он просто рассказал, что произошло с искусством на Кубе.

— После революции, — рассказал он, — все художники, в том числе и абстракционисты, встали на ее защиту. Сейчас все они находят свое место в жизни народа.

О том же, о мысли в искусстве, о том, что художник должен быть борцом, делился своими думами известный финский мастер Тапповара. Это его мозаика по мотивам «Калевалы» занимает целую стену в одном из лучших зданий Хельсинки в «Культтури-тало».

* *
*

Как всегда, поздно возвращаюсь в гостиницу. Вот окончится фестиваль, погаснут флаги на старом рынке у порта. Разъедутся делегаты. Что же, опять вернется хельсинкская «тихота»? Думается, что она будет немножко другой. И вожатый трамвая будет неожиданно для самого себя напевать застрявшую в ушах чью-то мелодию с непонятными чужими словами. Откуда они? Из Рио де Жанейро? Из Праги? Из Мельбурна? Кто знает. И мальчишки будут по-новому собирать марки и открытки, хвастаться значками. И готовиться к тому, чтобы самим поехать на фестиваль, куда-нибудь за три моря. А девушки будут писать письма далеким новым подружкам и друзьям...

Нет, станет иной хельсинкская «тихота»...

* *
*

Фестиваль не был чем-то обособленным — островом, окруженным океаном. Нет,

он был кусочком мира и каждой нитью, каждой улыбкой был связан с миром.

Сейчас, когда пишутся эти строки, весь мир взволнован новым событием — возвращением из космоса третьего и четвертого советских космонавтов и всеми теми возможностями, которые открывает это событие.

И снова я вспоминаю «День освоения космоса» в Хельсинки, когда Юрий Гагарин на площади перед несколькими десятками тысяч людей приветствовал фестиваль от имени космонавтов.

Никто там на площади еще не знал имен Андрияна Николаева и Павла Поповича. Но встречая первого космонавта земли, люди невольно поднимали глаза к небу, как бы слыша сигналы новых космических кораблей.

А я смотрел на Юрия Алексеевича и невольно думал о том, какой у него усталый вид и как нелегко, видимо, ему, человеку подвига, дается эта новая жизнь в непрерывных поездках по миру, встречах, рассказах о том, о чем он раньше привык молчать. Но как важна эта его новая жизнь для мира!

Пока не набрал космонавт высоты,
Он просто сосед наш, такой же, как ты.
И синее небо, и в нем корабли —
Все знает он только с земли.

Но там наверху в бортовое окно
Он видит, что синее небо — черно.
Всю землю он видит, и ниточки рек,
И, может быть, завтрашний век.

И с высоты этого видения каким открытым великолепным человеческим движением были слова Гагарина в Студенческом клубе:

— Мы, советские космонавты, — сказал он, — в непрерывной готовности. И в любую минуту мы готовы сесть в общую кабину международного корабля с людьми всех стран и наций.

Фестиваль и является именно такой огромной кабиной — только не космического пока, а наземного корабля.

На тоненькой параллели
От главных путей вдали
На полторы недели
Сплелись дороги земли.
Тропики и экватор
Сошли с насиженных мест.
Над северной серой ватой
Дымится Южный Крест.
И в мире глухом и тревожном,
Висящем на волоске,
Вновь оказалось, что можно
Говорить на одном языке.
Среди тамтамов и скрипок
Флагов, шаров, колец —
18 тысяч улыбок,
18 тысяч сердец.
Неся в Уругвай и Гвинею
Правдивый этот рассказ, —
Каждое слово стало сильнее
В восемнадцать тысяч раз.

«ПРОГРАММНАЯ ВЕЩЬ»

(К 35-летию создания Октябрьской поэмы
Владимира Маяковского «Хорошо!»)

1

Живя в Ялте осенью 1927 года и разъезжая по всему Крыму с лекциями и чтением стихов, Маяковский заканчивал поэму к 10-летию Октябрьской революции. В ходе работы поэма называлась «Октябрь», а потом «25 октября 1917 года», и с этим названием была уже сделана обложка. Но после того, как были написаны и отосланы в Москву две последние главы — радостный, обращенный к будущему апофеоз «земли молодости», — стало ясно, что нужно другое название. В конце августа 1927 года Л. Ю. Брик получила от Маяковского телеграмму:

«Сообщите Госиздату название Октябрьской поэмы Хорошо. Подзаголовок Октябрьская поэма...»

Перемена названия в самом конце работы, после того как заказана обложка, не совсем простое дело...

По-видимому, немного отойдя от своей поэмы и оглянувшись на нее, Маяковский понял или подытожил в одном слове то, что он стремился выразить в ней в течение всего этого юбилейного года: — «Хорошо!» Странное, необычное название для поэмы. Едва ли не впервые — наречие. Но очень точное название, потому что с полной определенностью заявляет о позиции автора. Маяковский не любил юбилеев, иронически относился к славословиям, которые иногда мешают ощутить реальное величие памятной даты. В предшествующую, девятую годовщину Октября поэт настораживал: «Не юбилейте!», предвидя из трудного сегодня еще более трудную атаку дальних рубежей, намечаемых развитием революции.

Тем не менее, десятая годовщина Октября приближалась: первый большой юбилей Октябрьской революции. Круглая дата как бы подчеркивала вздорность всех предсказаний сроков падения Советской власти, назначавшихся самыми квалифицированными европейскими гадалками в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Однако, и потерпев поражение, враги не унимались. Вполне реальной была угроза новой войны в непрерывных провокациях международного



Обложка первого издания поэмы, 1927 г.

империализма. Налеты на советские организации в Лондоне, убийство полпреда СССР в Польше, подготовка сил и средств парижской белоэмиграции для новой интервенции против страны Советов — Маяковский ощущал нарастание военной опасности непосредственно, не по газетной информации только и не по разговорам своих друзей — хорошо информированных журналистов, а по личным впечатлениям во время своих зарубежных поездок. Включенный в работу «Комсомольской правды», Маяковский создает одно за другим целую серию необычайно энергичных стихотворений-плакатов, призывающих молодежь быть готовой к отпору в случае войны.

Пониманием силы врага и спокойной уверенностью в своих силах пронизаны эти оборонные плакаты. А в стихотворении «Ну, что ж!» — лирическое раздумье поэта о судьбе молодежи, грустное и трезвое, поэтически-твердое и непреклонное:

Не вновь,
 которым за двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
 радоваться,
но нечего
 грустить.

В автобиографии поэт писал: «Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо!» От «основной» работы в «сверхурочную» передавалось это трезвое раздумье. В «Комсомольской правде» поэт курсивом выделял слова, в которых выражалось единство «общего» и «личного»:

Н а ш и
и склады,
 и мосты,
 и дороги.
С о б с т в е н н ы м
 к р о в н ы м,
 с в о и м д о р о ж а,
встаньте в караул,
 бессонный и строгий,
сами
своей республики сторожа!

Курсив как сигнал остановки внимания на смысле слова, как средство форсирования его значения появляется и в создаваемой «сверхурочно» поэме «Хорошо!» для выделения того же единства личного и общего в картине первых субботников:

В н а ш и вагоны,
 на нашем пути,
н а ш и
 г р у з и м
 д р о в а.

Образ коммунистического труда в поэме и образ защиты «кровного, своего» в злободневном стихотворении в «Комсомольской правде» вдохновлялись общей целью — победой социализма в СССР. Во круг этой цели, которая выступала «курсивом» в идеологической работе партии в период создания Маяковским поэмы «Хорошо!», — шла жестокая борьба в стране. Возможно ли построить социализм в одной стране? В конце 1925 года промышленность, в результате огромной работы по восстановлению народного хозяйства, стала приближаться к довоенному (до первой мировой войны) уровню. И тогда со всей остротой встал вопрос о дальнейших путях развития хозяйства, о проведении в одной стране в жизнь ленинского плана построения социализма. Это было трудное время для партии. Троцкисты и зиновьевцы всеми доступными им средствами и способами пытались сорвать движение страны к экономической самостоятельности, к укреплению союза рабочего класса с крестьянством, стремились помешать осознанию передовой интеллигенцией социалистического смысла смелых планов индустриализации.

Позиция автора поэмы «Хорошо!» в этом коренном вопросе выражена и в эпизоде субботника, в знаменательном диалоге

детей с коммунистами, которые грузят дрова. Здесь детская интонация, инфантильность вопроса усиливает и его эмоциональность: «Дяденька, что вы делаете тут, столько больших дядей?» и подготавливает ошеломляющую простоту ответа-открытия: «Что? Социализм: свободный труд свободно собравшихся людей». Ответ, конечно, адресован не столько детям, сколько откровенно обращен к тем, кто в 1927 году не верил в то, что социализм может быть построен и будет построен в одной стране.

Поэма вырастала как «второй этаж» обобщения фактов жизни и событий политической борьбы. В «первом этаже» работы поэта ковались горячие, непрерывные отклики на текущие дела в жизни советской страны. Во «втором этаже» они переплавились в образы поэмы. Связь между этими двумя рядами — текущих стихов и поэмы — и подача мотивов и материалов из «первого» этажа во «второй» были очень интенсивны.

7 июня 1927 года, в период буржуазной диктатуры маршала Пилсудского, в Варшаве двадцатилетним монархистом Ковердой был убит полпред СССР в Польше П. Л. Войков. В советском правительственном сообщении, выпущенном на следующий день, указывалось, что убийство тов. Войкова последовало «за целым рядом прямых и косвенных нападений со стороны английского правительства на учреждения СССР за границей и разрывом дипломатических отношений с СССР со стороны Великобритании». Маяковский знал Войкова, встречался с ним во время своих поездок за границу. На известном фото, по-видимому во дворе нашего посольства в Польше, Маяковский и полпред Войков сняты вместе. Однако в стихотворных откликах поэта на террористический акт против советского полпреда биографически-лирических мотивов нет. В стихотворениях, появившихся одно за другим в «Комсомольской правде», в «Рабочей Москве», в «Рабочей газете» потрясение, боль при вести о несчастье рождают у поэта гневный протест, страстный призыв к дисциплине, к мобилизации сил: «Наш крик о мире — не просьба слабых, мы строить хотим с усердьем двойным!»

А вот тот же факт убийства Войкова на «втором этаже». Он окрашен горьким лиризмом, входит звеном в большой поэтический ряд, в образ Красной площади — в знаменитый проход поэта вдоль кремлевской стены с урнами:

Вот с этим
 виделся,
 чуть не за час.
Смеялся,
 Снимался около...
И падает
 Войков,
 кровью сочась,—
и кровью
 газета
 намокла.

Образ насквозь автобиографичен, поскольку в основу его легли и воспоминание о встрече с Войковым, запечатленной на снимке, и воспоминание о газетном листе,

сочаемся кровью недавнего ужасного сообщения В одном из стихотворений-откликов на убийство полпреда была деталь: «на плитах, что кровью намокли». В соответствующей строфе поэмы: «и кровью газета намокла». В поэме Маяковского по второму разу проходили события, которые уже нашли отражение в его же стихах. Оба творческих процесса шли почти параллельно; естественно, что при «подаче» мотивов из «первого этажа» во «второй» в поэму переходили и детали из стихов. Однако в поэме они становились элементами обобщения иного масштаба и плана. Если попытаться отдать себе отчет, в чем была основа этого обобщения, то прежде всего придется сказать: общее всегда обобщалось личным (и наоборот) — по формуле: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем».

Обобщение «второго этажа» с его дальним историческим прицелом ни в малейшей степени не ослабляет и энергии сатирика в стрельбе по ближним мишеням «первого этажа». В большой ликующей перспективе Октябрьской поэмы Маяковский не теряет из виду эти мишени. Его ненависть ко всему, что мешает нашему стремительному движению вперед, рождает яростную декларацию:

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыть.

И сразу же вслед за этим слова, ставшие крылатыми: «Отечество славою, которое есть, но трижды — которое будет». Маяковский стремился схватить действительность в ее движении, не позволяя тяжелому грузу прошлого, множеству отрицательных частных в жизни советской страны заслонить главного и общего: передовых сил истории, ведущих к победе коммунизма. Он принадлежал к числу тех писателей, которые поняли эту задачу адептов подлинного реализма, впоследствии получившего имя социалистического реализма. Реализм предвидения. Недаром еще на подступах к своей Октябрьской поэме в «Письме Горькому» он с таким полемическим задором формулировал самую суть нового художественного метода: «И мы реалисты, но не на подножном корму, не с мордой упершейся вниз, — мы в новом грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм».

Партия давала художникам убедительные примеры исторически-перспективного отношения к действительности и понимания действительности, изменяемой рабочим классом в ходе индустриализации.

Октябрьская поэма «прорастала» из рассказа о пути советской страны в прошлом в рассказ о ее будущем. Своим «Хорошо!» Маяковский ставил себя в ряды тех, кто приближал будущее, кто с неимо-

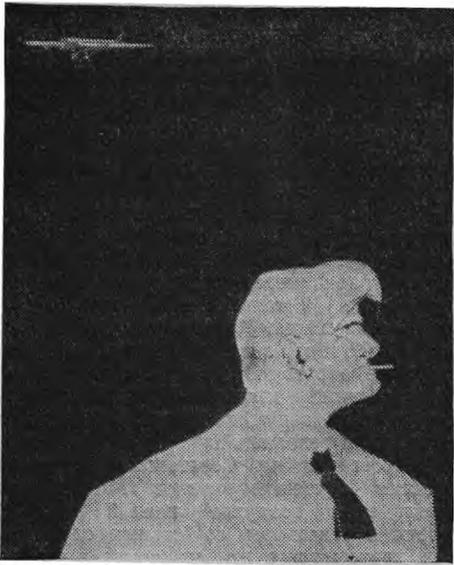
верными лишениями строил «отечество... которое будет».

2

Сказали по-своему «хорошо» Октябрьской революции многие писатели, пришедшие к ней разными путями из среды интеллигенции: и Борис Лавренев с «Разломом», и Константин Тренев с «Любовью Яровой», и в особенности Алексей Толстой со своим «Хождением по мукам», в котором он с большой искренностью выразил свой новый взгляд на русскую историю и на роль Советской власти в истории России. В период острой литературно-политической и литературно-групповой борьбы Маяковский с неприязнью отзывался о политической эволюции писателей-современников, не сразу после Октября ставших, как тогда выражались, на платформу Советской власти. На диспуте «Леф или блеф» в начале 1927 года поэт нападал на Воронского, пытавшегося творческий путь этих писателей навязать как образец для развития всей советской литературы. «Это направление (Воронского. — В. П.) со скепсисом, с кривой улыбочкой смотрело на литературные пробы, попытки и даже на хорошие книги наших товарищей по ВАППу. Почему? Да потому, что имея своей временной задачей впрямь, так сказать, в советскую упряжь этих въехавших на белых лошадях своих полных собраний сочинений Алексеев Толстых, они сделали это своей самоцелью и все перевернули: вот, мол, Алексеев Толстые и иже с ними, а вы поучитесь у них. Когда им говорили, что это наши недавние политические враги, плохо разбирающиеся в данном моменте, нам отвечали: «Да, это одно, а рифмочка-то все-таки у них хорошая».

Маяковский был прав, протестуя против тенденции Воронского сделать Алексея Толстого образцом для Маяковского, а еще более против условного и искусственного разделения советской литературы, по которому и Алексей Толстой, и Маяковский одинаково выступали в роли «попутчиков». Ведь поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» ставили Маяковского в один ряд с авторами таких произведений, как «Разгром», «Железный поток», «Чапаев». Маяковский отстаивал эти «хорошие книги наших товарищей по ВАППу», явно недооцененные Воронским. Несмотря на разногласия по художественно-теоретическим вопросам, разделявшие его с Фадеевым, Маяковский был вместе с автором «Разгрома» в одном революционном крыле советской литературы. Недаром он даже однажды сострил, что считает пролетарских писателей своими попутчиками.

С другой стороны, несмотря на совершенно иной путь в советской литературе у Маяковского, провозгласившего в первые же дни Октября — «моя революция», и у Алексея Толстого, который прошел через идейные блуждания «сменовеховцев» и,



Надо мною небо —
синий шелк
Никогда не было
так хорошо!

вернувшись на родину, коренным образом пересматривал свои взгляды, — несмотря на это, между «Хорошо!» и «Восемнадцатым годом» (второй частью «Хождения по мукам») были очень важные точки соприкосновения. Заканчивая через много лет свою трилогию, А. Н. Толстой так определял смысл своей работы:

«Тему трилогии «Хождение по мукам» можно определить так — это потерянная и возвращенная родина. Дело в том, что ощущение родины на рубеже первой мировой войны и даже в первую мировую войну в среде интеллигенции было ослаблено. И только за эти 25 лет новой жизни, и в особенности в преддверии ко второй мировой войне, стало вырисовываться перед каждым человеком глубокое ощущение связи, неразрывной связи со своей родной землей. Мы пришли к ощущению родины через глубокие страдания, через борьбу. Никогда на протяжении, может быть, целого века не было такого глубокого и острого ощущения родины, как сейчас. Всего этого я не мог бы понять в 1927 году, когда писал «Восемнадцатый год».

Да, Маяковский в 1927 году понимал «все это» больше и глубже Алексея Толстого, но и для автора «Хорошо!» ощущение родины обострилось, вернулось через глубокие страдания, через борьбу за победу социализма на родной земле. А в годы первой мировой войны поэт в стихотворении «России» с горечью признавался: «Я не твой, снеговая уродина», чувствовал себя обреченным, искал выхода в утопическом «острове зноя», искал спасения от ужасной действительности в экзотических неправдоподобных мечтах: «иная окажется родина».

Чувство любви к родине вернулось к А. Н. Толстому, обновленное и углубленное пониманием социалистического будущего России. «Хмурое утро» — в этом названии третьей части трилогии осмыслено трудное рождение того великого исторического дня, который будет освещен солнцем коммунизма.

Процесс становления литературы социалистического реализма, литературы, утверждающей любовь к социалистической родине как одно из самых глубоких и сильных чувств нового человека, проявлялся по-разному в творчестве художников разного склада, разной биографии. Сейчас, в исторической ретроспекции, нам видно, как эти течения сливались в общем пафосе советского патриотизма.

Но как они подготовлялись? Что послужило идейной почвой для возникновения поэмы «Хорошо!», которую Маяковский считал своей «программной вещью»? Ответить на этот вопрос тем более важно, что Октябрьская поэма Маяковского — одно из наиболее совершенных произведений в расцвете его таланта — отразила длительный историко-литературный процесс воплощения темы советского патриотизма и стала этапом в развитии советской поэзии.

Маяковский жил интересами политической жизни, как иной поэт живет в своем творчестве образами природы. Политическая борьба, которую вела молодая Советская республика, отстаивая интересы народа, возбуждала его поэтическое воображение, активизировала его словесное творчество. Чтобы понять значение поэмы «Хорошо!», с ее пафосом советского патриотизма, как смелой новаторской заявки, как гражданского поступка, нужно отдать себе отчет: Маяковскому нужно было доказывать свое право на постановку этой задачи. То, что ныне воспринимается в его поэзии как выражение общего убеждения, было в свое время рискованной «ездой в незнаемое». Поэт должен был быть готов к тому, что «заявка» будет принята в штыки, встретит противников — прямых и затаившихся, смотрящих на вещи с других позиций, и общественно-политических, и эстетических.

Выпуская поэму в свет, автор дал ей имя, которое «задирало». «Хорошо!» — первое слово на обложке — определяло боевой, наступательный характер поэмы.

Что давало Маяковскому уверенность в его наступательной позиции? Опора на мысли Ленина, с которыми он сжился, которые стали его собственными мыслями, как он сказал об этом еще в 1920 году в стихотворении «Владимир Ильич»: «Я в Ленине мира веру славлю и веру мою».

В марте 1918 года в знаменитой статье «Главная задача наших дней» Ленин писал: «Мы оборонцы с 25 октября 1917 г. Мы за «защиту отечества», но та отечественная война, к которой мы идем, является войной за социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Советскую республику, как отряд великой армии

социализма». Ленин ставил в кавычки слова «защиту отечества», потому что этими словами в 1917 году буржуазное Временное правительство обманывало массы, требуя продолжения империалистической войны. Однако теперь эти слова приобретают иной смысл, кавычки должны отпасть. Характерно, что слово «оборонцы» в этой же фразе Ленин раскавычил, потому что ведь речь идет об обороне социалистического отечества, социализма как отечества. Эпиграфом к своей статье Ленин ставит некрасовские слова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь», как бы подчеркивая этим национальную преемственность, великую революционно-демократическую традицию, обновленную в советском патриотизме.

В мае 1918 года в статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» Ленин возмечивает идею советского патриотизма, обрушиваясь на «левых» коммунистов: «И я вам объясню, любезные,— говорил Ленин,— почему это несчастье с вами случилось: потому что вы лозунги революции более заучиваете и запоминаете, чем продумываете. От этого вы слова «оборона социалистического отечества» ставите в кавычки, которые, вероятно, должны означать ваше покушение на иронию, но которые на деле показывают именно кашу в голове».

Понятие «социалистическое отечество» в том высоком революционном смысле, который придал ему В. И. Ленин, постоянно встречается в статьях и выступлениях «Правды», в особенности в связи с усилившейся в 1927 году опасностью войны. В живом политическом языке, на котором партия обращалась к массам, слова эти стали программной формулой, в которой выработанное народными массами на протяжении столетий понятие исторической общности обогащалось новым социальным содержанием. Хотя слова «отечество» и «родина» уже давно стали синонимами, но в ленинском словоупотреблении после Октября мы встречаем только слово «отечество». «Пою мое отечество» — восклицает Маяковский в Октябрьской поэме, и в решающих лирических монологах пользуется только этим словом, опираясь на ленинскую традицию.

Но дело, конечно, не в слове как таковом, а в содержании понятия и образа советского патриотизма, с такой полемической силой развернувшихся и утвержденных в Октябрьской поэме Маяковского. В этот образ Маяковский, можно сказать, вживался постепенно, с первых своих произведений после Октября, еще со знаменитого «Левого марша»: «Россия не быть под Антантой», «Коммуне не быть покоренной». Все его заграничные стихи говорят о формировании в нем чувства патриота советской страны, начиная с первого выезда за рубеж Советской республики в тогда еще буржуазную Латвию. Ей было посвящено стихотворение с шутливым по форме, но очень знаменательным по существу вы-

водом — «Мораль в общем: зря, ребята, на Россию ропщем». И — вплоть до ставшего знаменитым американского цикла стихов с его вызывающим девизом — «у советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока».

Так углублялось в поэте осознание авангардной роли его страны в истории человечества, кристаллизовалось чувство советской национальной гордости. Нужно заметить, что в заграничных стихах еще не развернуты черты советской жизни, они как бы подразумеваются, иногда остаются в подтексте. И только в «Письме Горькому», получившем огромный резонанс в начале 1927 года, впервые проступает ослепительный образ советской страны, противопоставленный миру капитализма: «Не чище ль наш воздух, разреженный дважды грозой двух революций!»

В поездках по Советскому Союзу с лекциями и чтением стихов Маяковский дышал этим воздухом полной грудью: встречи и разговоры со своими слушателями, знакомства с людьми труда в реальных условиях их жизни и борьбы обогащали его такими впечатлениями, которых иным путем он не смог бы получить и которые широко раздвигали его опыт. Из поездок он вывез в начале 1927 года стихотворение «Нашему юношеству», которое можно считать одним из подготовительных этюдов к поэме «Хорошо!», хотя оно имеет и вполне самостоятельное значение. Мы уже отмечали связь между поэмой и стихами на текущие темы, создававшимися параллельно. В стихотворении «Нашему юношеству», обращенном к молодежи, поэт ставил вопрос о дружбе народов или, как впоследствии прекрасно сказал Павло Тычнина, о «чувстве семьи единой» как одной из основ советского патриотизма. Это стихотворение, как и «Письмо Горькому», является своего рода прологом к поэме «Хорошо!» с ее пафосом социалистического отечества. В зачине «Нашему юношеству» поэт с уважением говорит о многонациональной культуре народов советской страны:

На сотни эстрад бросает меня,
На тысячу глаз молодежи
Как разны земля моей племена,
И разен язык
и одежи!

Слово «отечество» еще не вошло в поэтический словарь Маяковского, хотя он и оценивает с любовью «земли моей племена», уважительно удивляется разности языков и с особой нежностью отзывается о русском языке:

Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листочками вороча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек

Впечатления, наблюдения лектора, путешественника дают и пищу для большой работы мысли, кристаллизуют тему и поэтический пафос, которым живет в это время автор Октябрьской поэмы. Не слу-

чайно в том же № 2 «Нового Лефа» за 1927 год, где было опубликовано «Нашему юношеству», Маяковский затрагивает ту же тему в заметке о своем споре с Совкино по поводу сценария:

«Я написал сценарий — «Как поживаете?»»

Сценарий этот принципиален. До его написания я поставил себе и ответил на ряд вопросов.

Первый вопрос — Почему заграничная фильма, в общем, бьет нашу и в художестве?..

...Четвертый вопрос — Почему слепит «Парижанка»?

...Сценарий «Как поживаете?» должен был быть ответом на эти вопросы языком кино. Я хотел, чтоб этот сценарий ставило Совкино, ставила Москва («национальная гордость великоросса...»).

Маяковский заключает последние слова в кавычки. Это цитата из знаменитой статьи Ленина «О национальной гордости великороссов». Один из молодых литературоведов, близких к Лефу, — В. А. Силлов — показал Маяковскому, как раз в начале 1927 года, том сочинений Ленина с этой статьей В. А. Силлов, помогавший поэту в составлении библиографии его произведений, рассказывал мне, как был Маяковский обрадован, познакомившись с этой ленинской статьей. Ленин писал: «Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев».

В стихотворении «Нашему юношеству» трактовка советской национальной гордости и роли русского языка поэтически продолжает мысль Ленина. Перед нами тот случай, когда писатель берет идею из работы вождя партии или партийного документа как стимул для самостоятельного художественного исследования и осмысления явлений жизни, как озарение собственного жизненного опыта. «Я в Ленине мира веру славлю и веру мою». Поэтические образы Маяковского отливаются в точные афоризмы, в которых политическая формулаживает до непосредственной осязаемости. Таковы многие строфы «Нашему юношеству».

Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевом
и Тифлисом.

Стихотворение строится как обобщение фактов, наблюдений над жизнью, — в этом основа убежденности поэта.

Великодержавный шовинизм ненавистен Маяковскому, он склоняет голову перед общими жертвами советских народов, объединившихся вокруг русского народа в борьбе за победу Октября.

Победу
своими телами кормя,
на пушки пушки разинув,
бок о бок дрались
дружины армян,

украинцев,
русских,
грузинов.

В настоящее время комментарий к этим строфам кажется несколько досадным и бледным повторением того, что и так понятно. Однако страсть провозвестника, первооткрывателя норм культуры, вытекающих из самой сути и духа нового общества, которой рождены эти строфы, делает поэзию их истинной, не стареющей. И сегодня не только не померкли, но все глубже и ярче раскрываются в своем общечеловеческом значении, в своей живой действенной силе художественные формулы поэта о русском языке, ставшем мировым языком, языком мира и дружбы народов благодаря Октябрьской революции:

Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

Это самый сильный довод, а неожиданное юмористическое признание насчет «негра преклонных годов» делает его лирически неотразимым. Учение Ленина, дело Ленина — высшее достижение русской культуры, имеющее всемирно-историческое значение. Это наша национальная гордость. Маяковский чужд национальной ограниченности, отдавая должное Западу, он признается: «И я Париж люблю сверх мер». Тем более язвительно высмеивает он низкопоклонников и «стиляг»:

Но нам ли,
шагавшим в огне и воде,
годами,
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардые
французиными пижонами!

Все это звучит как сказанное сегодня. Неужели за правку высказать это нужно было бороться? Да. Поэт не смог опубликовать «Нашему юношеству» ни в газетах, где он обычно печатался, ни в журналах. Пришлось печатать его в «Новом Лефе» — журнале малотиражном, рассчитанном на узкого литературного читателя. С огорчением писал Маяковский в мартовском номере «Нового Лефа» 1927 года в заметке «Корректуря читателей и слушателей»:

«Редакторы и читатели, которым я читал этот стих, необдуманно пытались заподозрить меня в какой-то своеобразной москвофилии.
Я утверждал обратное.
Я напечатал стих в «Лефе» и, пользуясь своей лекционной поездкой в Харьков и Киев, проверил строки на украинской аудитории... Я читал стих в Киевском университете и Харьковской держдраме.

Прав оказался я.
Замечания (без них нельзя — велика привычка оценивать стих с вкусовой сто-

роны, не учитывая его полезности) сводились лишь к уточнению отдельных слов и выражений, могущих быть неверно понятыми в условиях гиперболического ощущения каждого слова о национальном языке на первых шагах борьбы за обладание им.

Так, например, указывалось, что украинец не скажет «не чую», а «не чув», или, что «хохол» в этом контексте оставить можно лишь при уравнивании его «кацапом» в одной из следующих строк.

С удовольствием и благодарностью, для полной ясности и действенности, вношу всю сделанную корректуру...»

В дальнейшем, как известно, в последней редакции «Нашему юношеству» поэт «припаял» строки автобиографические, в которых высмеял по-холопски понятую национальную гордость, предупреждая упреки в «москвофилии», и отстоял по-социалистически понятую национальную гордость великоросса:

Три
разных истока
во мне
речевых,
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак,
другим — сечевик,
а по рождению
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан:
И ваших
и русопетов.

Как видим, Маяковскому приходилось «брать» право, доказывая, что его мировоззрение не имеет ничего общего с шовинизмом, с «москвофилией». Против него были люди уважаемые, редакторы советских органов печати, с которыми он был связан постоянным сотрудничеством. Все они не высказывались прямо против стихотворения «Нашему юношеству», но — было ясно — не хотели его публиковать. Создавшееся положение было для Маяковского невыносимым. В подобных случаях негодование, сознание своей правоты вызывали в нем бурный взрыв энергии, он бросался к массам, ломая все преграды на пути к ним, обнародовывая свое произведение голосом. Откуда он черпал уверенность для этой борьбы, ведь нужно было идти не против чужих, а против своих авторитетов? Ответ на этот вопрос может быть только один: Маяковский как художник жил идеями Ленина, идеями партии и продолжал, развивал их самостоятельно в своем искусстве средствами искусства. Не мог не продолжать, не выражать их, потому что в этом была суть его художественного мышления, его творческая потребность. Маяковский не раз приносил в жертву другие темы ради той, которую он считал более важной.

Известно, что стихотворение о Ленине к его пятидесятилетию не было опубликовано к дате, а появилось — случай не ча-

стый в практике Маяковского — только спустя два года. Оно было глубоко лирическим, отвечало внутренней потребности поэта сказать о себе самое важное — в связи с Лениным:

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

В этом все дело. У Маяковского могли быть вещи более удавшиеся и менее удавшиеся, более совершенные и менее совершенные, но речь шла о самом источнике поэзии, о кастальском ключе вдохновения. «Поэтом не быть мне бы, если б не это пел...» И он пел, трубил, желая увлечь за собой на путь Ленина нашу молодежь, обещая ее от чуждых влияний нэповского или националистического толка:

Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злым мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!

В стихотворении «Нашему юношеству» поэт, вынеся из своих поездок многие наблюдения над жизнью, подсмотрев в ней недостаток интернационального воспитания тогдашней молодежи, вынес это свое беспокойство на свет, сказав о тревоживших его явлениях честно и смело, а некоторые критики и редакторы увидели в нем «москвофилию».

Таковы были идейные подходы, подступы к тому художественному открытию, каким стала занимавшая в этот период «сверхурочно» все мысли и чувства поэта его Октябрьская поэма.

3

Маяковский готовился к ней и нацеливался на эту вещь, вероятно, еще с весны 1926 года, в период работы над статьей «Как делать стихи», о чем можно судить по следующему замечанию: «Есть темы разной ясности и мутности... Огромная тема об Октябре, которую не доделать, не пожив в деревне».

В стихотворении «Наше новогодие», появившемся в «Известиях» 1 января 1927 года, все устремлено к десятилетию Октября и дан наказ поэта: «Дайте крепкий стих, годочков этак на сто...»

В февральском номере «Нового Лефа» за 1927 год, в хронике, работа Маяковского описана так: «Провел ряд поездок по провинции, читая лекции и стихи. В настоящее время находится в поездке по городам Поволжья. Лекции на темы — «Как писать стихи» и о быте: «Дашь изысканную жизнь».

Написал сценарий «Как поживаете?», который принят к постановке в Межрабпом-Русь.

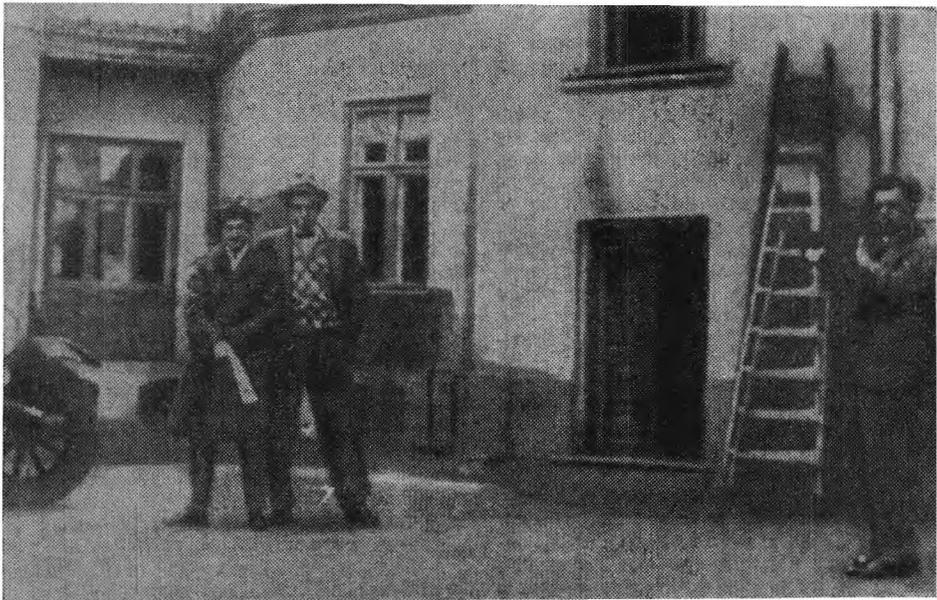
Работает над поэмой к Десятилетию Октября».

В середине февраля 1927 года юбилейная комиссия ленинградских академических театров обратилась к Маяковскому с предложением дать материал для праздничного представления. Маяковский дал согласие, имея в виду свою поэму, и заключил договор. По-видимому, это и было толчком к началу работы. Если учесть, что последние главы поэмы были закончены в августе 1927 года, то следует сказать, что вся «сверхурочная» работа (в поэме свыше тысячи строк, считая без разбивки «лесенкой») была завершена в течение немногим больше полугода.

За тот же период времени по «основной работе» в «Комсомольской правде» поэтом было создано около полусотни стихотворений. Среди них такие, как «Нашему юношеству», «Лучший стих», «Ленин с нами», «Господин народный артист», «Крым», а вслед за поэмой до конца 1927 года было опубликовано еще пятнадцать стихотворений и в их числе: «Чудеса», «Маруся отравилась», «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им...». Если прибавить к этому, что в результате поездок в Польшу и Чехословакию Маяковский написал очерки о своих заграничных впечатлениях, то объем и значительность сделанного поэтом за один этот год предстанет во всей своей внушительности. Вся огромная творческая работа делалась, как это всегда было у Маяковского, на ходу, не прерываясь, а, по-видимому, лишь возбуждаясь от впечатлений поездок и почти ежедневных выступлений с лекциями-разговорами и чтением стихов в Советском Союзе и за рубежом.

В «Нашем новогоднии» Маяковский призывал: «Рабочие и драмщики, стихачи и крестьяне, готовьтесь к десятой годовщине!» Из деятелей искусства «драмщики» поставлены здесь впереди поэтов не случайно: приближающаяся годовщина поставила на первый план задачи перед театрами, подготовка «зрелищного» ознаменования юбилейной даты требовала больших усилий — творческих и организационных. Журнал «На литературном посту», обозревая октябрьские постановки, отмечал в конце 1927 года: «Редко когда советский театр заслуживал столько благоприятных отзывов печати, редко когда он слышал такие шумные аплодисменты, как на московских октябрьских спектаклях. Публика аплодировала, услышав имя Ленина из уст канадского солдата в «Бронепоезде». Она радовалась освобождению Фурманова в «Мятеже» и Жука во «Власти», пленению Временного правительства в «1917 годе», она рукоплескала красному знамени, поднятому на «Заре» в «Разломе»... Это были не только аплодисменты театру, но и аплодисменты революции, радостное переживание хотя и отошедших в историю, но все еще живых событий...»

И в этом и в других обзорах театральных постановок не было уделено места спектаклю Малого оперного театра в Ленинграде «25 октября 1917 года». Это была театрализация первых глав Октябрьской поэмы Маяковского. Спектакль был показан лишь несколько раз в юбилейные дни и сошел с репертуара. У нас нет достаточных данных для объективной оценки спектакля. Несомненно лишь то, что Маяковский, принимавший близкое участие в под-



В. Маяковский и полпред СССР в Польше П. Л. Войнов (справа).

готовке спектакля и в репетициях, сохранил благодарное чувство к постановщику Н. В. Смоличу. На только что вышедшей поэме «Хорошо!», подаренной Н. В. Смоличу, поэт сделал надпись: «Жму руку моему соратнику-единодумцу, оживившему в плоти, рожденное мной...»

В истории создания «Хорошо!» этот мимолетный театральный эпизод не может быть отмечен, хотя инсценированы были только первые семь глав (со 2-й до 8-й в окончательном тексте), которые в ходе работы поэт называл первой частью поэмы. Хронологически она охватывала период времени примерно с середины 1917 года, вероятно, после демонстрации 3—5 июля, подготовку восстания, штурм Зимнего; в заключение, после картины свержения эксплуататоров, шла картина первого субботника — «свободного труда свободно собравшихся людей». Материал точно отвечал теме «25 октября 1917 года», представляя собой внутренне завершенную часть поэмы, которая могла восприниматься с театральных подмостков как вполне самостоятельное произведение.

Маяковский подписал договор с дирекцией ленинградских театров 18 февраля 1927 года и обязался к 15 июня 1927 года представить, как сказано в тексте договора, «законченное художественное произведение (литературную обработку темы) «Октябрь», каковое могло бы послужить канвой для синтетического спектакля, сценарий которого будет разработан самими Академическими театрами; выбор литературной формы произведения предоставляется самому автору».

Точно в назначенный срок Маяковский читал юбилейной комиссии в Ленинграде свое «25 октября 1917 года». Оно произвело на всех присутствующих огромное впечатление. В ответ на похвалы поэт сделал любопытное признание, записанное в протоколе секретарем юбилейной комиссии режиссером Д. Пашковским:

«Вот, когда мне было сделано предложение Комиссией и срок поставлен 15 июня, я просто не представлял себе, как подойти к этой задаче. Сомневался, просил отсрочить хоть до 15 июля и не знал, что и как писать, как приняться. Еще беря аванс, я не знал, что будет. Но взял аванс — и заработала мысль. И ясно стало. И стал писать. Еще сегодня утром после прочтения текста Раппопорту (режиссер, который вел переговоры с Маяковским.— В. П.) я дописал еще новых тридцать строк. И дальше работать над текстом буду до конца. Советую и режиссерам, будущим создателям этого спектакля, воспользоваться моим рецептом, сказанным по поводу аванса...»

В шутильной форме поэт отметил здесь важную особенность работы над поэмой: план ее рождался в ходе исполнения, обуславливался написанным — от главы к главе. И хотя не приходится говорить о предшествующей работе, продумывании общего замысла, но композиция всей вещи в целом получилась очень стройной. Идущие

вслед за «первой частью», посвященной Октябрьскому перевороту, главы 9—17 охватывают годы гражданской войны и разгрома иностранной интервенции вплоть до изгнания Врангеля из Крыма. Закрывающая эту часть глава 17-я впервые формулирует тему вещи: «Отечество славлю, которое есть...» и является лирическим переходом от прошлого к настоящему и будущему в радостном апофеозе 18-й и 19-й глав. «Я земной шар чуть не весь обошел,— и жизнь хороша, и жить хорошо» — в заключительной главе возникает «главное слово», давнее название произведению.

После того как была написана первая часть Октябрьской поэмы и выполнено обязательство перед театром, поэт почувствовал себя свободным и от «обязательств» перед драматургической формой. В первой собственно исторической части, которая готовилась для театра, более острым драматизм конфликтов, большая установка на речевое выражение характера действующих лиц. Во многих эпизодах значительное развитие получила собственная речь персонажей, например, Керенского, Милюкова, широко, по-театральному развернуты сцены Милюков — Кускова, диалог-спор на злободневную политическую тему в ресторане между монархистом штабс-капитаном Поповым и неким «аdjутантом», монолог, по-видимому на солдатском большевистском собрании, товарища «из военной бюры», реплики безыменных героев в эпизоде штурма Зимнего... Образ автора, его «я» непосредственно возникает только в ночной встрече с Александром Блоком вскоре после победы Октябрьского восстания, а в других картинах, хотя голос автора слышится и образ его возникает за каждым словом повествования и высказываний персонажей, как действующее лицо автор в этих первых главах не фигурирует. В этом тоже можно видеть сознательную ориентировку на «сценарий»

Если внимательно присмотреться, то остальная, почти вдвое большая часть поэмы — с 9-й до 19-й главы — написана в ином повествовательно-лирическом ключе. Историческая живопись оттесняется здесь нередко автобиографическими эпизодами, о чем сам поэт впоследствии сказал: «Введение для перебивки планов фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций...» Героем поэмы, все чаще выступающим на первый план, становится сам автор, нередко подчеркивающий, что, говоря о себе, он говорит обо всех. Огромной выразительности это единство личного и общего достигает в знаменитых лирических отступлениях, которые, как на крыльях, поднимают факты различного исторического калибра к широким ассоциациям идеи советского патриотизма.

Если первые семь глав вынашивались и создавались примерно в течение четырех месяцев (с февраля по июнь 1927 года), то остальные одиннадцать потребовали меньше времени: немногим больше двух меся-

цев. По-видимому, перечитав написанное, Маяковский написал вступление — элемент в его поэмах исключительно важный: во вступлении поэт обычно объясняет причины, заставившие его взяться за работу, и раскрывает тему произведения. Вступление к «Хорошо!» в отличие от вступления к поэме о Ленине носит характер литературной декларации, в которой каждая строфа важна для понимания эстетических позиций автора, вызывает серьезные размышления. Центральное место занимает строфа, ставшая крылатой и получившая значение своего рода манифеста советской поэзии, провозглашающего единство эпоса и лирики.

Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или
или страной.
или
в сердце
было
в моем.

Для Маяковского это отнюдь не перевоплощение в своих героев. Для автора «Хорошо!» утверждение единства его «я» с народом и страной лишено эстетической условности. Речь идет не о перевоплощении, а о слитности судьбы автора с судьбой народа, такой слитности, которая дает поэту право отождествлять одно с другим. В противоречивой обстановке литературно-политической борьбы, оттеснявшей Маяковского на роль «попутчика», поэт берет здесь «право вот это», чтобы заявить: народ — это я, я — это народ, моя республика, моя милиция, мои депутаты и т. д.

Можно видеть в декларации вступления о единстве «общего» и «личного» и желание подчеркнуть цельность произведения. С точки зрения этого высшего единства отступают жанровые различия между «драматической» и повествовательно-лирической частями поэмы. «Случайное» происхождение первых глав, связанное с театральным заказом, не внесло «разностильности» в поэму и, напротив, сделало более выигрышной собственно-историческую часть, усилив драматизм конфликтов.

4

Маяковский гордился тем, что для него не было вопроса «принимать или не принимать?». С первых же дней Октября он «всю свою звонкую силу поэта» отдавал «атакующему классу». Тем не менее слияние с рабочим классом в творчестве не пришло само собой. Поэт его выстрадал. В заключительной главе поэмы «Про это» есть горькие признания, говорящие о том, как в сложной обстановке литературно-групповой борьбы, болезненно переживая неполноценное положение «попутчика», Маяковский поднимался к единству общего и личного. С огромной силой говорил он, как ненавидит все, «что в нас ушедшим рабам вбито...»

Поэма о Ленине стала тем перевалом, после которого у поэта окрепло чувство уверенности в своей нужности рабочему классу. Его гражданское и творческое самочувствие неразрывно слилось в формуле: «Я счастлив, что я этой силы частица...» Поэма «Хорошо!» пронизана светом единства личного и общего.

Проблема интеллигенции и революции, волновавшая большую часть литературы, которую составляли писатели-«попутчики», эта проблема пути к революции для Маяковского не существовала. Какие силы выведены в первых главах поэмы, посвященных Октябрьскому перевороту? Прежде всего, крестьянство (в том числе мужики в солдатских шинелях) и рабочие во главе с Лениным и партией, с одной стороны, и лагерь буржуазии во главе с «временными», с другой.

Тема интеллигенции в этой широкой и красочной картине борьбы занимает очень небольшое и подчиненное место по отношению к теме деревни и возникает в полемике с А. Блоком и его «Двенадцатью». Образ крестьянской стихии у Маяковского сродни той картине стихийности, которую создает А. Блок в своей гениальной поэме. Полемизируя с ней, Маяковский, как это уже не раз было отмечено, идет в русле ее стиливых приемов, воспроизводя ритмы частушек, переключаясь с Блоком в изображении отдельных сторон русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». И тем более эпически-широко выступает у Маяковского праведность народного гнева:

Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика...

Интонация этой яростной частушки, конечно, близка к блоковской:

Уж я ножиком
Полосну, полосну!
Ты лети, буржуй, воробышком!
Вьюлю кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Однако в признаниях блоковского героя отчаяния больше, чем гнева, а в мотивировке расправы над лютым врагом слышится не столько классовая ненависть, сколько иступление:

Упокой, господи, душу рабы твоя...
Скучно!

Маяковский подчеркивает только плебейское возмездие и классовое самоутверждение, не осложняя эти мотивы никакой рефлексией.

У Маяковского весь «этот вихрь... прибирала партия к рукам». Очевидна разница красок в изображении «вихря» у Маяковского и у Блока, разница идеологической трактовки одних и тех же явлений действительности. Ведь у Блока образ Христа, как ни толкуй его иносказательный смысл, является художественным ориентиром, к нему направлена поэма.

Маяковский должен был внести полную ясность в свой ориентир:

Живые,
с песней
 вместо Христа,
люди
из-за угла.

В этой полемике объективная истина была на стороне Маяковского, но в трактовке отношения Блока к революции Маяковский допустил упрощение, связанное с тем, что автор «Хорошо!» не чувствовал проблемы «интеллигенция и революция». В знаменитой статье того же названия, датированной 9 января 1918 года, А. Блок писал: «Чем дальше будет гордиться и ехидничать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом». И еще: «Почему валят столетние парки? — Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мощной, а дураку — образованностью...» Какую веру в силы народа, какую пронизательность, позволившую увидеть светлое будущее за многими темными явлениями, проявил автор статьи, написанной в первые месяцы после Октября!

На конференции в 1960 году в связи с 80-летием со дня рождения А. Блока в докладе Вл. Орлова было обращено внимание на это противоречие в поэме Маяковского. Оно заслуживает того, чтобы в нем разобратся.

В поэме «Хорошо!» Блок предстает двойственным. Он сначала говорит «Очень хорошо», выражая свое сочувствие взрыву старого мира. «Кругом тонула Россия Блока...», — замечает Маяковский. Однако ведь в образе России у Блока есть не только то, что связывает его со старым миром, но и то, что взрывает этот ненавистный поэту мир, что обращено к новому, к революции. В поэзии Блока есть страстная тоска и жажда найти свое место в революции, «место поэта в рабочем строю». Блок произносит еще одну фразу: «Пишут... из деревни... сожгли... у меня... библиотеку в усадьбе». И с каким лицом он это произносит в поэме Маяковского: «...Сразу лицо скупее менял, мрачнее, чем смерть на свадьбе...» Но разве с таким лицом можно было сказать слова могучей веры в творческие силы народа, провидеть светлое будущее для героев «Двенадцати»?

Пушкин, умирая, обращался, по свидетельству Жуковского, к книгам своей библиотеки: «Прощайте, друзья!» На что жалуются Блок? Не усадьбу сожгли, а библиотеку в усадьбе! Этого оттенка Маяковский не расслышал.

В основе сцены поэмы, как известно, лежал реальный факт: Маяковский встретил Блока в первые дни революции у Зимнего дворца. В статье-некрологе о Блоке Маяковский писал: «Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем — Блок в своей поэзии не выбрал». Нет, Блок выбрал свой путь на стороне Октябрьской революции. Для Блока, как и для Маяковского, не было вопроса — «принимать

или не принимать?» Но этот вопрос, даже будучи решен, оставлял еще ряд нерешенных вещей, которые заключались в проблеме: интеллигенция и революция. В творчестве Маяковского эта проблема не ставилась. Но в реальной исторической действительности вопрос существовал даже для Горького. Не кто иной, как Ленин, помог великому пролетарскому писателю решить его окончательно и бесповоротно в пользу Октябрьской революции, облегчив решение этого вопроса сначала десяткам и сотням, а потом тысячам и десяткам тысяч интеллигентов — агрономов, инженеров, литераторов, каждый из которых нашел, по словам Ленина, свой путь к коммунизму.

В Октябрьской поэме Маяковского волновала не судьба интеллигенции в революции, а жизнь миллионов, ставших действительными героями истории. И о себе он мог, проходя по Красной площади, радостно сказать: «Носил с миллионами сердце мое, уверен и весел, горд и торжествен».

«Этот день воспевать никого не найдем», — говорит Маяковский во вступлении к Октябрьской поэме, и это звучит знакомым мотивом из «Письма Горькому»: «Делами, кровью, строкою вот эту, нигде не бывшую в найме (разрядка моя.— В. П.), — я славлю взвонное красной ракетой Октябрьское, руганное и пропетое, пробитое пулями знамя!»

Страсть, с которой Маяковский отстаивает свое право быть певцом Октябрьской революции, право, купленное ценой всей жизни, самой биографией поэта, пройдет через все творчество его вплоть до «Во весь голос»: «Мы диалектику учили не по Гегелю. Бригадиром боев она врывается в стих...» Эту страсть нельзя понять, если не почувствовать в ней протеста поэта против неполноценности своего положения в литературе между «попутчиками» и РАППом.

Разговор с Блоком отодвигается как «личная ассоциация», отступающая перед темой огромного значения: полемика с «Двенадцатой» возвращает нас к теме деревни и более широко ставит вопрос о стихийности и сознательности в революции. Перед взором поэта — огромная крестьянская страна. Тема деревни, мужицкой стихии, открывающая поэму, вновь возникает как заключительный аккорд ее собственно исторической первой части. Под рефрен частушек «Эх, яблочко, цвета ясного. Бей справа белаво, слева краснова» встает образ взбаламученной революцией крестьянской стихии. Частушка переделывается и теми и другими на свой лад так, что она могла исполняться «на обе стороны». Все в этом «вихре», что могло пойти на пользу Октябрьской революции, партия поддерживала или, как очень точно говорит Маяковский, «прибирала партия к рукам». Образ партии-руководителя, «хозяйина» революции смыкается здесь с тем, который встречает читателя в открывающей поэму солдатско-крестьянской главе — «есть за мужиков какие-то «большаки» — у-у-у! Сила!».

Поэма в целом и рассказывает о том, как в неслыханных тяготах гражданской войны, разрухи, блокады пробуждается и крепнет в народе чувство социалистической родины, как под водительством партии прокладывает себе светлый путь «земля молодости», социализм как отечество, «отечество, которое будет».

5

Мы стремились показать, что истоки пафоса Октябрьской поэмы — в идеях Ленина, в реальных условиях жизни страны и поэта; наметить связь работы над «Хорошо!» со всей громадой работы Маяковского, со всем движением молодой советской литературы; фиксировать, поскольку это возможно, этапы творческой истории Октябрьской поэмы и ее проблематику в связи с позицией Маяковского в литературе тех лет, с его местом в литературной борьбе.

В «Я сам» Маяковский сказал о «Хорошо!» более подробно, чем о каком-либо другом своем произведении:

«Хорошо!» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение для перебивки планов фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

В сжатой форме здесь дано очень многое для понимания места поэмы в литературной биографии Маяковского. Октябрьская поэма программна как эпическое произведение: великое историческое событие в жизни народа предстает в нем в таких картинах, которые в своей совокупности охватывают действие всех основных классов в революции; художник овладел здесь всеми средствами своей палитры в их гармоническом развитии и предельной экономии. Первая часть поэмы — Октябрьский переворот — решена в четырех эпизодах, следующих один за другим за открывающей историческое действие солдатско-крестьянской сценой. Последовательность сцен помогает осознать, где истинная сила врага и каковы истинные, тайные намерения сторонников «свобод и конституций».

Не Керенский, который «болтает сорочкой радостной», опьяненный своей славой, и даже не «кусастая няня, выдавшая виды,— Пе Эн Милюков», а «их... ревосходительство... ерал Каледин, с Дону, с плеточкой, извольте понюхать!» — вот где главная сила буржуазии, мечтающей о реставрации. Эти персонажи не один раз

были объектами сатиры Маяковского, но стоит сопоставить более ранние варианты изображения, скажем, Керенского или Милюкова, с их развернутыми портретами в Октябрьской поэме, чтобы оценить тот шаг вперед, который сделал в ней Маяковский-художник.

Распустив демократические слюни,
шел Керенский в оружийном гуле...

Это беглое упоминание в стихотворении 1922—1923 года «Германия» понадобилось поэту, чтобы оттенить свое неприятие империалистической войны. В поэме о Ленине Керенскому уделена всего одна строфа, но здесь презрительный юмор сатирика достигает высшего накала: ему нужно разоблачить противоречие между явлением и сущностью. Внешность обманчива — буржуи после Февраля «лобзались, скакали детишками малыми», но «уже начинают казять коготочки». И вот проповедник классового мира —

Премьер
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком,
Прямо девушка —
иди и гладь ее!
Истерики закатывает,
поет тенорком.

В этом публицистическом образе главное не в том, чтобы воспроизвести чувственные стороны обстановки и среды, физические детали природы, а в том, чтобы продемонстрировать свое отношение к ней. Принцип здесь тот же, что и в серии политических портретов 1923 года — Пуанкаре, Муссолини, Керзона, Стиннеса и др., объединенных в «Маяковской галерее», к которой автор сделал подзаголовок, имеющий принципиальное значение: «Те, кого я никогда не видел». Но для той задачи, которую ставил себе тогда и решал сатирик, этого и не требовалось. В портрете Керзона Маяковский уточняет свою позицию:

Гордого лорда
запечатлеть рад.
Но я,
разумеется,
не фотографический аппарат.
Что толку
в лордовой морде нам?!
Лорда
рисую
по делам
по лордным.

В сатирических портретах Октябрьской поэмы этот принцип в голом виде был бы недостаточен. Поэт рисует тех, кого он видел. Да, действительно, «что толку в лордовой морде нам?» Но о Керенском, «вертлявом постреле», или о Милюкове, который — «усастый нянь», знать эти портретные детали поведения и облика необходимо, потому что в них концентрировался и выразился характер. Свою резиденцию Керенский устроил в Зимнем дворце, в царских покоях. Этот биографический штрих не случаен для него. Автор Октябрьской поэмы не может пройти мимо данной конкретной детали, он основывает на ней

сатирический образ огромной разоблачительной силы. «Царям дворец построил Растрелли» — о дворце говорится уважительно, как об архитектурном памятнике, и в юмористически-нейтральном тоне о царях, которые там «рождались, жили, старели». Но уже следующая строка убивает своей иронической внезапностью:

Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.

Заметим, что о «царицах» сказано без иронии — дело с царями и царицами давно решенное. Но вот почему «в кровати, царицам вверенной», — царицам, а не царям? Да потому, что успехи Керенского нельзя принимать всерьез, в нем фарс истории, а не ее волево, мужественное начало, хотя бы и контрреволюционное. Не даром «Александр Федорович» превратился в солдатском каламбуре 1917 года в «Александр Федоровну». И у Маяковского в следующей строфе об обстановке, окружающей премьеры во дворце, говорится отчасти как об аксессуарах дамского будуара.

В дальнейшем развертывании исторических событий «кровать» опять всплывает в устах рабочего-большевика, поднимающего массы на восстание:

Завтра, значит,
Ну, не сдобровать им!
Быть Керенскому
биту и ободрану!
Уж мы подыдем
с царевой кровати
эту самую
Александру Федоровну.

Здесь Керенский впервые назван по имени-отчеству, но как лицо женского рода в соответствии с общеизвестным каламбуром того времени. Неожиданный сатирический зачин эпизода — Керенский в Зимнем дворце — «в кровати, царицам вверенной», подсказан фольклорным образом, сближавшим буржуазного премьеры с монархией, а не просто в силу случайного совпадения: «царицам вверенной», потому что царицу звали Александру Федоровна.

Портрет Керенского в Октябрьской поэме автор рисует по тому же принципу, что и в «Маяковской галерее» — «по делам по лордовым», но этот принцип обрастает здесь конкретно-исторической плотью.

Из Зимнего, где теперь царствует Керенский, связанный лакейской преемственностью с его прежними хозяевами, — «Их величество? Знаю. Ну, да!.. И руку жал...» — действие переходит в одну из петербургских квартир, где развертывается сцена между Кусковой и Милюковым — бывшей социал-демократкой и лидером кадетской партии, но где главным героем остается Керенский. Смысл сцены тот же,

что и во дворце: подобно тому, как для «социалиста» Керенского «их величество» — свой человек, так оба они «свои» для буржуазии. «При Николае и при Саше мы сохраним доходы наши», — говорит Милюков, узнав, что Кускова влюблена в Керенского. И вот заключение всего эпизода:

Быть может,
на берегах Невы
подобных дам
видали вы?

Автор отсылает нас к литературному первоисточнику. Разоблачительная ирония сцены Кусковой с Милюковым воспринимается на фоне знаменитой пушкинской сцены не только благодаря прямым цитатам: «Не спится няня... Здесь так душно... Открой окно да сядь ко мне» и т. д., вложенным в уста поразительно не соответствующих персонажей, но и более глубоко. Как нельзя лучше проясняются ложь, фальшь, корысть, которые у всех из этой компании — от Керенского и Милюкова до Кусковой и штабс-капитана Попова (в следующей главе), замаскированы, переодеты в чувство любви к родине, в тревогу о судьбе России.

Обнажающий это переодевание резкий сатирический прием реалистичен, доходит до корня явления, помогая поставить все действительные отношения на свои места. Откуда идет этот прием? Вероятно, из воспоминаний Маяковского о газете «Новая жизнь» в 1917 году, где поэт тогда сотрудничал и где часто печатались сатирические фельетоны Эмиля Кроткого и других поэтов-газетчиков на политические темы. Авторы осовременивали в них хрестоматийные, со школьных лет хорошо знакомые места из «Евгения Онегина», из произведений других классиков. Таким образом, самый этот прием как бы возвращал читателя Октябрьской поэмы в историческую атмосферу 1917 года. Если глава о Керенском начинается с определения места действия — «Царям дворец построил Растрелли», то столь же спокойно-повествовательно открывается сцена Кусковой с Милюковым: «Петербургские окна. Синё и темно. Город сном и покоем скван». Этот скупыми, торжественными штрихами намеченный городской пейзаж не предвещает, как и в описании дворца, резко сатирического поворота темы —

НО
не спит
мадам Кускова.

При всей скупости элементов пейзажа они достаточны и необходимы как точная авторская ремарка для предстоящей сцены.

«Петербургские окна» подготавливают реплику: «Здесь так душно... Открой окно да сядь ко мне» и достаточно определенно фиксируют время действия — душеное лето 1917 года, вероятно, незадолго перед грозной исторической демонстрацией 3—5 июля. «Город сном и покоем скван» — здесь есть, может быть, и неосознанный автором, но глубоко обусловленный всем

движением образов исторический под-
текст — «скован» карателями Временного
правительства.

«...В «Селекте» на Лиговке» — автор
указывает точный адрес места, где проис-
ходит доверительная беседа штабс-капита-
на Попова с неким адъютантом. В заклю-
чение сцены дается штрих: «Капитан
упился, как сова. Челюдь чайники бесшум-
но подавала». Всего две или три фразы,
но очень емкие, воссоздающие и ситуацию,
и исторический момент вплоть до детали,
что спиртное подается в чайниках ввиду
«сухого закона», введенного во время
войны. Внешнего вида своих собеседников
автор не дает, кроме одной общей детали в
зачине главы: «Звякая шпорами довоенной
выковки, аксельбантами увешанные до пу-
пов...» Но все политические рассуждения
штабс-капитана представляют собой рече-
вую характеристику такой выразительно-
сти, что никаких дополнений к ней не
нужно, они были бы просто излишни. При-
чем в данном случае Маяковский не при-
бегает ни к метафорическим характеристи-
кам, как в портрете Керенского, ни к сати-
рической условности, как в образе «усастая
няня Пе Эн Миллюков», а одной лишь кон-
центрацией разговорных выражений и обо-
ротов, смысл которых многократно усилен
средствами могучего стиха, лепит живой
отвратительный человеческий образ врага,
монархиста, прикрывающегося глубоко
чуждой ему революционной фразеологией:
«Я даже — социалист. Но не граблю, не
жгу. Разве можно сразу? Конечно, нет!»

Против этой речи поэт дает другую и
опять-таки точно указывает место дейст-
вия: «А в конце у Лиговки другие слова
подымались из подвалов». И эта речь
представляет собой чудо характеристики
героя средствами сказа: «Я, товарищи, —
из военной бюры. Кончили заседание —
то́ка-то́ка». Образ героя непосредственно
раскрывается в его языке. В него входят
житейские, бытовые детали как опорные
точки большого социального обобщения.
Идет рассказ о плане пролетарского вы-
ступления накануне 25 октября 1917 года,
о плане, который докладчик «из военной
бюры» только что услышал из уст Ленина.

Этот пересказ слов Ленина дости-
гает особой выразительности благодаря
сочетанию квалифицированной политиче-
ской фразеологии, ставшей достоянием на-
родных масс: — «Пока соглашатели зама-
зывали рты...» — и житейски-обиходной
речи, которой докладчик передает указания
вождя.

Заслуживает внимания, что образ
Ленина нигде не дается автором Октябрь-
ской поэмы непосредственно, и тем не ме-
нее этот образ всю ее освещает и просве-
чивает сквозь ее текст всюду, где действу-
ют народные массы. Вот как передает свое
впечатление от встречи с Лениным до-
кладчик «из военной бюры»:

С а м
приехал,
в пальтишке рваном, —
ходит,

ником не опознап.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.
Завтра, значит,
Ну, не слобровать им!

Сила любви, преданности, уважения в
сердечном «сам приехал», в заботливо
замеченном «пальтишке рваном». Эти де-
тали говорят о связи народных масс с
Лениным очень глубоко и сильно. Не везде
в написанной ранее поэме о Ленине ска-
зано об этой связи с такой силой и глуби-
ной. Вот соответствующий момент — канун
Октября — в поэме о Ленине:

Словам Ильичевым —
падают, лучшей почва:
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.

В поддержку этой все же слишком об-
щей и отвлеченной формуле автор спешит
со своим лирическим отступлением гро-
мальной поэтической силы: «Пройдут года
сегодняшних тягот...»

В Октябрьской поэме лирические от-
ступления играют другую роль, о чем бу-
дет речь дальше. А сейчас важно подчер-
кнуть, что, не отказываясь от публицисти-
ческого образа, в котором главное художе-
ственное содержание составляет авторская
оценка лица или события, Маяковский в
Октябрьской поэме дает больше места
воспроизведению картин самой жизни.
«Которые тут временные? Слазы!» — так
обозначил эту главу сам поэт на афише о
чтении поэмы. Приводя строфу из «Хо-
рошо!» о начале штурма Зимнего, — «как
будто руки сошлись на горле, холёном гор-
ле дворца», критик Е. Тагер в интересной
статье «О стиле Маяковского» замечает:

«...Образ не претендует на изображе-
ние самой картины события; «горло
дворца» — непредставимо; здесь ничего не
зарисовано... он не ставил перед собой
задач внешнего «зарисовывания» действи-
тельности».

Нет, по отношению к «Хорошо!» это
уже не так. Маяковский прямо указывает
на «ограничение отвлеченных поэти-
ческих приемов», на задачу «описания ме-
лочей», пусть с «ироническим пафосом», но
именно осознанную задачу «внешнего за-
рисовывания» или пластического изобра-
жения действительности.

«Бушлаты, шинели, тулупы» врыва-
ются в комнату, куда забились тринад-
цать министров Временного правитель-
ства:

И в эту
тишину раскатившийся властью
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?»
Слазы!
Кончилось ваше время».

Мне уже раньше приходилось писать о высоком мастерстве, с каким выполнена эта кульминационная строфа, да и весь эпизод штурма Зимнего. Великолепным, по-народному звучащим каламбуром, метафорически раскрывающим официальное название «Временное правительство», выказано убеждение масс в исторической обреченности капитализма. И еще реалистический штрих: провозглашает это матрос («бас, окрепший над рямя рея»), то есть один из тех людей, чья передовая роль в Октябрьском восстании — факт исторический. «Кончилось ваше время» — последнее главное слово строфы подготовлено рифмой, нарастающей во второй строке: «бас, ок-реп-ший над ре-я ми ре-я». Смысл последней строки поднят ритмически, как это часто делает Маяковский, поднят тем, что она самая короткая в строфе, почти вдвое более короткая, чем первая строка, которая своей относительной длиной и создает ощущение баса, «раскатившегося всласть».

Обнажение каламбурного смысла официального названия правительства буржуазии — «Временного» правительства — было ходовым в 1917 году в разговорном языке народных масс, дородно переделке в женский род имени-отчества премьеры. Есть все основания думать, что Маяковский опирался на этот факт. Но самая сцена с обращением матроса к министрам — «Слазь!» рождена творческим воображением поэта. Это именно тот случай, когда художник в конкретных деталях воплощает смысл действительности. Аналогичную функцию выполняет и другая сцена:

Какой-то смущенный
сукин сын,
а над ним путиловец —
нежней папаши:
«Ты, парнишка,
выкладывай
ворованные часы —
часы теперича
наши!»

Большое историческое обобщение вырастает здесь из конкретной «воспитательно-бытовой» сценки. Обращение к бытовым деталям, помогающим создать пластический облик героя и события, «зарисовать» его, намечалось уже и в поэме о Ленине. В Октябрьской поэме эти краски в палитре Маяковского-художника приобретают гораздо больший удельный вес. В строфе, открывающей эпизод штурма Зимнего, обычность городского пейзажа в исторический день 25 октября 1917 года выделена и подчеркнута: «Дул, как всегда, октябрь ветрами...», «За Троицкий дули авто и трамы» — в этом каламбурном сближении разных значений одного и того же слова — литературного и просторечного, в использовании разговорного «трамы» — выступает обыденность фона: погоды и жизни города. Однако обыденность подчеркнута контрастным сравнением социального характера: «Дул... октябрь ветрами,

как дуют при капитализме». Природа и история, быт и история — вне этой закономерности, расширяющей значение конкретного до общего, автор «Хорошо!» не обращается к детали. Этим определяются и весомость и метафоричность детали. Вот образ Ленина перед восстанием:

А в Смольном,
в думах
о битве и войске.
Ильич
гримированный
мечет шажки..

Первая строка, где только что сколоченные «отряды рабочих, матросов, голи» определены высоким словом «войско» в соответствии с предстоящей им исторической ролью, контрастирует со второй — бытовой, где высокий образ вождя предстает не на пьедестале. Мы видим очень простого человеческого Ильича в конкретных условиях момента. Этим контрастом исторического и жизненного содержания образа создается динамическая перспектива, как и в пейзаже дня, которому суждено было стать историческим. Подобное метафорическое использование конкретной детали позволяет свободно и органически в той же картине штурма Зимнего переходить к излюбленной Маяковским сквозной метафоре.

В превосходной работе Н. Калитина об особенностях языка и стиля поэмы «Хорошо!» сказано: «Революционная буря, волны революции — эти метафоры родились, кажется, одновременно с самым словом революция. У скольких поэтов мы уже встречали их! Но вот мы читаем ше-



Владимир Маяковский и В. М. Горонжин — один из тех, кому поэт посвятил свое стихотворение «Солдаты Дзержинского», Ялта. 1927 г.

Публикуется впервые

стую и седьмую главы Октябрьской поэмы, и знакомый, вошедший в разговорную речь образ предстает перед нами осмысленным совершенно по-новому. Маяковский тонко и последовательно подготавливает метафору. Сначала как будто случайное, не очень даже новое сравнение: «Шум, который тек родником, теперь прибоем наваливал», рисуящее начало штурма Зимнего. Дальше это сравнение дано уже более развернуто: «Как будто водою комнаты полны, текли, сливались над каждой потерей». Это тоже пока лишь образное описание штурма, но здесь уже присутствует образ могучей, стихийной силы, присутствующей на старый мир. А в следующей главе еще более широкое обобщение: водная стихия, затопившая все («Сумрак на мир океан катнул»), бушующая вокруг «непрерывная буря», идущий ко дну «взорванный Петербург», тонущая Россия Блока и сам Блок, тщетно ждущий «по воде шагающего Христа», — так развертывается заново прочувствованная и осмысленная метафора».

В Октябрьской поэме Маяковский-художник насытил публицистический образ конкретными эмоциональными деталями, укрепил внутреннее метафорическое видение мира опорой на метафорически использованную бытовую деталь.

В автобиографии он имел в виду именно это: «ограничение отвлеченных поэтических приемов», «изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала». Лефовская терминология не должна помешать нам понять сущность эволюции автора «Хорошо!»: Маяковский-художник обогатил и углубил в Октябрьской поэме свой творческий реалистический метод, основу которого он определил в «Письме Горькому»: «И мы реалисты, но не на подножном корму, не с мордой, упершейся вниз...»

6

И во второй части поэмы, в главах, посвященных героической эпохе борьбы молодой республики Советов против интервентов, сохраняется та же напряженная художественная фактура повествования, в которой нити бытовых мотивов туго вплетены в ткань исторических событий. Последние даны «общими планами». Здесь нет портретов исторических лиц, которые стягивали бы к себе действие, как в собственно исторической части поэмы. Судьба страны, народа в большом и малом преломлена через сердце «свидетеля счастливого». «Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем...» Тут границы не провести — поэт рассказывает о себе как о народе, о народе и республике как о самом себе. В поэме о Ленине было важное признание о преодолении дистанции между поэтом и народом: «Я счастлив, что я этой силы частица...» В Октябрьской поэме этой дистанции нет. «О времени и о себе» — вот неделимое содержание поэмы.

«Свидетель счастливый» — поэт или всякий гражданин Советской республики, «маленький человек», который своим скромным, честным трудом участвует в жизни страны, любит и ненавидит, радуется и печалится вместе с народом. «Живу в домах Стахеева я, теперь Везсенха» — то и другое теперь нуждается в пояснениях, хотя все-таки и без них, вероятно, догадается молодой читатель, что Стахеев — это какой-то частник, а Везсенха — советское учреждение. Этого и достаточно, чтобы войти в суть образа, в бытовую атмосферу лишений, о которой рассказано почти весело:

Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирья.
Зубами
щелкают,—
картошка —
пир им.

Быт до последней степени неустроенный — нет топлива, нет канализации. Но за всем этим трудным бытом с его, казалось бы, личными делами и происшествиями — усмешка автора, и в ней главное. Усмешка, скрывающая боль, но и приглашение увидеть разом все в масштабе истории — во все концы света —

Я
много
в теплых странах плутал,
но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовой,
дружб
и семей.

Вот это народное, программное выражается не в сцене атаки или трудового подвига, а по поводу частного случая, вполне заурядного личного несчастья. «Добудились еле — с углей угорели!» И в это чувство вмещается сострадание миллионам далеких, своих, близких людей —

Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав,—
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.

Распространение, расширение значения факта до метафоры, метафорическое использование любой бытовой детали и автобиографического переживания и составляет суть лирических отступлений в «Хорошо!». Это внутренний монолог, который становится «внешним», как подземная река, которая выбивается на поверхность.

«Изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала», — так на бедном языке лефовской теории комментировал Маяковский одну из своих художественных задач в Октябрьской поэме. Но разве же это «хроникальный и агитационный материал» — «Четверо

сосулк свернулись, уснули», или: «Не до- мой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несущ за зеленый хвостик», или в том, как поэт поделился с сестрой шепоткой соли. Да, это автобиографично: — «Здравствуй, Володя! — Здравствуй, Оля! Завтра новогодие — нет ли соли?» И это грандиозно в плане истории — до чего же было трудно: соль в подарок к Новому году! Но можно ли эти места характеризовать как «хроникальный материал», эти трогательные, сказочно поэтические детали, мастерски ограненные юмором и светящиеся оптимизмом? Это детали быта, а не факты истории, но они метафоризируются, как детали исторической картины, согретые кровью сердца, в котором «громеда любовь, громеда ненависть». И вот подземная река лирики выходит на поверхность раздумьями, которые от главы к главе становятся все резче, все обличительнее по отношению к «странам тучным», по вине которых страдает русский народ:

В лицо вам,
толще
свинных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из
нищей
нашей
земли
кричу:
— Я
землю
эту
люблю!

В следующей главе поэт от бытовых деталей обращается к фактам действительности крупного исторического калибра. Он вспоминает о том, как Деникин подходил «к самой к тульской, к пороховой сердце-вине», о красном терроре, о создании красной конницы, язвительно высмеивает «обывательские слухи-свиньи» и с необыкновенной любовью к Ильичу и чувством тревоги за его жизнь воссоздает картину покушения на Ленина в августе 1918 года. Она следует в поэме после рассказа об отпоре бандам Мамонтова — в нарушение фактической хронологии событий. Это вызвано, по-видимому, художественными соображениями. Выздоровление Ленина, радость «миллионного класса» — вот что подготавливает в поэме торжествующий и негодующий третий выход лирики на поверхность. Усиливающаяся градация образительных средств отражает сосредоточенность на одном всех чувств народа, ведущего борьбу: «Держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей».

И дальше, неожиданный и очень точный для эпохи рождения нового общества образ родины-ребенка, контрастно дополняющий у Маяковского образ «матери-истории» в поэме о Ленине, и общепоэтический образ «матери-родины», и обновляющий этот традиционный образ чертами ответственности за будущее:

Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
выянялчил,

где с пулей встань,
с винтовкой ложись.
где каплей
льешься с массами,—
с такую
землю
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

Если прав был А. Н. Толстой, что «ощущение родины на рубеже первой мировой войны и даже в первую мировую войну в среде интеллигенции было ослаблено», то вот оно возвращалось с такой страстью, которую могло породить лишь сознание ответственности за судьбы всего человечества. Ведь социализм, новое общество рождалось, творилось на русской земле.

Защищать землю социализма, как отечество, «выянчить» ее — это значило отстоять будущее не только своего отечества, но и всего человечества. Чувство патриотизма возвращалось как чувство всемирного братства трудящихся. В Маяковском и его Октябрьской поэме оно нашло своего выразителя и певца.

Чем же вызвана перестановка, противоречащая фактам истории: сначала об отпоре бандам Мамонтова, а потом о покушении на Ленина? Конечно, тем, что третий лирический монолог столь сильного накала, столь важного идеологического смысла мог следовать только за рассказом о тревоге за жизнь самого дорогого человека. Уважая исторический факт, Маяковский-художник свободно распоряжался материалом, подчиняя его законам образа.

Характерную деталь сообщает П. И. Лавут. Он был очевидцем бегства Врангеля из Крыма и рассказал об этом Маяковскому в период работы поэта над Октябрьской поэмой. Организатор лекционных поездок Маяковского подчеркивает, с каким интересом выспрашивал поэт у него детали. В преобразованном виде они вошли затем в великолепную историческую картину, завершающую в поэме рассказ о гражданской войне. Вот что вспоминает Лавут:

«Когда 1 августа мы направлялись в Крым, в коридоре вагона Маяковский оговорил меня вопросом:

— Вы не помните, на Врангеле была черная черкеска или белая?

Подозрительная интонация, напоминавшая чуть ли не допрос, резкий тон привели меня даже в смущение. Обиженным тоном я буркнул:

— Не помню точно. Кажется, черная.

И ушел в купе. Владимир Владимирович последовал за мной.

— Не дуйтесь. Я просто так спросил — это мелочь.

Полагаю, что в первые дни августа окончательно оттачивалась шестнадцатая глава. Причем, даже если бы я засвидетельствовал, что Врангель был в белой черкеске, в поэме он все же, очевидно, остался бы в черной, не только из-за переключки двух «чер» (черная черкеска), — этот штрих

хорошо вяжется со всем обликом «Черного барона...»

Недостающие ему детали Маяковский выспрашивал и у Подвойского, и у Антонова-Овсеенко в Праге, встретившись с ним в 1927 году, когда тот был там нашим полпредом. Однако в Октябрьской поэме Подвойский и Антонов-Овсеенко фигурируют как исторические лица, а не как источники материала. Рассказ о бегстве врангелевцев — это не пересказ слышанного, а повествование самого автора с его высокой патриотической темой, автора, уязвленного в своей советской национальной гордости. И какая боль за простых русских людей, насильно, путем обмана, разлученных с родиной... «Вчерашние русские» — какая горечь в этой иронии!

Повествование о пути страны, о прошлом, многострадальном и героическом, — не воспоминания в художественной форме, оно направлено на настоящее и ведет в будущее. «Покамест — точка и телеграмме и войне. Вспомнили — недопахано, недожато у кого...» На первом месте крестьянский мотив. Страна нищая, крестьянская. Но

...меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузные сердца.

Этот четвертый лирический монолог с его концовкой: «Пою мое отечество, республику мою» — почти весь разошелся на поговорки.

Финал большой юбилейной поэмы требовал абсолютной точности прицела. Международная обстановка была накалена до предела. В середине 1927 года Федерация объединений советских писателей выпустила ежедневную газету «Против угрозы войны» — Маяковский входил в редакционную коллегию газеты. Выступая на диспуте «Пути и политика Совкино» в октябре 1927 года, он говорил:

«...Мы шесть месяцев стоим перед угрозой наступления на нас, перед бряцанием оружия всего мира...»

Вот фон. В последней строфе восемнадцатой главы, которая первоначально намечалась поэтом как заключительная, в обращении поэта к лежащим у кремлевской стены с большой силой звучит мотив отпора военной угрозе:

Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки оцетинивши,
с первым
приказом: «Вперед!»

В той же телеграмме к Л. Ю. Брик от 26 августа 1927 года, где Маяковский просил переменить название своей поэмы на «Хорошо!», он указывал: «Переставь последним предпоследнее стихотворение».

Чем была вызвана эта перестановка? Может быть, не только тем, что слово, давшее название поэме, возникало в предпоследней главе и зазвучало более сильно, когда она стала последней. Может быть, слишком прямо звучал как концовка всей поэмы военный смысл строфы «...с первым приказом: «Вперед!» в той обстановке, которую сам поэт на диспуте о кино охарактеризовал как «бряцание оружия всего мира», когда Советская страна напрягла все усилия, чтобы войны избежать? Слух Маяковского — политического поэта — был отточен и изощрен. Переставив главу о Красной площади с военным призывом и сделав ее предпоследней, он не только устранил предвзятые кривотолкования, но и усилил чувство уверенности в будущем — неизбежное «хорошо», многократно прозвучавшее в веселой и гордой финальной главе, тонко стилизованной под здравицу Октябрьской революции: «Лет до ста расти нам без старости».

Образ Красной площади возникает в предпоследней главе Октябрьской поэмы Маяковского как образ истории, развернутой в будущее. Есть ли в большой нашей стране место более волнующе-примечательное, есть ли в славной ее истории памятник более дорогого сердцу всех честных людей мира, чем тот, к которому не убывает очередь на Красной площади в Москве? Есть ли на всей земле памятник прошлому, который бы с такой силой пророчествовал о будущем и будил волю к счастью?

Строфы-эпитафии, посвященные людям, которых поэт знал, скорбные и гордые, обращены к юноше, обдумывающему житье...» Портрет Дзержинского как будто вырезан на меди. «Делай ее с товарища Дзержинского», — говорит поэт юноше, «решающему — сделать бы жизнь с кого...» Дзержинский умер, как жил, — в борьбе. Он выступал на пленуме Центрального комитета партии против так называемой «новой оппозиции», которая пыталась сорвать выполнение ленинского плана социалистической индустриализации нашей страны. Смерть сразила его после взволнованной речи, необыкновенной по тому открытому слиянию «общего» и «личного», в котором сказалась цельность натуры замечательного революционера. Дзержинский говорил на большом собрании о силе любви и веры так, как можно говорить в кругу семьи или близких друзей: «...Вы занимаетесь политиканством, а не работой, — клеймил он оппозиционеров. — А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда. (Голоса с мест: «Правильно»). И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них ...»

Вот «это сердце с правдой вдвоем» было позней самой жизни, неделимой на лирику и публицистику. «Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший бо-

реп коммунистической революции... Его больное, вконец перетруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на боевом посту!» — говорилось в обращении ЦК и ЦКК ВКП(б) к партии и всем трудящимся от 21 июля 1926 года.

И вот удивительная строка в «Письме Горькому»: «Разве не лучше, как Феликс Эдмундович, сердце отдать временам на разрыв». Это было написано в августе — сентябре 1926 года по живым следам события.

Проходя по такой привычной, любимой Красной площади, Маяковский признавался — «...могилы не пускают, и меня останавливают имена». Образ Дзержинского замыкает галерею, открывающуюся Лениным, и служит подступом к самой острой теме тех дней. Злоупотребляя партийной демократией, троцкисты собирали силы для атаки на заветы Ленина. С большой искренностью Маяковский выразил тревогу за партию, за будущее страны, обобщив свои переживания в образах глубоко поэтических. Их сила и стойкость в уходе от хроничности, в подъеме художественной мысли на такую высоту, с которой конкретно-историческое просматривается в своем развитии, в своем наиболее общем моральном и философском значении.

Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —

этот вопрос задают на «красном погосте» мертвые живым, вопрос, который, как мы знаем, будет повторяться не один раз в новых ситуациях в истории советской страны.

Давний романтический прием — разговор мертвых с живыми, борцов, закончивших свой жизненный путь, с теми, кто продолжает его, глубоко оправдан ситуацией. Разговор о самых насущных политических вопросах строительства коммунизма и отпоре наглежащему империализму принадлежит к числу наиболее высоких художественных мест Октябрьской поэмы. Разговор ведется шепотом, чтобы не нарушить покой спящих борцов — «Тише, товарищи, спите...» Снедающее их беспокойство «выходит на свет по цветам и по травам». О политике «лепечут венки языками лент». Метафора, с присущим Маяковскому искусством использующая весь «реквизит» элементов природы и обстановки, в которой происходит воображаемый разговор, не подчеркнута, она предстает как выражение внутренней тревоги поэта, его душевного недоумения, страдания. Нужно вслушиваться в те слова, которые обычно произносятся во весь голос, но ведь здесь «шорох в пепельной вазе». Поэтому особенно значительно, весомо звучат слова тревоги, сказанные шепотом: «Скажите — целая? Скажите — единая? Готова ли к бою партийная сила?» Концовка главы возвращает нас от аллего-



В. Маяковский на палубе парохода по пути в Америку

рии к реальности, к историческому оптимизму борьбы: «Встанем, штыки ошети-нивши...»

Заключает поэму ликующая глава: «И жизнь хороша, и жить хорошо». К ней относится замечание поэта в автобиографии: «Иронический пафос в описании мелочей...» Почему «иронический»? — ведь это глава, как и вся поэма в целом, утверждает высокий, торжественный пафос советского патриотизма. — Однако немало было тогда стихов, которые оказывали великую тему. Маяковский боялся упрека в казенном оптимизме.

Право на прямое выражение чувства — «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики» — покупалось именно ироническим пафосом в описании мелочей: «Лампы сияют. Цены снижены» или «Сидите, не советей в моем Моссовете». Великолепным лубком дана важнейшая политическая тема — союз города и деревни: «Сидят папаша. Каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи». Здесь ирония по поводу сусального изображения деревни у некоторых крестьянских писателей расчищает дорогу для высокого пафоса:

Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба
А моя
страна-
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!..

«Моя страна», «мой труд», «мой депутаты», «моя милиция», «Сеют, пекут мне хлеба» — перехватив у скептиков их иронию, Маяковский утверждал рост личности нового человека, хозяина и творца огромного отечества, социализма как отечества. Эта патетическая философия единства «личного» и «общего» оказала влияние на развитие всей советской поэзии.

В автобиографии главка «1927-й год» начинается с указания: «Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психологизма искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику».

Как видим, «основная позиция» логически развивает позиции «Лефа» 1923—1924 годов. Маяковский формулирует: «против выдумки...» Гвоздем программы «Нового Лефа» стала так называемая «литература факта». Это отразилось и в эстетической декларации-вступлении к поэме «Хорошо!»:

Воспаленной губой
припадаи
и попей
из реки
по имени — «Факт».

Оценка Октябрьской поэмы Маяковского в критике почти целиком — за исключением выступлений А. В. Луначарского — прошла под знаком этой декларации. Поэму хвалили «своей» за соответствие этой декларации, поэму ругали свои же за недостаточное соответствие, а «чужие» за слишком полное соответствие декларации. Нельзя отрицать, что решение автором Октябрьской поэмы своей художественной задачи в какой-то степени отразило левовские эстетические взгляды и требования, но главное было в другом. Маяковский-художник, тесно связанный с читающей массой, с развитием всей литературы, искал решения творческой задачи в соответствии с требованиями самой жизни, по законам своей творческой индивидуальности. Создавая Октябрьскую поэму, Маяковский не ориентировался на свой левовский кружок. Восстанавливая «Новый Леф» и добиваясь в директивных инстанциях решения об его издании, Маяковский не очень торопился и не вкладывал в это и малой доли той страсти, с какою он в 1923 году, можно сказать, дрался за право его группы иметь свой журнал.

Первые номера «Нового Лефа» вызвали крайне раздраженные статьи в «Известиях» Вячеслава Полонского — в то время известного советского историка и публициста, редактора «Нового мира» и еще многих других журналов. Вяч. Полонский озаглавил свои статьи «Леф или блеф», обвиняя левовцев в кружковщине. Маяковский так отвечал на это обвинение:

«Гаденькая мысль о «кружковщине» «Лефа» и его желании обособиться могла родиться только в мозгу обозленного монополиста. Полонскому должно быть известно, сколько хлеба всыпали левовцы в общий элеватор советской литературы. Хорош был бы Полонский со своей монополией без этого хлеба!

Но «Леф» настаивает на своем праве иметь ежемесячно свои три листа, где сотрудники связаны не только общей гонимой ведомостью, но и общим методом

работы и художественными задачами. Это необходимо для улучшения качества того самого хлеба, который «Леф» дает советской культуре».

Объявив поход против эпигонства, «Новый Леф» в самом деле работал над «улучшением качества» хлеба советской литературы. Положительный эффект был налицо, несмотря на левовский формализм и нигилизм. Критикуя один из эпигонских романов, который получил тогда большую известность, В. Шкловский писал в «Новом Лефе»:

«Все построение вещи настолько традиционно, что старая, чужая, романная форма лишила даже фактический материал его специфичности. Не нужно думать, что любая художественная форма годна для оформления любого материала. Очень часто семантическая окраска приема настолько сильна, что она совершенно изменяет направленность материала».

Совершенно правильно указывая на содержательность формы и на то, что она может лишить «даже фактический материал его специфичности», Шкловский требовал «опубликования материала» как такового. Критик не учитывал того, что не только «окраска приема», но и прежде всего мировоззрение, отношение к материалу определяет его направленность. «Литература факта» трактовалась как явление «чистой» формы.

В чем был смысл теории «литературы факта» и чем она была вызвана к жизни, составляя, как уже сказано, «гвоздь» в позиции «Нового Лефа»? В литературной среде — от рапповцев до последователей Воронского — эта теория встретила общий протест и, можно сказать, яростное отрицание. Она была воспринята как призыв к описательству, к регистраторству, протоколированию действительности вместо художественного обобщения и осмысления жизни. Эта опасность действительно была вполне реальной. Отождествляя «факт» и его «зеркальное» отражение в литературе, отрицая роль образного мышления, схематически противопоставляя факт вымыслу, левовцы упрощали задачу художника. О. М. Брик, например, считал важным вдумываться в факты и в способы их связи, противопоставляя факт художественному вымыслу.

«...Очень неинтересно собирать факты, вдумываться в эти факты, связывать их: гораздо эффективней и гораздо проще написать бутафорскую повесть, в которой все было бы, как в опере, как в театре...»

Брик был прав, обрушиваясь на стилизаторскую бутафорию, на эпигонское использование литературных приемов, искажавших новое содержание. В первых опытах создания беллетристических произведений о советской современности неумение переработать прежний художественный опыт нередко приводило к подражательности, к копированию формальных приемов, которые становились пародийными. Однако, вступая в борьбу с этим злом, левовский теоретик не замечал или делал вид,

что не замечает определяющей роли осмысления факта, связи фактов в образном мышлении художника. Факт сам по себе не дает гарантии правдивого изображения его. Можно строить обобщение на основе ряда «похожих фактов», можно обобщать и на основе одного конкретного факта. Осмысление факта невозможно в искусстве без художественной догадки, без разгадки идеологического смысла факта.

Как отражалась теория «литературы факта» в практике художников слова, поэтов и прозаиков Лефа? Николай Асеев в своих воспоминаниях об «картели Лефа» и об одном из поэтов Лефа — П. В. Незнамове отвечает на этот вопрос так:

«Он был даровитый поэт, принципиально преданный существовавшей тогда среди нас «фактографии», то есть обязательности отражения действительности, в противоположность работе фантазии, выдумки, воображения. Основывалась эта теория на том предположении, что воображение может обмануть, а действительность, подтвержденная фактами, обязательно оставит след в искусстве. Маяковский, а вслед за ним и я не очень-то усваивали эту теорию, главным проповедником которой являлся Сергей Михайлович Третьяков; нам было жаль отказываться от воображения, «глупая вобла» которого все-таки была куда съедобней для работы, чем всяческий, хотя бы страшный новаторский проект, не всегда помогавший совместить его с практикой в поэзии».

Это признание, сделанное более тридцати лет спустя, не должно заслонить от нас притягательной, гипнотической силы «новаторского проекта», освященного авторитетом Маяковского. Рядом с «Хорошо!» и в фарватере этой «программной вещи» к Октябрьской годовщине создавалась поэма Н. Асеева «Семен Проскаков», и в ней сохранилась страстная присяга на верность «фактографии».

Но по сути дела от «фактографии» был далек и асеевский «Семен Проскаков», потому что цитаты из подлинного документа, дневника горнозаводского рабочего Семена Ильича Проскакова, действительно ни в одном слове не измененные, приобретали новое качество, становились образительным средством в соотношении их со «стихотворными примечаниями». В последних была задуманная асеевская лирика природы и революционной борьбы, великолепные сцены в стане партизан и в стане белогвардейцев. Во всей поэме присутствует автор — восторженный, негодующий, сочувствующий своему герою, подхватывающий его слова, продолжающий их своими поэтическими ассоциациями. «Хроникальные» куски входят в «стихотворные примечания», как «образ входит в образ». Синтаксические неправомерности цитат из дневника предстают в своей наивной безыскусственности, не обыгрываются, как у Бабеля, не доводятся до стилистического парадокса. Эстетическое действие этих цитат основывается на их непосредственности, на отсутствии литературной обработки.

И поэтому так естественно сочувствие поэта своему шахтеру-партизану, попавшему в беду: «Хороши для раненой ноги мягкого опойка сапоги». Радостью за изголодавшегося, истрадавшего человека, с которым сроднился поэт, продиктованы строки — «сухари в подсумке, сухари, и горячий, смольяной коньяк!» Но ведь все это — дело воображения, разгадка факта средствами искусства.

В лирическом диалоге со своим героем автор поднял его образ до социального символа. Как ни скупы документальные отрывки из дневника, найденного поэтом в архиве Истпрофа ЦК Союза горнорабочих, но из них мы все-таки узнаем о некоторых эпизодах в судьбе Семена Проскакова — о том, как он скитался по тайге с неким мадяром, как издевались каратели над его женой Татьяной Ефимовной и т. п. Эти факты являются как бы искрой, рождающей взрыв поэтических ассоциаций, трамплином для фантазии художника, исторгают исповедь его сердца, горящего любовью к трудящимся.

Опора на факт не стесняла, а развязывала творческое воображение поэтов, которые, по выражению Маяковского, были связаны между собой «не только общей гонимой ведомостью, но и общим методом работы и художественными задачами». Маяковский ставил вопрос о возможности и законности разных художественных течений (а не только разных творческих индивидуальностей) внутри советской литературы. «Литература факта» была для Маяковского не теоретической догмой, а лозунгом тесной связи с жизнью, познания нового в ней.

У Маяковского был вкус к факту, он любил работать с реальным, конкретным материалом, он умел творческой фантазией превращать «единичное» в типическое, возводя факт в «перл создания». Работу поэта в газете, работу «Кино-глаза», создающую историю современности в хронике, Маяковский считал художественной и придавал ей принципиальное значение. После выхода в свет в 1927 году документальных картин Эсфири Шуб «Падение династии Романовых» и «Великий путь» Правление Совкино, отметив успех их у зрителя, выдало ей награды, но отказалось платить авторский гонорар, потому что, по мнению руководителей Совкино, в работе Э. Шуб не было авторского момента. Они не хотели признать автора документальных картин художником, видя в нем лишь монтажера. Маяковский со всей резкостью выступил за признание работы документалиста в кино работой творческой, художественной, издеваясь над ограниченностью вкуса тогдашних руководителей кинофабрики, которые плелись в хвосте у буржуазной кинематографии. На диспуте «Пути и политика Совкино» 15 октября 1927 года поэт заявил:

«Говорят о победе Шуб. Она художественная, потому что в основу кинематографической ленты положен совершенно другой принцип... Совкино... свою энергию

тратило в области кинематографа по линии захватывающих пьес с красивыми барынями, вместо некрасивой современной хроники...»

Есть основание думать, что в горячем отношении Маяковского к работе Э. Шуб «Падение династии Романовых», которую он смотрел примерно в марте 1927 года, сказались и особый интерес автора «Хорошо!» к историческим документам. Многие в этом фильме прямо отвечало задачам, которые ему предстояло решить в его Октябрьской поэме.

Празднование 300-летия «дома Романовых», толпа духовенства, царские приставы, царские министры, среди них Милюков, Пуришкевич, а потом начало империалистической войны, торговцы смертью, наконец 1917-й год, министры Временного правительства — опять Милюков и впервые — Керенский... «До поту» — эта надпись связывала убедительным контрастом кадры великосветского бала в жаркий летний день с дамами в кружевных платьях и кадры изнурительной работы женщин на уборке хлеба, в шахтах...

Эсфирь Шуб рассказывает в своих воспоминаниях «Крупным планом» о том, как был обрадован Маяковский ее успехом.

«Запомнилось, что Маяковский сказал мне примерно следующее: хорошо то, что вы по существу контрреволюционный материал (он имел в виду царскую хронику) повернули так, что он звучит революционно-обличающе».

Для Маяковского «факт как таковой» не существовал, идеологический аспект был для него решающим в разгадке значения факта художественными средствами. В Лефе Маяковский хотел утвердить новое художественное течение, которое, по его мнению, должно было стать ведущим в советском искусстве, будучи нацелено на новое в жизни, на революционное преобразование действительности.

Сохраняя свое художественное своеобразие, он все дальше уходил от лефовского сектантства, все меньше испытывал сопротивления со стороны «общественных миров, новых и нив». Талантливые поэты Лефа печатались всюду, были желанными авторами на страницах советских газет и журналов.

И в этом таилась причина кризиса «Нового Лефа». В то время, как Маяковский все увереннее двигался по столбовой дорожке пролетарской литературы, не считаясь с теми или другими рапповскими домыслами на свой счет, лефовские сектанты требовали от него и от других художников Лефа верности групповым догматам и создания некоего отвлеченно-новаторского искусства, которое всему советскому искусству было бы противопоставлено. Теоретики «Нового Лефа» оказывались в двойственном положении: выдвигая как программную перспективу литературу факта, они выступали против искусства, стремились вывести продукцию лефовцев за пределы искусства, в «квалифицированную публицистику и хронику». А с другой стороны,

произведения поэтов Лефа, или пьеса Сергея Третьякова «Рычи, Китай», или «Кюхля» Юрия Тынянова, трактованный лефовцами как одно из достижений «литературы факта» и поддержанный Горьким совсем не в этом качестве, а как один из первых советских исторических романов, — все это были явления искусства. По отношению к ним требовалась «амнистия», оправдываемая их новаторским значением в искусстве. Любопытно замечание Бориса Пастернака по этому поводу в его позднейшей автобиографии: «Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доведший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве, или, во всяком случае, в момент его зарождения...»

Но ведь и сам Третьяков писал пьесы, и его «био-интервью», написанное с натуры, создавало художественными средствами образ китайского студента Ден-ши-хуа, точно так же и «Кондунт» впервые выступившего на страницах «Нового Лефа» Льва Кассиля был талантливым автобиографическим произведением молодой художественной прозы...

Маяковский вместе с лефовцами был в плену этих противоречий. В дальнейшем он сделал попытку вырваться из плена, выйти из Лефа, объявил «амнистию Рембрандту».

Однако в 1927 году при организации «Нового Лефа» эти противоречия, которые и привели к распаду Лефа, не были разрешены. Нужно было их спрятать в софизме, который, с одной стороны, открывал бы возможность борьбы с искусством за литературу факта, а с другой — оставлял бы возможность заниматься искусством, может быть, временно, в порядке исключения, может быть, каким-то особым искусством, заслуживающим снисхождения ввиду своего новаторства. Этот софизм был найден в «Графике современного Лефа», который открывал раздел статей первого номера восстановленного в 1927 году лефовского журнала.

«Метод Лефа стоит на границе между эстетическим воздействием и утилитарной жизненной практикой. Это пограничное положение Лефа между «искусством» и «жизнью» предопределяет самую сущность движения.

Леф — это не течение в искусстве, не художественное направление. Он высказывает за границу искусства в непосредственную жизненную деятельность. И в то же время из области искусства он свертывает в жизненное строительство целый ряд исключительно важных умений.

Как советский пограничный отряд Леф отстаивает незыблемую целесообразность самостоятельной практики против эстетических бандитов и контрабандистов. И в то же время он дает свободный проход революционерам эстетического воздействия — политэмигрантам от искусства, взрывающим старый художественный строй с

его канонизированной армией и полицией в порядке внутреннего вооруженного восстания».

Этой концепции обрадовался О. М. Брик, ею был очень доволен Маяковский. Она устраивала разные течения внутри Лефа, замазывая до поры до времени противоречия между художественным развитием Маяковского и лефовской теорией. Статья принадлежала одному из молодых критиков, начинавших в «Новом Лефе», — автору настоящей работы. Упоминаю о ней здесь, потому что она объективно играла роль отсрочки в раскрытии двойственного положения Маяковского в его литературном содружестве. Смысла этой двойственности я тогда, конечно, не понимал. Оглядываясь в прошлое, я могу сказать, что в условиях литературно-групповой борьбы и тех «болей, бед и обид», которые наносила поэту литературная среда, «Новый Леф» сохранял еще значение опоры для Маяковского. Однако была натяжка и схема в том, как в этом кругу объясняли Маяковского и задачи литературы. Концепция не охватывала того, что в Маяковском было главным: истинно человеческого содержания его поэзии.

Маяковский не был рабом «источника», не был фактографом в использовании любого материала, подчиняя и свое автобиографическое знание эпохи — свои личные воспоминания, рассказы друзей и знакомых и редкие в его практике обращения к печатным материалам — задаче создания обобщенного образа. Встретившись случайно в поезде Кисловодск — Москва с Н. И. Подвойским в сентябре 1927 года, Маяковский прочел ему главы своей поэмы и, в частности, шестую главу, в которой есть строки: «Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: «Кончено... В Смольный». Подвойский заметил: «Не мог я сказать тогда «кончено». Как «кончено», когда только началось?» — вспоминает В. Катанян

в своих «Рассказах о Маяковском». Маяковский «не согласился с этим замечанием, доказывая, что в плане описания одного дня великого переворота, свержения Временного правительства и провозглашения советской власти это слово, если не было сказано, то должно быть сказано. Оно как бы подводит итог, подчеркивая завершение великих событий исторического дня, подводя черту, за которой

гонку
свою
уже — продолжали трамы,
при социализме».

И хотя Маяковский, как свидетельствует автор этого рассказа, выступая с чтением поэмы, иногда заменял слово «кончено» в этой строке словами «К Ленину! В Смольный!», но этот вариант в дальнейших печатных текстах поэмы не удержался. Документально, фактографически он имел все преимущества перед тем, против которого возражал Н. И. Подвойский, непосредственный участник и, так сказать, исполнитель исторического события, но свидетельство Подвойского как деталь картины слабее передавало правду истории, чем образ Маяковского. И Маяковский-художник, проверив эту деталь на своем чувстве художественной правды, недолго колебался и все-таки предпочел факту — «вымысел»: «это слово, если не было сказано, то должно быть сказано».

«Воспаленной губой припади и попей из реки по имени — «Факт». Река эта текла в будущее, впадала в море, которое называлось — коммунизм. Маяковский встречал факты взглядом из будущего. В этом была суть его реализма — «не на подножном корму, не с мордой упершейся вниз». В этом был источник несокрушимого исторического оптимизма его «Хорошо!».

Д. Стариков

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

В гостях у писателя



...Честно признаться, мы шли на эту встречу с волнением, вызванным не одними лишь понятными журналистскими тревогами. Самуил Яковлевич только-только перенес длительную, изнуряющую болезнь, и мы могли опасаться, что посещение обернется простым визитом вежливости — сердечным, но мало интересным для читателей журнала... Что ни говори насчет неувядаю-

щей молодости славных юбиларов, три четверти века — годы немалые...

Однако Маршак оказался — только в этом отношении — вполне, так сказать, «банальным» юбиляром: он на самом деле молод, хотя принятие в таких случаях пожелания крепкого здоровья мы произносили при расставании не только от души, но и не без оснований. Что касается возраста... Не только недавно опубликованные произведения Маршака-поэта, переводчика, прозаика, публициста, но и буквально каждое слово, каждая мысль, высказанная писателем и в этой беседе, свидетельствуют: для его возраста годятся любые определения — зрелый, мудрый, большой, — но только не «преклонный»!

Впрочем, с годами Самуил Яковлевич, судя по всему, становится еще менее «непреклонным» перед нескончаемым потоком больших и малых литературных дел (если только можно в искусстве разграничить большое и малое, важное и маловажное)... Разумеется, когда эти дела — будь то какой-нибудь редакционный заказ, собственный творческий замысел или просьба об отзыве на ту или иную книгу — понастоящему его интересуют.

Точнее сказать, его интересы не только широки и многогранны, как всегда у Маршака, каким мы его привыкли знать, — нет, с годами они все ширятся и становятся все активнее.

— Знаете ли, по-моему, существует некое общество по уничтожению Маршака, — шутит он в самом начале нашей беседы, рассказав о всякого рода срочных

работах, за которые он только что принялся.

Но мы не успеваем испытать чувство неловкости навязчивых визитеров, потому что он тут же добавляет, горестно разводя руками:

— И председателем в этом коварном и нехлопо организованном обществе — сам Маршак...

Чувствуется, что потребность писателя в непринужденной беседе о литературе, в непрекращающихся раздумьях о ее прошлом, настоящем и будущем, в постоянном литературном труде, наконец, эта, не побоюсь сказать, жадная и, право же, счастливая жажда неодолима в нем, и, наверное, именно она-то дает ему новые силы даже тогда, когда отказывают силы физические.

— Москва все время геребит... — вроде бы жалуется он, но улыбка «выдает»: ему нравится, ему по душе, когда «теребят», когда «надо». И кто ж его мог приневолить к работе над предисловием в сборник, посвященный искусству редактору; к отзыву на детский энциклопедический словарь; к чтению молодых поэтов, о которых «надо» (и ведь действительно надо!) написать статью; к раздумьям о том, как лучше делать «Пионерскую правду» и каким должен быть «толстый» литературный ежемесячник; к двадцати газетным строкам восторга и гордости полетом Николаева и Поповича... Одним словом, даже самая южная и, пожалуй, самая удаленная от литературной и всяческой другой жизненной «текучки» точка европейской части Союза — крымский санаторий «Форос», дача Тессели — никак не отдаляет писателя от того, чем он живет.

«Тессели» по-русски — тишина. Но нет, не один лишь негромкий прибой ласкового в форосских бухтах моря да шум порывистого ветра в соснах, не одно лишь утреннее пенье птиц да ночное брэнчанье цикадных бубенцов нарушает эту тишину... Двадцать шесть лет минуло с той поры, а и сегодня, верно, слышит Маршак голос Горького, у которого он гостил здесь. Они говорили тогда о многом и, видимо, больше всего о детской литературе. Ее нынешнее положение бесконечно радует сердце писателя, отдавшего ей столько солнечной энергии своего таланта. Но ее нынешнее состояние всерьез беспокоит Маршака: много, слишком много в ней «средняков», а то и ремесленников, сочинителей столь же малоталантливых, сколь предприимчивых... Как важно вовремя и толково подсказать правильный путь молодому писателю, взявшемуся вести разговор с детворой; как нужна деловая, систематическая, «горьковская» работа по дальнейшему собиранию и организации литературных сил; как жизненно необходим в искусстве «высокий барьер», максимальная требовательность при широко, предельно широко открытых дверях для всего талантливого! Самородки попадаются не так уж часто — чаще приходится промывать горы песка, чтобы заблестели на ладони крупницы подлинного

искусства... Крупницы? Ну что ж, зато — золото... Разве ж даром дети любят по многу раз перечитывать полюбившуюся книгу, уже давно и чуть не наизусть известную от доски до доски? Лучше меньше, да лучше... Но, конечно же, еще лучше, чтоб больше было хорошего...

— А ведь сейчас это все труднее и труднее... Было время, поэт приходил, чтобы открыть материк! Данте... Пушкин... Это — как первая любовь. Теперь же дай-то бог какой-нибудь еще неоткрытый островок «освоить», — говорит Маршак с улыбкой. — Впрочем, сколько же еще непочатого в жизни, сколько еще неиспользованного таится в сокровищнице народного опыта, народной речи!

Это одна из заветных мыслей поэта: литература еще в очень недостаточной мере пользуется неисчерпаемыми богатствами подлинно народного языка, которому с такой любовью учились Пушкин, Толстой, Маяковский... И ведь как ладно умеет рассказывать народ — заслушаешься! Можно быть уверенным, не сегодня-завтра обязательно придет новое пополнение именно «оттуда» — из недр России. Ведь это «там» родились новые Миккулы Селяниновичи, чудо-богатыри космонавты! Оттуда придут и новые, подстать им, художники...

Какой практический совет прежде всего дать им, молодым, ищущим? Что из многолетнего и плодотворнейшего опыта большого поэта, одного из первых наших редакторов, умудренного жизнью человека пригодится им в первую очередь?

Понятно, на этот вопрос очень нелегко ответить. Но вряд ли мы ошибемся, сказав, что самый главный «секрет» художественных достижений, которым делится Маршак с литературной молодежью — и во всем своем многообразном творчестве, и в своих беседах об искусстве, — это духовное богатство и целеустремленность личности писателя. «Истинный поэт должен быть поэтом в душе, поэтом в жизни», — убежденно говорит Маршак. Отсюда и то значение, которое он придает задаче «найти свой голос» в искусстве — не эксплуатировать однажды открытую «счастливую» для себя жилу, не истощаться в самоповторении, а развиваться, неустанно двигаться вперед и вширь, работая по «многопольной системе», пробуя себя в самых разных темах, жанрах и родах литературы.

Отсюда же и его призыв к многообразию красок и форм, к полифонии, к повышению культуры чувства и стиха.

По остроумному замечанию С. Я. Маршака подчас кажется, словно иные поэты играют лишь на двух-трех струнах, не зная, что есть еще и четвертая, и пятая, и шестая... Конечно, главное здесь — опять-таки богатство внутреннего мира поэта, глубина и разносторонность его жизненных впечатлений, переживаний, его мыслей о мире.

Редактор, редакция, критика... Вот слова, которые, пожалуй, чаще всего произносил Самуил Яковлевич в нашей беседе, то и дело возвращаясь к решающей успех

литературного дела задаче собирания талантов, умной и целеустремленной «селекции». Кто же, однако, должен заниматься этой мицуринской работой? Критики, которые умеют писать, редакторы, которые думают не только о том, чтобы рассказ, начатый в прошедшем времени, не продолжался в настоящем... И прежде всего — писатели.

— Было время,— говорит Маршак,— мы все работали в журналах. Сейчас это не такой уж частый случай... Стоит молодому издать удачную книгу — и он уже покидает «службу»... А мы писали «в свободный час»; все наше время оказывалось до предела рабочим, без досуга и досужего времяпрепровождения,— и, кажется, кое-что получалось...

Пять лет назад, в дни, когда праздновалось семидесятилетие Самуила Яковлевича, мне довелось познакомиться с его юбилейной почтой. Со всех концов мира, со всех краев нашей страны взрослые и дети адресовали писателю такие теплые слова, такие искренние и добрые пожелания, что и сейчас, перебирая сделанные мною тогда выписки из этих взволнованных и трогательных писем и телеграмм от читателей, я затрудняюсь выбрать наиболее интересное и значительное.

И все-таки, наверное, самое приятное в этом потоке признательности и уважения — письма детей. «Нет такого уголка, где бы не знали Маршака», — написал в своем стихотворном приветствии писателю маленький московский школьник.

Но эти письма говорили еще и о другом; нет такого уголка, где не находило бы отклика подлинное искусство, обращенное к народу. Воистину взаимна любовь читателей и писателя, если творчество его, если вся жизнь его диктуется интересами и запросами народной культуры.

Маршак стал подлинным другом миллионов читателей. Ведь написать поздравительное письмо азбукой Морзе можно только самому близкому приятелю! Только хорошего товарища можно принять в свой пионерский отряд, только ему можно доверительно рассказать, какая в доме замечательная собака, пригласить на лето в гости...

— ...Дорогой Самуил Яковлевич, поздравляю вас с днем вашего рождения и желаю вам здоровья... Мне читали ваши сказки и стихи мама и бабушка. Теперь я сама хорошо умею читать и сама читаю для своего брата Андрюши. Ему только пять лет. Мне уже девять лет...

— Мне тоже 3 ноября исполняется девять лет... Учусь отлично. Вчера написала четвертную контрольную работу по письму на отлично... Я и моя сестренка Азиза очень любим ваши стихи и сказки...

— ...Я прочитала только семь ваших книг... Мне хотелось бы узнать названия всех книг, которые вы написали... Если можно, то вышлите мне такой список. Я обещаю прочитать все ваши книги...

— ...Мы знаем и любим ваши стихи и надеемся еще с вами полететь в экскурсию на Луну...

— ...Только я хочу спросить у вас совета: у нас в отряде скучно, что сделать, чтобы было весело?..

— ...В ваших стихах вы описали многих нас. Мы всегда удивляемся, как это вы узнали...

Многие дети адресовали письма очень просто: «Москва. Писателю Маршаку», или даже: «Моему любимому писателю С. Я. Маршаку»; «Писателю детских книг дедушке Маршаку»... Невольно вспомнишь чеховского Ваньку Жукова! Но вспомнишь, чтобы сказать: как велика дистанция, какой громадный скачок из многовековой нужды и безграмотности сделала наша страна, наш народ!

Помню, в ответ на мое восхищение Самуил Яковлевич сказал:

— А вы обратили внимание: детские письма из города или из деревни, из столицы или из «провинции» можно отличить друг от друга только по обратному адресу! — И, помолчав, задумчиво и очень серьезно добавил: — Да для такого читателя нельзя писать плохо!

...Сейчас, пять лет спустя, мне снова вспомнилось это серьезное раздумье писателя над радостными читательскими письмами, когда не то в шутку, не то всерьез Самуил Яковлевич высказал нам свою мечту — написать веселый рассказ или комедию о заве, который не знал, чем заведовал...

— Как еще много у нас и в литературе, и в разных учреждениях людей, не сознающих всего значения того дела, которое от них зависит! — добавил он с горечью.

И наши впечатления об этой беседе с писателем можно было бы резюмировать словами о сознании высокой ответственности литератора, если бы это сознание не было у Маршака столь органическим свойством его личности, если бы оно настолько естественно не направляло его раздумья и его перо, что, право же, Маршак-человек и Маршак-писатель неотделимы.

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. Составители С. Ф. Безвельский и Д. Е. Гринберг. Госполитиздат. М. 1962. 535 стр. Цена 88 коп.

Эту книгу нельзя пересказать. Ее надо прочитать каждому.

В ней о Ленине вспоминают, рассказывают различнейшие люди зарубежного мира — профессиональные революционеры, писатели, ученые, журналисты, художники. В ней говорят боевые соратники Владимира Ильича, видные руководители международного революционного движения и «рядовые пролетарского строя» — болгарские «тесняки», китайцы-красноармейцы, венгерские военнопленные, ставшие солдатами великого Октября. В ней говорят и крупнейшие писатели нашего века, всем сердцем принявшие правду Ленина (Мартин Андерсен-Нексе, Иван Ольбрахт, Джон Рид, Поль Вайян-Кутюрье, Крум Кюляков, Джованни Джерманетто) и такие, которые, несмотря на многие предубеждения, почтительно склонились перед могучей силой ленинской правды (Герберт Уэллс).

Книга эта драгоценна. Она насыщена фактами, она рисует нам Ленина в революционной эмиграции (в Женеве, Цюрихе, Париже, в Германии и Швеции, в Польше и Италии), она показывает Ленина в тысячах общений с революционерами всех стран, Ленина — величайшего интернационалиста, вождя, учителя, вдохновителя всего передового человечества. Есть в ней воспоминания людей, с которыми работал Владимир Ильич, которых он учил и воспитывал, пестовал и закалял, вооружал практическим опытом и теоретическими знаниями. Это — Клара Цеткин, Марсель Кашен, Василь Коларов, Богумир Шмераль, Антонин Запоточский, Христо Кабакчиев, Уильям Галлахер, Уильям Фостер, Вильгельм Пик, Фриц Геккерт, Пьер Семар, Гарри Поллит и другие.

Но есть в этом сборнике и рассказы людей, которые лишь эпизодически встречались с Владимиром Ильичем, слушали его доклады и полемические выступления на эмигрантских собраниях в Швейцарии и Франции, встречали Ленина в Лондоне и Кракове, скрывали его в Финляндии от ищеек Временного правительства, приезжали к нему по поручениям своих рабочих и коммунистических партий, вырываясь из самого пекла классовых битв. О характере их воспоминаний отлично сказал Вильям

Т. Гуд, открывший свой очерк «Ленин» следующими словами: «В сравнении с тем блестящим светом, которым близкие друзья Ленина могут осветить его жизнь, моя дань ему будет подобна огоньку спички. Но как и спичка, поднесенная к картине, открывает внезапно то тут, то там какую-нибудь черту, так и мои несколько слов могут, быть может, бросить слабый луч на какую-нибудь особенную черточку Ленина, которой могли не заметить другие».

Люди, сообщения которых собраны в книге «О Ленине», были в большинстве своем ленинцами, и поэтому даже отрывочные их записи каждый раз передают нам новые и ценные детали ленинского образа, живущего в сознании всего человечества. Не удивительно, что ряд мемуарных свидетельств рядовых революционеров, представленных в книге, дополняет интересными деталями хорошо известные воспоминания близких друзей Ленина. Точно так же и прекрасный очерк болгарского певца Петра Райчева «Владимир Ильич Ленин», частично посвященный пребыванию Ленина на Капри, дополняет отдельными штрихами знаменитый мемуарный очерк Горького о Владимире Ильиче.

Как уже сказано, не нужно реферировать сборник «О Ленине» — каждый читатель сам с пользой прочтет его. Трудно передать и то многообразие мыслей, которое порождает он в душе читателя. Но об одном хочется все же сказать: о том сверкающе ярком, примерном образе человека-коммуниста, который выступает перед нами в этой книге.

Самые разные люди — те, кто изучали характер Ленина, и те, кто мимоходом встретились с Владимиром Ильичем на путях великой борьбы, те, кто всецело разделяли его идеи, и те, кто сначала недоверчиво, но изначально заинтересованно знакомились с Лениным и ленинизмом, — все они ощущали во Владимире Ильиче человека новой и высшей духовной формации. Они увидели и поняли, что Ленин всегда и во всем выступал как человек образцовой коммунистической идейности, как человек органического, естественнейшего демократизма. Они восхищались этим человеком и оказывались на всю жизнь под сильнейшим обаянием его нравственного примера.

Книга воспоминаний зарубежных современников Ленина заинтересует самых разнообразных читателей. Ее будут внимательнейше изучать историки. Но все — поистине каждый и всякий читатель воспримут ее как сильнейший воспитательный материал. И это потому, что она всем

своим существом, поучительнейшими и поэтичнейшими рассказами о великом вожде и человеке призывает нас быть такими, как Ленин. В боевой, принципиальной борьбе, которую партия ведет против пережитков культа личности, эта книга также сыграет свою большую и полезную роль, ибо нет ничего сильнее и могущественнее в борьбе с этими пережитками, чем благородный, всепобеждающий пролетарский, ленинский демократизм.

Жить для народа, верить в народ, воспитывать в массах революционный героизм учил нас Ленин и навсегда учит своим блистательным примером. Ленин сам был ярчайшим воплощением коммунистической идеи, железной воли, ясной целеустремленности, ответственности и дисциплины. Елена Кырклийская — болгарская революционерка, встречавшаяся с Лениным в Женеве, — рассказывает, как Владимир Ильич на вопрос одной польской революционерки: «Как нужно понимать ваши слова относительно дисциплины» — ответил, что «необходимо выполнять взятые на себя задачи до конца, серьезно относиться к своим обещаниям и быть постоянным и настойчивым в достижении цели».

Цель у Ленина была одна: коммунизм! И критерием коммунизма Владимир Ильич проверял все поступки и дела во всех сферах человеческого бытия, во всех сферах нравственности, мысли, творчества. «Когда я вспоминаю наши беседы с Лениным, — писала Клара Цеткин в 1929 году, — его слова живы во мне, словно я слышала сегодня, — во всех них выступает одна характерная черта великого революционного вождя. Это — глубина его отношения к широчайшим массам трудящихся, в особенности к рабочим и крестьянам». Клара Цеткин, поведавшая нам, как известно, ряд замечательных мыслей Ленина об искусстве, очень точно охарактеризовала Владимира Ильича как «великого друга, пробудителя и воспитателя масс», который с большой любовью и верой смотрел «на маленьких и незаметных людей».

Книга «О Ленине» содержит множество наблюдений и раздумий психологического характера. Быть ленинцем значит не просто следовать написанному Лениным, — надо проникнуться духом ленинских идей, ощутить человеческое обаяние величайшего коммуниста. Вильям Т. Гуд, заканчивая один из своих очерков о Ленине, написал: «В течение своей жизни я встречался в разных странах с людьми, которых называли великими. Ни об одном я не сказал бы того, что с полным доверием могу сказать про Ленина...» И Вильям Т. Гуд привел слова Шекспира: «Человек он был».

Была пора — делались наивные попытки «отделить» в Ленине человека от деятеля, от вождя. Нет ничего нелепее, глупее этого. Ленин один, целен, монолитен.

В Ленине-человеке проявлялся величайший мыслитель и вождь человечества, проявлялся просто, естественно, я сказал бы, живописно, скульптурно и музыкально.

Это был мыслитель, который не подавлял, а увлекал, вождь без малейшего оттенка «вождизма». Это последнее обстоятельство бросалось в глаза всем, кто знал Ленина. Роберт Майнор вспоминает: «Ленин как будто не придавал никакого значения своему положению, и эта черта все больше изумляла меня, по мере того как я ближе знакомился с его ролью величайшего вождя человечества в этот величайший в истории момент».

Скромность Ленина была естественнейшим проявлением его демократизма, чуждого всякой парадности, всяческим проявлениям культа личности. Елена Бобинская рассказывает, как Ленин пришел на встречу с бойцами революционного польского Варшавского полка, формировавшегося летом 1918 года в Москве. «Знамена, — пишет она, — переливались пурпуром и золотом. От дверей до сцены уланы образовали шпалеры. Едва Ленин сделал первый шаг, как блеснули сабли, скрещиваясь над его головой. Ленин вздрогнул, мельком посмотрел вверх и спокойно пошел дальше.

Дойдя до сцены, повернулся и сказал с шутливым упреком:

— Эх, товарищи поляки, без эффекта никак не можете... — Провел ладонью по голове и посмотрел на лица смеющимися глазами. — Хоть бы предупредили! А то, ей-богу, испугался!»

Ленин не просто отвергал недостойную коммунистов шумиху вокруг отдельных личностей, пусть даже и замечательных, — он иронизировал над такими явлениями, а нередко гневался самым решительным образом в адрес организаторов и поощрителей «культовых» мероприятий.

Воспоминания зарубежных современников Ленина не раз касаются и такой черты Ленина, как его истинный гуманизм. Владимир Ильич бесконечно дорожил людьми, ему был дорог каждый человек. Но он был безмерно далек от того «либерального добряка», каким его иногда пытаются нарисовать люди, чуждые сознанию исторической ответственности. Ленин был гуманистом революционным, реальным политиком, хорошо знавшим, какими трудными путями — путями борьбы, кровавой и непреклонной — шла к своей цели революция. Гуманизм Ленина находился в полном согласии с суровой революционной законностью. И это отлично видно из записки, которую приводит в своих воспоминаниях Роберт Майнор: «Товарищ Майнор! Я распорядился, как и обещал, о расследовании дела Ч. Выяснились такие факты: Ч. дезертировал со своего поста на фронте во время военных действий. Он похитил деньги, предназначенные для выдачи жалованья его полку. За такого человека я не могу хлопотать. Его надо расстрелять. Ленин».

Вместе с тем Владимир Ильич был заботливейшим товарищем и другом. Он учил своих соратников дружбе и товариществу, душевному уважению друг к другу. Фриц Геккерт вспоминал, как в день рождения Клары Цеткин он должен был про-

изнести приветственную речь. Между тем Геккерту не хотелось приветствовать Цеткин из-за недавних разногласий с нею. И тут вмешался Владимир Ильич. Он взял Геккерта за руку и сказал:

— Товарищ Геккерт, вы вели в Германии неверную политику, на это можно злиться. Клара сказала вам, что ваша политика была плоха. Быть может, не каждое из ее слов было уместно. Но и вы вчера очень резко и несправедливо выступили против Клары. Так загладьте же это сегодня букетом роз.

«Я,— пишет Геккерт,— изю всех сил старался сделать это. Клара приняла от меня букет со словами благодарности. Когда я сошел с трибуны, Ленин шутливо сказал:

— Ну вот, все сошло хорошо!..»

Книга «О Ленине» читается с волнением. В этой книге рассказ о прошлом весьма обращен к современности и к грядущему. Это потому, что, как верно заметил чешский писатель-коммунист Иван Ольбрахт, «Ленин живет только настоящим и будущим».

Тот же Иван Ольбрахт замечательно передал в своих воспоминаниях впечатление от выступления Ленина на траурном заседании по случаю годовщины смерти Я. М. Свердлова: «Речь его убедительна; ничто ей так не чуждо, как лесть: это язык элементарнейших истин и опыта. Он не терпит фразерства. Революции не оставляет непроторенной ни одной «фразы», и в этом — одна из самых прекрасных ее особенностей... И массы слушают Ленина. Кажется, что перед тобой огромный бронзовый барельеф застывших в неподвижности голов и бюстов. Тысячи взглядов, устремленных из партера и лож, скрещиваются в одной точке...»

На всех лицах одинаковая улыбка, тихая, едва заметная, нежная улыбка великой любви. Ведь Ленин — плоть от плоти и кровь от крови этих масс, и уста его ни разу не произнесли слова, которое одновременно не было бы их словом...»

Ленин для нас — вечно живой. И мы всегда слушаем Ленина, слушаем всем сердцем, всем сознанием. Нам радостно слышать его голос и в этом хоре голосов его современников, единомышленников и соратников. Мы благодарны им за то, что они с живой и горячей любовью рассказывали нам о великом Ленине. Мы благодарны и тем, кто собрал их мемуарные рассказы в этой большой, увлекательной и увлекающей книге.

А. Л. Дымышиц

НЕ СКЛОНИВ ГОЛОВЫ

Ю. Бондарев. Тишина. «Новый мир». № 3—5. 1962.

Повесть Ю. Бондарева «Последние залпы», принесшая автору широкую известность, выражает отношение к жизни тех, кто научился воевать раньше, чем жигь и

любить, кого война научила больше, особой требовательности к себе и современникам.

В книгах Ю. Бондарева я вижу исповедь и клятву того поколения, чья самостоятельная жизнь, опыт, формирование личности датированы войной. Здесь они проходили суровую школу, извлекали уроки из схваток со смертью. Это многое объясняет и в «Тишине», где последующие, послевоенные события даны в восприятии того же поколения — молодежи, вернувшейся домой.

Уже начало вводит нас в отягощенную фронтовыми воспоминаниями жизнь Сергея Вохминцева. «Серые громады пустынного города с черными провалами окон окружали его. Выбываясь из сил, он бежал среди лунной мостовой, мимо зияющих квадратов подъездов, мимо разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты беззвучно кружили над ними, тени их с хищно вытянутыми лапами проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельями улиц...»

Он бежал к окраине, там на высоте — хорошо помнил — стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат уже не было никого». Задыхаясь, капитан Вохминцев выбегает на площадку, но и там чужие самолеты. Он врывается в подъезд какого-то безлюдного дома, но и там за спиной смерть. Тогда, прижимаясь к стене, напрягаясь всем телом, он ватной рукой охватил ускользающую рукоятку «Т-Т», с трудом поднял руку и выстрелил. Но выстрела, выстрела не было. «— А, а!.. Где патроны? Где? — Сергей закричал. И сквозь сон услышал задушенный, рвущийся крик, вскопчил на диване, сел на смятой простыне, с изумлением озираясь: где он находится? — Черт! — сказал он и облегченно хрипло рассмеялся».

Солнце, прелесть зимнего утра и забот семьи, домашний уют, Мурка с новорожденными котятками в коробке из-под торга и тишина... В этой нарочито обнаженной автором контрастности фронта и дома, прошлого и настоящего, казалось бы, ключ к замыслу автора, пружина сюжета.

Контрастны утро, радующее Вохминцева, вызывающее у него, двадцатидвухлетнего, «чувство полноты жизни», и сумерки, когда это чувство исчезло: «...боль странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружали пустота погибших и пропавших без вести; в живых остались двое». Контрастны веселье на новогодней вечеринке и не оставляющие Сергея воспоминания о предсмертном хрипе на бруствере окопа, фотокарточка, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал у убитых солдат. Реквием павшим отчетливо звучит в «Тишине», врывается в мирную жизнь. Но не он представляется нам главным в этом романе.

Судьбы Сергея Вохминцева и Константина Корабельникова, отмеченные биографической общностью, как и общностью

контрастов довоенной и послевоенной жизни, оказываются в центре читательского внимания. Ушли мальчиками, вернулись взрослыми мужчинами; там, на фронте — боевые командиры, орденосцы, здесь — люди без трудового опыта и квалификации. Начинать мирную жизнь надо с азав, которым на фронте обучаться было некогда и незачем. Об этих жизненных, впрочем, вполне преодолимых социализмом противоречиях Ю. Бондарев рассказывает с достаточной достоверностью, но мимоходом, бегло и как-то равнодушно. Может быть потому, что об этом много и хорошо писалось и до него? Воспроизведены те привычно необходимые подробности, без которых в нашу, избивающую войнами эпоху не обходится ни один писатель-реалист. Нет уже ни прелести узнавания дотоле неизвестных литературных сторон жизни, ни актуальности проблемы. Воображение работает пассивно, больше потребляя, чем производя.

Или здравый смысл подсказал Бондареву, что в наших условиях эти противоречия лишены драматизма, ставящего перед художником вопросы большого общественного и психологического значения? Не берусь гадать. Но наиболее слабые страницы романа отданы колебанию фронтовиков в выборе профессии, перипетиям их институтской жизни.

Более интересные страницы, рассказывающие об отношении Вохминцева и Корабельникова к тогдашней действительности, о вставших перед ними проблемах — нравственных и политических. Вот где ключ к замыслу автора, к тому новому, что роман этот, на мой взгляд, внес в прозу 1962 года.

Поколению, о котором идет речь в «Тишине», чуть не с пеленок внушали утопические понятия о победе малой кровью и на чужой территории. А они оказались современниками и очевидцами ужасов войны и ужасов фашистской оккупации. Много крови, много горя и много слез...

И то, что люди эти все же выстояли, оказались сильнее врага, одна из тех побед, каких не знала предшествующая история.

Гипноз культа Сталина, произвол, массовые репрессии порождали растерянность. Но рядом с людьми, в них самих жило все то, что было завоевано Октябрем, развивалось одновременно с существованием культа, вернее, помимо него. Я имею в виду не только ценности социально-экономические, но и духовные, среди которых главное — возросшее самосознание партии и народа.

То была не только пора культа, но и таково действие глубинных сил социализма, подготовки к его отрицанию и преодолению. Об этой противоречивой странице нашей истории и пытается рассказать Ю. Бондарев в романе «Тишина».

И если его первые повести вошли в послевоенную прозу, с высот нашей победы осмысливали уроки и напоминания войны,

то «Тишина» принадлежит уже другой поре. Она рождена всем последующим развитием общественной мысли. Это та, начатая «Битвой в пути» и еще недописанная глава советской литературы (из новинок сюда я отношу «Дом родной» П. Вершигоры), вдохновителем которой явились XX—XXII съезды КПСС, необходимость во имя настоящего и будущего вернуться к недавнему прошлому. И хорошо, что прошлое дано в восприятии людей, не сломленных и не испорченных культом.

Автор правдиво отразил пагубное действие поры культа личности на человеческие судьбы. Явно удались страницы о преступниках и сопутствующем их преступлениям произволе. Трагична судьба Николая Вохминцева — жертвы мстительной клеветы подлого доносчика. Типизированы фигуры негодяя с плоской шеей и мучным лицом, его начальника с острым носом и гриппозно слезящимися глазами, бюрократически вежливого майора из приемной Берия. Омерзителен в своей достоверности образ Быкова, угадавшего возможности и преимущества безнаказанной клеветы и потому существа в ту пору социально опасного. Мы знаем, да автор и не скрывает этого, что охранители культа оберегали и поощряли доносительство Быковых. Но только ли они виновны в их былом процветании? «...почему ты, — укорял Сергей отца, — терпишь Быкова? Не думаешь ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас, улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все...

— К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, — устало проговорил отец».

Любопытен, хотя, я говорю о психологических особенностях типа, и не нов образ Уварова, его мимикрия, умение исползовать любую, даже невыгодную для себя ситуацию в своих корыстных, низменных интересах. На мой взгляд, верна позиция Бондарева в отношении к Мукомолову, необоснованно, как, впрочем, и многие в то время, обвиненного в космополитизме и идеологической диверсии.

«Тишина» несомненно способствует осознанию аморальных последствий культа Сталина. И в этом ее актуальность, достоинство и высокий гражданский пафос. Автору удалось показать и скрытую силу, противостоящую фактам произвола. Это книга не только праведного гнева, но и веры в устои нашей партии и социализма.

Мужественно, не склонив головы, встречает коммунист Вохминцев свою беду. Его предсмертное письмо потрясает своей убежденностью в торжестве идей ленинизма. Не сломлен и Сергей, после ареста отца и вынужденного ухода из института нашедший в себе силы начать новую жизнь. Даже Константин Корабельников, этот, на первый взгляд, легкомысленный, живущий одним днем человек активно противостоит подлости, оказывается обладателем высокого нравственного потенциала.

Этот образ один из наиболее удачных и ярких в романе. В нем все живо, все ха-

характерно. И тогда, когда он бьет Быкова, утратившего использовать его для своих грязных делишек. И тогда, когда он, наплец в случайных связях с женщинами, трогательно и поэтично влюбляется в Асю Вохминцеву. Все верно найдено автором в изображении этого непосредственного, со всячинкой, характера. К сожалению, этого нельзя сказать об образе Сергея, на мой взгляд, Бондареву мало удавшемся. Казалось бы, характер и правильно задуман, и есть отличные страницы, связанные с ним, например, его видения войны, встреча с Уваровым в «Астории». Но в целом нет живого образа, той органичности поступков, которые так привлекательны в Константине Корабельникове. Вохминцев младший скорее реминисценция, чем живое творение Бондарева. Могла быть и не быть его трудная любовь к Нине, кстати сказать, призраком витающей в романе. Нет подлинного драматизма и в его исключении из партии, потому что, и это большой авторский просчет, Сергей не показан коммунистом. Словом, в нынешнем журнальном варианте этот образ не доведен до уровня пафоса романа, его ведущей идеи. Он пока только заявка. Но я очень верю в возможности таланта Юрия Бондарева.

О. Войтинская

ПО ЛИНИИ НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Егор Исаев. «Суд памяти». «Октябрь» № 6. 1962.

Среди поэтических произведений 1962 года, отнюдь не бедного хорошими книгами, пожалуй, наибольшее внимание читателей и критики привлекла поэма Егора Исаева «Суд памяти». Отрывки из нее начали появляться еще несколько лет назад, и тогда уже было видно, что автор затеял в ней очень серьезный разговор на очень серьезную тему. Хотелось верить, что поэт достойно завершит этот разговор, не оборвет его на полуслове, не собьется с тона, не свернет на проторенные дорожки. И вот теперь, когда поэма полностью завершена и опубликована, мы снова убедились, что первое впечатление от ее отрывков не было обманчивым. Егор Исаев поставил одну из самых острых проблем современности, волнующих самые широкие круги читателей,— проблему личной моральной ответственности каждого рядового человека за те события, в которых вольно или невольно ему пришлось участвовать.

В данном конкретном случае речь идет об ответственности за беды и несчастья, принесенные второй мировой войной, и за положение, которое сложилось в послевоенном мире. В центре произведения стоит немецкий рабочий Герман Хорст. До войны он работал на военном заводе, во время

войны был рядовым солдатом, а после войны, оказавшись безработным, нашел себе самостоятельное дело, вырастающее в поэме до большого обобщения, становящееся жутким символом положения в Западной Германии. Чтобы прокормить семью, он собирает на старом заброшенном стрельбище отстрелянные пули и выливает из них свинец.

Герман Хорст, хорошо знающий, что такое война, исходивший с автоматом пол-Европы, шагавший по трупам на пепелищах России, заставляет себя не думать о том, куда пойдет добытый им свинец. Жене, которой собрание пуль напоминает страшное и совсем недавнее прошлое, он объясняет:

Я тоже там горел в огне.
И не сгорел.
Так что же мне
Рыдать? —
Он встал с постели.
— Я ж говорю не о войне.
Я говорю о деле.
Свинец!
Пойми. Не в руднике,
А наверху. Нетронутый.
Копни песок — и он в песке.
Не пригоршня,
А тонны там!

Герман Хорст считает, что он выполняет свой долг перед семьей. До остального ему нет дела. Пусть об остальном думают те, кто повыше его, кто держит в своих руках власть.

В образе Германа Хорста поэт последовательно разоблачает ту обывательскую житейскую логику, которая убивает живую мысль, носители которой склоняются перед любой силой, освобождающей их от ответственности. С педантичной аккуратностью Хорст ходит на стрельбище, как до войны ходил на завод.

Как будто вышел в огород
И роет,
Роет,
Роет.
Теперь ни бог его, ни черт
Отсюда не уводит.
Теперь он сам хозяин здесь,
Батрак
И управляющий.
И сила есть
И хватка есть
В его руках пока еще.
И никаких тебе машин
И никаких деталей.
Он здесь один,
Совсем один.
И все четыре дали
Лежат вокруг.
Луга, поля
С парными ветерками.
И просто песенка шмеля,
И пули под руками.

Все очень буднично, очень деловито. И как страшна эта деловитость здесь, на том самом стрельбище, где проходили науки методического убийства многие поколения немецких солдат, тех самых солдат, которых до сих пор помнят недобрым словом во всех уголках земли. На этом же мертвом поле Хорст встречается со своим старым знакомым Гансом, работавшим до войны на одном с ним заводе

и уволенным оттуда за слишком «мрачные» шуточки о своей работе:

Он в цех входил
И говорил при всех:
Патронный цех,
Как похоронный цех.

Во время войны Ганс оказался на советском фронте и попал в плен. Готовый ответить за все принесенные войной беды, ведь он был в рядах тех, кто топтал чужую землю и убивал мирных людей, Ганс ждал смерти, а попал в тыл на работу. И это окончательно отрезвило его.

Нам дали всем лопаты,
 топоры,
Сказали: строй,
Но разве топором
Я мог поднять,
Что повалил огнем?!

Теперь Ганс пытается отрезать Германа Хорста, но тот упорно не желает отказываться от своих иллюзий, инстинктивно чувствуя, что стать на позиции Ганса — значит взять на себя ответственность не только за прошлое, но и за будущее. А это-то Герман Хорст, как всякий закоренелый обыватель, и не хочет, считая всякую ответственность лишней обузой. Ему вдобавили, что рядовые за войну не отвечают, и это его вполне устраивает. Да, к сожалению, устраивает, хотя неизвестно — надолго ли.

Весь пафос поэмы Егора Исаева направлен против обывательского равнодушия. Каждая строчка этой поэмы твердит о том, что от моральной ответственности за происходящее в мире никому и никуда не уйти, а тот, кто старается уйти, — берет на себя еще более страшную ответственность. Об этом напоминает Герману Хорсту не только Ганс, но и беззгойный сосед Курт, и собственная жена Лотта.

Хорст не хочет их слушать, но и спокойно спать он уже не может. И если его детям придется идти на войну, он не сможет оправдаться перед ними, как не может уже сейчас оправдаться перед совестью народов.

В поэме Егора Исаева много условного. Это своеобразный гротеск, где важны не детали, а обобщения. Поэтому нас не удивляет, что поэт взялся изображать малоизвестную ему среду. Главное в этой среде хорошо знакомо всем, кто пережил ужасы войны, кто озабочен судьбами мира. Егор Исаев создал убеждающие образы-символы, образы, заставляющие задуматься о больших и малых виновниках войны. Его поэма насквозь публицистична, публицистична в лучшем смысле этого слова. Автор прямо высказывает свое отношение к своим героям:

И я встаю,
Тревогу бью
Всей многотрубной медью!
Я Курту руку подаю.
Я Гансу руку подаю.
Тебе же, Хорст, — помедлю.

Егор Исаев работал над своей поэмой около шести лет. Само собой разумеется, что продолжительность работы далеко не

всегда определяет качественные результаты ее, особенно в искусстве, но в данном случае она бесспорно свидетельствует о высокой требовательности поэта к себе. У меня нет особых претензий к тому, что касается «мастеровитости» поэта, хотя в его стихе нет-нет да и послышатся уж очень знакомые, привычные интонации, сразу же вызывающие в памяти стихи Лермонтова, Некрасова, Твардовского. Можно было бы указать автору и на некоторые длинноты, повторения, тормозящие эмоциональное восприятие поэмы. Но все это, как говорится, издержки роста. В целом же поэма — безусловная удача поэта и свидетельство все возрастающей гражданской активности нашей молодой поэзии.

Николай Рыленков

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

*Н. Усова. Перечитывая дневники.
«Юность». № 4—5. 1962.*

Как ни пытаются некоторые критики лишить молодого героя права сомневаться, искать себя и свое место в жизни, герой думает. Он упрям, этот герой. Во всем мне хочется дойти до самой сути, как сказал поэт. И далеко не всем суть дается легко и гладко. Вот ведь не могут же прийти к соглашению авторы «критического диалога», опубликованного в восьмой книжке журнала «Октябрь», два молодых, но уже достаточно известных критика — Лев Аннинский и Лариса Крячко. Казалось бы, чего проще разрешить молодой литературе не отворачиваться от реального, не заглушать чуткости, пусть даже временами преувеличенной, но такой острой и так свойственной молодости, показывать современного героя не застывшей схемой обязательных качеств, а живым, активно действующим и непременно мыслящим человеком.

В «критическом диалоге» героям предьявляется масса трескучих обвинений, говорящих скорее о словесной эрудиции авторов, чем о проникновении в сущность характерных качеств современного молодого героя. В нем молодых авторов пренебрежительно именуют «растерянными» и утврждают, что читать их можно только из принципа «на безрыбье», так как поколение «с 1930 года» не выдвинуло еще писателя, который бы удовлетворял всем читательским требованиям». Но даже эти требовательные критики соглашаются отметить некоторые позитивные качества, встречающиеся у отдельных, даже молодых писателей.

В действительности, молодые писатели подчас поднимают в своих произведениях очень сложные проблемы формирования мировоззрения, отношения к жизни, эстетического вкуса, понятия гражданственности у современной молодежи. Они спорят о том, чем обогащает молодых людей сегодняшний день и что остается в них от прошлого.

Эти нелегкие вопросы ставит и Надежда Усова в повести «Перечитывая дневники». Герой ее Владик Иванов, студент историко-литературного факультета педагогического института, самый обыкновенный парень. Неглуп, начитан, в меру резок, часто ироничен, склонен к преувеличениям. Группе, в которой он учится, и комсомольской организации пришлось немало потрудиться, прежде чем Владик зашагал в ногу с лучшими. А до этого его всерьез считали нигилистом, и он даже гордился этим — своей оригинальностью, непохожестью на других, своим «свободомыслием», неприужденностью и дерзостью поступков. Пустой, неизбежной обыденностью кажутся ему сплошь зацитированные лекции Буйноса, возмущает, мешает понимать жизнь сытое равнодушие школьной учительницы, «немки» Ангелины Петровны, заставляет задуматься об истинной справедливости ненужная, холодная жестокость директора школы (а ведь в руках этой Зинаиды Александровны власть!). Владик учится мыслить самостоятельно (недаром автор указывает точно: время действия — наши дни, 1960—1962 гг.), ему претят готовые формулы, зубрежка. Герой Н. Усовой не свободен и от качеств, оставленных таким недавним, недавним прошлым: когда ему кажется это необходимым, он скрывает свои мысли, презирая готовое, составляет курсовую из разных источников и мучится, что «подпустил туда свои мысли» — он уверен, что это вынужденная компиляция. Кичась своим «свободомыслием», Владик мучится втихомолку тем, что свои сомнения, свое недоумение по поводу тех или иных фактов из жизни страны он вынужден разрешать сам (а для этого он еще не готов) или с людьми, мнения которых по существу не уважает, — с Игусом и Ромкой. Владика (как и многим его сверстникам) кажется, что говорить о своих сомнениях в открытую нельзя — не поймут, заподозрят в чем-то скверном.

Однако этот же Владик твердо знает, что он живет в той единственной стране, при том единственном строе, при котором ему хотелось бы жить; всерьез, для себя, понимает, как было бы глупо из-за частных сомнений в принципах социализма; для него непререкаема та великая гражданская истина, за которую погиб его отец, — жизнь страны, жизнь вообще «дороже моей маленькой жизни». И именно это убеждение, внутреннее, глубинное чувство родины, переходящее от поколения к поколению, позволяющее им понимать суть дешёвого, трескучего и фальшивого фрондерства «звездных мальчиков», которым был заражен и герой Н. Усовой Владик Иванову постепенно становится ясно, что «надо не смотреть на жизнь со стороны, а участвовать во всем самому... тогда не будет брюзжания и раздражения».

Однако ни для кого не секрет, что там, где есть отклонения от гармонии, возникает уродство. И рядом с думающими, ищущими ребятами появляются моральные уроды, спекулирующие на честном поиске других. Их мало, этих уродов, но они есть. Есть они

и в повести Н. Усовой. Это друзья Владика, Ромка и Игус. Все втроем они «успели рекомендовать себя как нечто особенное». Историки зовут их фрондой, литераторы — нигилистами, ребята — мушкетерами. Ромка из всех истин тверже всех усвоил одну — «молчи, скрывайся и тай все мысли и дела свои». Не слишком понимая и любя искусство, он решает посвятить жизнь служению этому искусству — дело, по его мнению, нетрудное, изыщное, доходное, непальное, а главное — ничем, как ему кажется, не связанное с жизнью. Ромка ведь трус, он предпочитает подделываться под других, для него важнее всего — избежать столкновений с жизнью. Игус мечтает жить легко, и ему кажется, что профессия учителя обеспечит ему эту легкость; он по-своему очень неглуп, этот Игус, и красив, но это убежденный паразит, понятие «настоящее» существует для него только в применении к другим.

Почему же, однако, писательница заставила своего Владика Иванова разделять компанию двух молодых циников? Ведь уже из первых страниц дневника становится ясно, что Владик не разделяет взглядов своих «друзей»? Неужели, как у Евтушенко, —

Компании нелепо образуются —
В одних все пьют да пьют, не образуются.
В других все заняты лишь тряпками да девками,
а в третьих — вроде спорами идейными,
а приглядишься —
те же в них черты...

Или, может быть, для того, чтобы показать очень важное, существенное различие между тремя «нигилистами» — их отношение к коллективу? В самом деле, из троих только Владик не может заснуть после комсомольского собрания, только Владика до глубины души оскорбляет нежелание товарищей взять у него деньги для раненого Фролыча. Ромка и Игус к таким «пустякам» равнодушны. Писательница сама чувствует уязвимость своей позиции, искусственность объединения этой троицы, записи Владика постоянно свидетельствуют об этом. Но трое ее героев взяты из жизни, различия между ними подчеркивают главное в размышлениях о современном герое молодой литературы.

В задачи этой рецензии не входит всесторонний разбор повести Надежды Усовой. Однако автору необходимо задуматься над беллетристической слабостью отдельных эпизодов (комсомольское собрание, ранение Фролыча, осуждение Игуса) — это привычно и прямолинейно настолько, что подрывает доверие к ее книге, возникшее из достоверности характеров и многих подробностей. Слово вдруг отказал маятник, указывающий меру, — автор заставляет думать о трагедии, а мы не видим ее и не верим ей.

И все же повесть «Перечитывая дневники» современна постановкой проблемы. В самом деле —

Гражданственность — талант нелегкий.
Давайте делаться умней.
Зачем тащить, как на веревке,
надменно фыркающих к ней?

Д. Тевеклян

ТЫ ЖИВЕШЬ ДЛЯ НАРОДА

М. Златогоров. Кто стоит рядом? М. «Молодая гвардия». 1962. 128 стр. Цена 19 коп.

Свою новую повесть Михаил Златогоров начинает с события, которое захватывает читателя и держит его в напряжении. Кто стоит рядом? Автор привлекает внимание к характерам героев и их проявлению в чрезвычайных условиях. Он показывает кусочек жизни коллектива людей большого уральского предприятия, живущего «по крупному масштабу, синхронно с эпохой».

Вместе с одним из главных героев повести Михаилом Чесноковым, потомственным рабочим, умеющим, несмотря на молодость, видеть и ценить настоящее в жизни, проникнутым пониманием высоких идей, читатель переживает все перипетии аварии. Как бы его глазами он смотрит на окружающее, симпатизирует простым, отзывчивым, принципиальным супругам Сайфулиным, переживает ложное обвинение открыто глядящего на мир изобретателя Евгения Кирьянова, проникает глубокой симпатией и сочувствием к инженеру Маргарите Иваницкой.

Еще не у каждого человека совесть стала судьей совершаемых поступков. Рядом с честными людьми, с их стремлением к лучшему, в заводских корпусах существуют обыватели, подобные Семену Харитонову, которые главным считают деньги, материальное благополучие, и еще более страшные типы, преступно равнодушные и циничные карьеристы, такие, как Геннадий Николаевский.

В борьбе за новые высоты в жизни, за технический прогресс раскрываются в повести взгляды людей на жизнь.

Повесть затрагивает животрепещущие вопросы современности. Михаил Златогоров показывает не только борьбу, в которой новое проникает в жизнь. Одна из основных мыслей произведения — нельзя проходить мимо нарушений норм нашей жизни, идет ли речь о взаимоотношениях героев или о технологическом процессе производства.

На заводе происходит взрыв. Убит рабочий. Весь коллектив взбудоражен, встревожен. Что послужило причиной аварии? Одни считают — неосторожность рабочего. Другие утверждают — несовершенство конструкции изобретенного молодым инженером приспособления, автоматически подающего руду в электролизные ванны. Начинается следствие, раскрывающее, как в огромном, сложном заводском коллективе нарушение нормальных отношений между людьми, даже не зависящими друг от друга, халтура, недобросовестное отношение к своим обязанностям приводят в конце концов к катастрофе, к краху.

Казалось бы, какое отношение имеет к аварии прошлое инженера Маргариты Иваницкой и начальника девятого цеха Ген-

надия Николаевского? Еще в институте Иваницкая, увидев, что ошиблась в избраннике, порывает отношения с этим холодным, жестоким человеком. Рита старается не бывать в девятом цехе.

Там монтируют автоматический дозатор Кирьянова — новое приспособление для подачи руды в электронные ванны, а Иваницкая не идет в этот цех, не контролирует, как проводятся работы. А там-то как раз и происходит нарушение. Почему? Разве есть какая-либо связь между трусливым отказом Николаевского от сына и аварией, происшедшей, как выяснило следствие, по его вине? Но если взглянуть поглубже в характер Николаевского, станет яснее единство мотивов, толкающих на подлые поступки этого человека.

Этот ловкий карьерист все силы свои и способности направлял к одной цели: успешно продвигаться по служебной лестнице. Он нагд, как всякий человек, знающий, что за ним не стоит правда, его преследует постоянная боязнь неизбежного ответа за свои дела. С вышестоящими он располагающе прот, с подчиненными пренебрежительно высокомерен.

Этим высокомерием Николаевский старается заслониться от зоркого и всепроникающего взгляда народа. Он старается отстраниться от ответственности за общие задачи. «Дело рабочего — давать план, технолога — обеспечивать порядок производственного процесса». Механик отвечает за работу машин, Взрыв — вина конструктора и механика, но ни в коем случае не его.

И пока на заводе подходили к вопросу формально — говорили о необходимости привлечения к ответу Кирьянова, считалось, что Николаевского подвели. Стали копаться в корнях явления — картина изменилась. В народе есть четкая формула: правда побеждает. Неизбежно, неотвратимо, иногда рано, иногда поздно, но возмездие наступит, — подводит автор итог случившемуся.

В повести затрагивается еще одна, вызывающая много споров и суждений тема — личного и общественного.

«Скука там, где ничего не меняется... Где человек живет для себя». «Коммунист! Знай, что ты живешь для народа, а не народ для тебя». — рассказывает старый партиз Овчинников молодежи о дневниковой записи своего фронтового друга. Секретарь райкома Емельянов как бы суммирует утверждение автора: «Личный интерес — это не путевочка на курорт, не лишняя сотенка», а умение сделать что-то для всего народа, оставить след в жизни».

Вот комплекс морально-этических вопросов, который затрагивает Михаил Златогоров. Эти сложные вопросы не всегда находят свое развитие и обоснование. Но они заставляют думать читателя, волноваться, любить, негодовать.

В. Шапошникова



Раннее утро. Один из первых дней октября. Солнце еще не поднялось, но на столичных улицах началась жизнь. Девочка-почтальон спешит к москвичам со своей раздутой от новостей сумкой...



Дивный час предрассветного сна чужд владельцам собак. Приходится мириться с запросами и потребностями своих мусек, белочек, тикки...

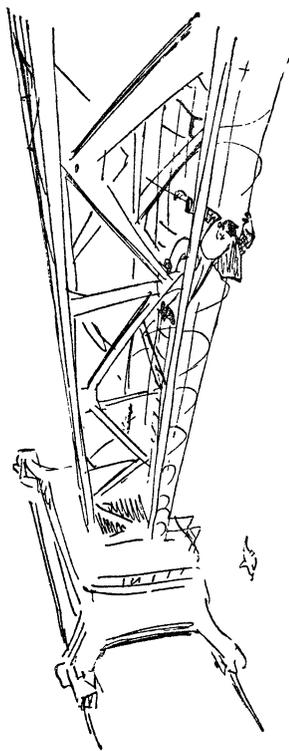


Совсем рассвело... Две девочки, еще не привыкшие к осени, выскочили на улицу в летних платьях и попали под струю поливальной машины.

Такое купанье в начале октября вряд ли покажется приятным даже юным гражданам, которые во всем находят свою прелесть...



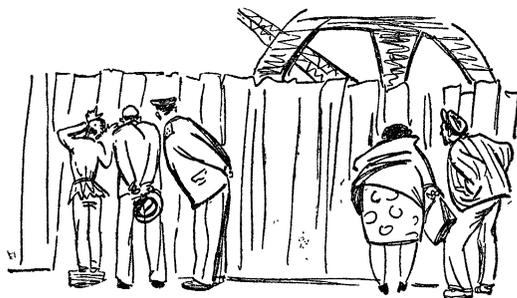
Открылись газетные киоски, и у памятника первопечатнику Ивану Федорову, как символ, как гимн печатному слову, зашелестели газеты...



Рабочий день вторгается в тишину городского утра. Через несколько минут стальная махина подъемного крана оживет волей этого маленького, по сравнению с ним, человека...



Витрина Аэрофлота. Романтика скоростей! Встречи, расставания... Но даже в эти волнующие минуты не стоит забывать о пернатых жителях столицы. Осторожно! Голуби!..



Любопытных в Москве хоть отбавляй. Им интересно все: и работа снегоуборочной машины, и рытье котлованов, и ремонт канализации. А если что-нибудь огорожено забором, то здесь они могут простоять часами, тем более что в этом месте строится новая станция метро...



Клуб шахматистов на Страстном бульваре. Кипят страсти... Разбирается индийская защита и тактика молниеносного дедота. Здесь бичуют дерзость Фишера, вспоминают Алехина и Напабланку, до хрипоты юрят о Тале: каких еще сюрпризов можно от него ждать...



И, как всегда, день кончается дежурным осенним дождем...

**ЧИТАЙТЕ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ
ЖУРНАЛА «МОСКВА»:**

роман **Ф. Вигдоровой** «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (2-я книга), повести **А. Борщаговского** «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ», **И. Левченко** «СЧАСТЛИВАЯ», киноповесть **Г. Березко** «ЛЮБИТЬ И НЕ ЛЮБИТЬ», путевую повесть **Б. Евгеньева** «НАША РОДНАЯ РЕКА»;

рассказы **В. Гроссмана, Ю. Семенова, Б. Вадецкого, С. Шуртакова, В. Драгунского, В. Аксенова, М. Булгакова, И. Шоу** (перевод с английского);

стихи **Н. Асеева, М. Матусовского, Е. Евтушенко, Л. Озерова, Д. Самойлова, В. Ходасевича**;

очерки и статьи **Б. Агапова, Густы Фучиковой, Г. Бровмана, И. Козлова, А. Флеровского**;

материалы к столетию со дня рождения **К. С. СТАНИСЛАВСКОГО** и **А. С. СЕРАФИМОВИЧА**.

С 1963 года в журнале вводятся новые разделы: «НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ КПСС», «НАУКА И ЛЮДИ», «НАШИ ПУБЛИКАЦИИ», «МОСКОВСКИЕ МИНИАТЮРЫ», «КРАСНОЕ КРЫЛАТОЕ СЛОВЦО», «РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ» и др.

Подписано к печати 23/X 1962 г. А 09264. Тираж 100 000 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 14, = 19,18 усл. печ. л. = 22,231 + вклейка = 23,35 уч. изд. л. Заказ № 3802. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.



«ЛЕНИН В 1918 ГОДУ»
Режиссер Михаил Ромм

Враги называли нашу революцию жестокой. Да, она была жестокой к тем, кто веками угнетал народ. Но она была добра к трудовому люду. Доброта ленинского сердца принесла счастье миллионам людей нового мира. Над осиротевшей Наташей склонился человечнейший из людей...



Ленин и Горький

1917—1962

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ

Кадры из советских
кинофильмов



«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

Режиссер Ефим Дзиган

Под Питером Юденич. Революционные матросы Валтики встают на защиту города. Под командой отважного комиссара Мартынова моряки отбивают атаки белогвардейцев...

«ЧАПАЕВ»

Режиссеры С. и Г. Васильевы

Образ легендарного героя гражданской войны начдива Василия Ивановича Чапаева стал символом мужества и героизма. Зорок глаз и беспощадна рука Чапаева — не устоять врагу перед чапаевской атакой...



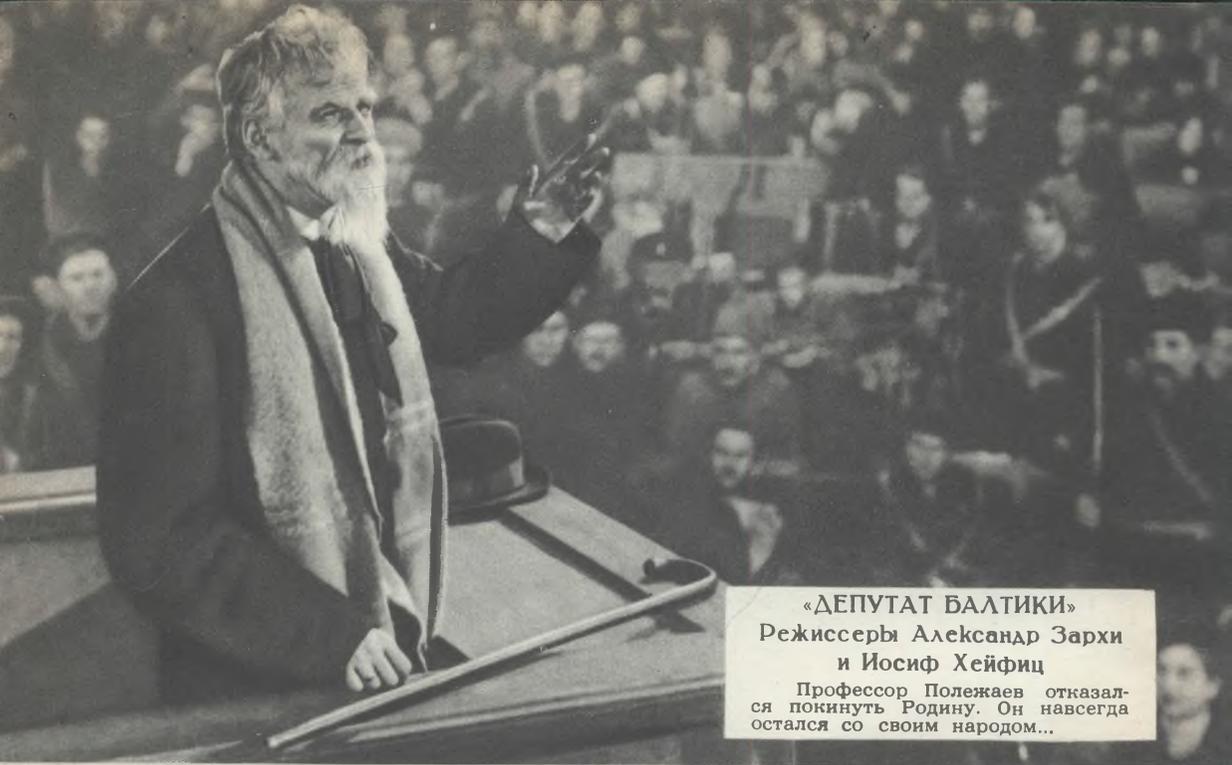
«СОРОК ПЕРВЫЙ»

Режиссер

Григорий Чухрай

Два человека... Они так близки и в то же время так далеки друг от друга. В сердце Марюшки — сложная борьба. Но верность революционному долгу побеждает внезапно вспыхнувшее чувство...





«ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»

Режиссеры Александр Зархи
и Иосиф Хейфиц

Профессор Полежаев отказался покинуть Родину. Он навсегда остался со своим народом...

«КОММУНИСТ»

Режиссер Юлий Райзман

Страна в кольце интервенции. Голод, разруха. Коммунист Василий Губанов прямо с фронта идет на стройку одной из первых советских электростанций.



«ВСТРЕЧНЫЙ»

Режиссеры Фридрих Эрмлер
и Сергей Юткевич

Революция сделала труд радостным и свободным. Потомственный питерский рабочий Сергей Иванович Вабченко, на себе испытавший всю тяжесть капиталистического гнета, становится ударником, вступает в ряды коммунистов.



«КРЕСТЬЯНЕ»

Режиссер
Фридрих Эрмлер

О борьбе с кулачеством, против косности, за новую жизнь в деревне рассказал этот фильм...

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Режиссеры
Александр Зархи и
Иосиф Хейфиц

Бывшая батрачка Александра Соколова руководит колхозом. Народ избирает ее депутатом Верховного Совета...

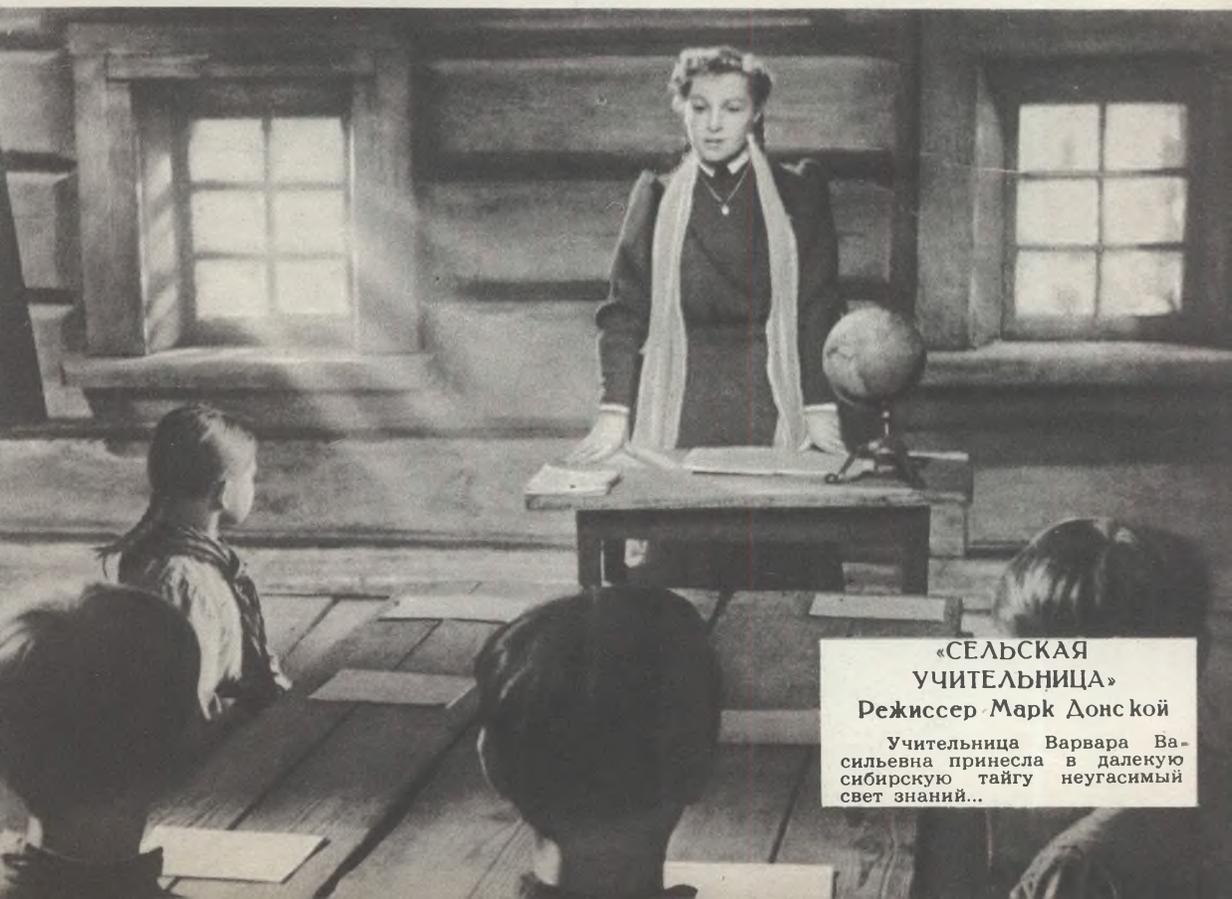


«ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН»
Режиссер Фридрих Эрмлер

Открытое лицо, широкая жизнерадостная улыбка, честные глаза сильного человека. Таков партийный руководитель Петр Шахов, прообразом которого явился выдающийся деятель Коммунистической партии Сергей Миронович Киров.

«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
Режиссер Александр Иванов

Посланец рабочего класса двадцатипятилетний Давыдов агитирует колхозниц.



**«СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»**
Режиссер Марк Донской

Учительница Варвара Васильевна принесла в далекую сибирскую тайгу неугасимый свет знаний...



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Режиссер
Сергей Герасимов

Великая Отечественная война. Весь народ поднялся на защиту родной земли. Юноши и девушки из Краснодона без страха смотрят в глаза смерти...

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

Режиссер
Михаил Калатозов

Через все испытания войны пронес этот человек чистоту и верность сердца...



«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

Режиссер
Григорий Чухрай

Всего лишь на три дня получил Алексей Скворцов отпуск с фронта, но и их он отдает людям — тем, кого встречает в пути, кому нужна его помощь...

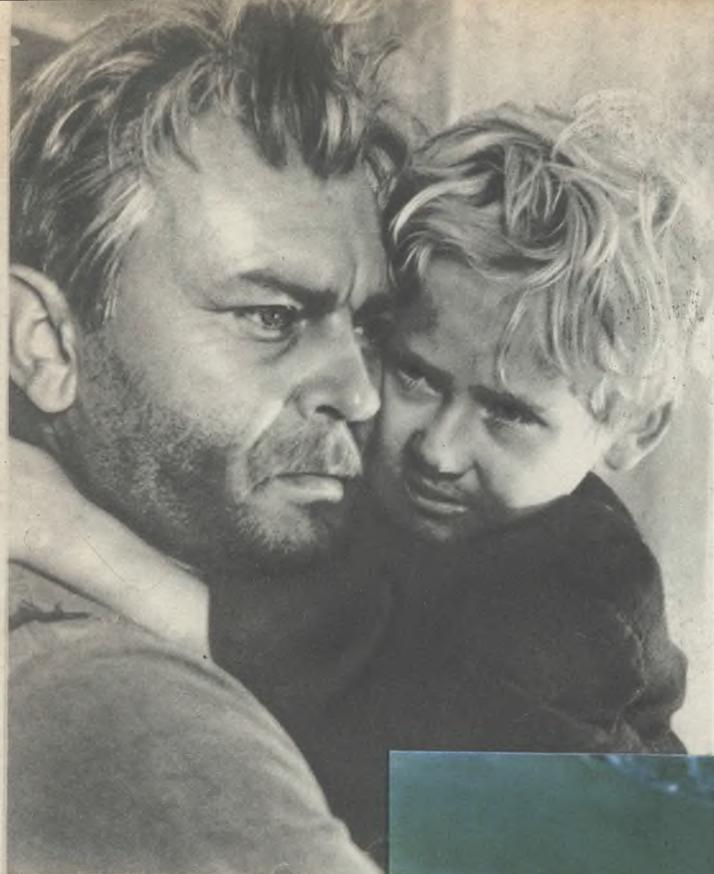


«ИВАНОВО ДЕТСТВО»

Режиссер
Андрей Тарковский

Пусть никогда больше пламя войны не коснется детских сердец!





«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Режиссер Сергей Бондарчук

Он потерял все, русский солдат Андрей Соколов. Он смотрел на мир сквозь колючую проволоку гитлеровского лагеря, но сохранил любовь к жизни, к труду, к людям...

«ЧИСТОЕ НЕБО»
Режиссер Григорий Чухрай

Вернувшийся из фашистского плена летчик Астахов испытал на себе всю горечь утраты доверия. Но справедливость восторжествовала...



«ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
Режиссер
Михаил Калатозов

По комсомольским путевкам дети героев Отечественной войны едут в Казахстан на целину. На окнах вагона морозный узор, а в руках комсомольца букет белых хризантем — символ молодости и счастья...

«ВЫСОТА»
Режиссер
Александр Зархи

Высота стала их стихией — монтажники ставят линии электропередач, монтируют домны и мартены. Трудом таких вот парней и девушек создается мирное счастье страны.

**«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»**

Режиссер
Михаил Ромм

Молодой ученый Гусев всего себя отдает науке. Рискуя жизнью, забыв о личном ради общественного блага, он неустанно ведет научный поиск...



«ГОРОД БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ»
Режиссер Илья Копалин

У Москвы большая судьба. Она стала знаменем мира и справедливости. Над этим городом развеваются флаги народов Земли — он подобен гавани, куда открыт путь всем кораблям, в трюмах которых нет бомб...

«СНОВА К ЗВЕЗДАМ»

Режиссеры
Д.м. Боголепов и Гр. Косенко

Страна, у колыбели которой стоял человек, указавший путь к счастью и к звездам, воспитала мужественных Икаров со стальными крыльями. Их имена известны всему миру: Гагарин, Титов, Николаев, Попович...



50 коп.